



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

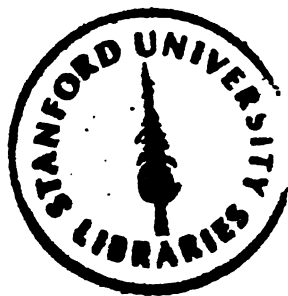
Мы также просим Вас о следующем.

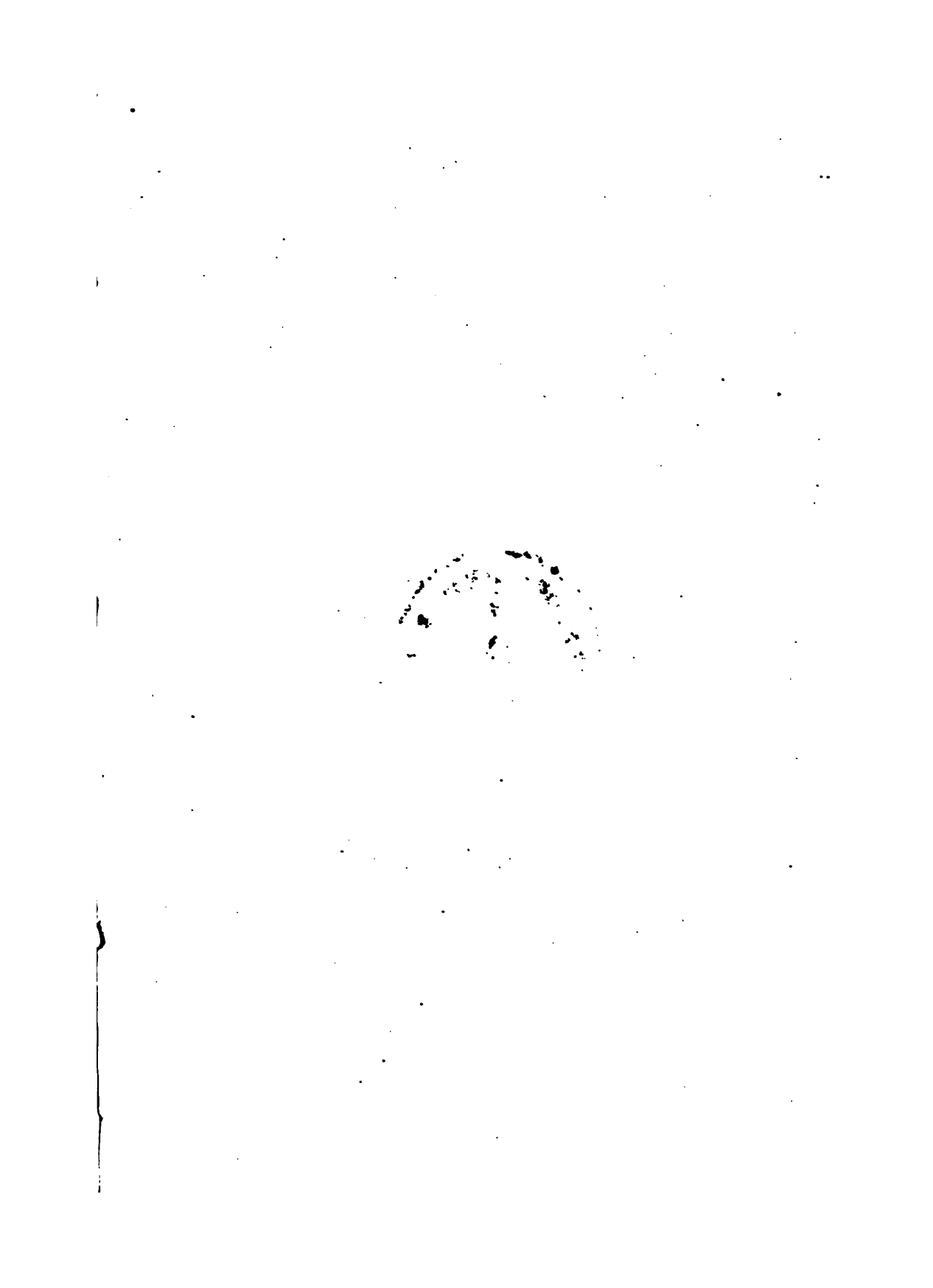
- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>







Вунинъ, I. A.

Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб., Невскій, 92).

Ив. Бунинъ.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

РАЗСКАЗЫ.

СОДЕРЖАНІЕ:

Переваль.	Костерь.
Руда.	На край свѣта.
Новая дорога.	Кастрюкъ.
Осенью.	Въ Августѣ.
Туманъ.	Безъ роду-племени.
Байбаки.	Поздней ночью.
Новый годъ.	На Донцѣ.
Антоновскія яблоки.	Фантазеръ.
Велга.	Сосны.
Скитъ.	Тишина.
Тарантелла.	„Надежда“.

ИЗДАНІЕ ТРЕТЬЕ.

Цѣна 1 рубль.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1904.

PG 3453

B9.

1904

v. 1.

Ив. Бунинъ.

Р А З С К А З Ы.

ПЕРЕВАЛЪ.

Ночь уже давно, а я все еще бреду по горамъ къ перевалу, бреду подъ вѣтромъ, среди холоднаго тумана, и безнадежно, но покорно идетъ за мной въ поводу мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стремянами.

Въ сумерки, отдыхая у подножія сосновыхъ лѣсовъ, за которыми начинается этотъ голый и пустынный подъемъ, я еще бодро смотрѣлъ въ необъятную глубину подо мною съ тѣмъ особымъ чувствомъ гордости и силы, съ которымъ всегда смотришь съ большой высоты. Тамъ, далеко внизу, еще можно было различить огоньки въ темнѣющей долині, на побережьи тѣснаго залива, который, уходя къ востоку, все болѣе расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стѣной, высоко обнималъ небо. Но въ горахъ уже наступала ночь. Темнѣло быстро, и, по мѣрѣ того, какъ я приближался къ лѣсамъ, горы выросли все мрачнѣй и величавѣе, а въ пролеты между ихъ отрогами съ бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками густой сѣрый туманъ, гонимый бурей сверху. Онъ срывался съ высоты плоскогорья, которое окутывалъ гигантской рыхлой грядой, и своимъ паденіемъ рѣзко подчеркивалъ хмурую глубину пропастей между горами. Онъ уже задымилъ сосновый лѣсъ, возрастая предо мною вмѣстѣ съ глухимъ,

глубокимъ и нелюдимымъ гуломъ сосенъ. Повѣяло зимней свѣжестью, понесло снѣгомъ и вѣтромъ... Наступила ночь, и я долго шель подъ темными и гудящими въ туманѣ сводами горнаго бора, стараясь хотъ какъ-нибудь защититься отъ вѣтра.

„Скоро переваль,—говорилъ я себѣ.—Мѣстность безопасна и знакома, и часа черезъ два или три я буду въ затишьи за горами, въ свѣтломъ и людномъ домѣ. Теперь темнѣетъ рано“.

Но проходитъ полчаса, часъ... Каждую минуту мнѣ кажется, что переваль въ двухъ шагахъ отъ меня, а голый и каменистый подъемъ не кончается. Уже давно остались внизу сосновые лѣса, давно прошли низкорослые, искривленные бурями кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть отъ холоднаго вѣтра и тумана. Мнѣ вспоминается кладбище погибшихъ на этой высотѣ,—нѣсколько могилъ среди кучки сосенъ недалеко отъ перевала, въ которыхъ похоронены какіе-то татары-дровосѣки, сброшенные съ Яйлы зимней выюгой. Эти могилы уже недалеко,—я чувствую, на какой дикой и безлюдной вышинѣ я нахожусь, и отъ сознанія, что вокругъ меня теперь только туманъ и обрывы, у меня сжимается сердце. Какъ пройду я мимо одинокихъ камней-памятниковъ, когда они, какъ человѣческія фигуры, зачернѣютъ среди тумана? Неужели только въ глухую полночь доберусь я до перевала? И хватитъ ли у меня силъ спуститься съ горъ, когда я уже и теперь теряю представленіе о времени и мѣстѣ? Но раздумывать некогда,—нужно идти!

Далеко впереди что-то смутно чернѣетъ среди бѣгущаго тумана... Это какіе-то темные холмы, похожіе на спящихъ медвѣдей. Я перебираюсь по нимъ съ одного камня на другой, лошадь, срываясь и лязгая подковами по мокрымъ голышамъ, съ трудомъ влѣзаетъ за мною,—и вдругъ я замѣчаю, что дорога снова начинается медленно подниматься въ гору! Тогда я останавливаюсь, и

меня охватываетъ отчаяніе. Я весь дрожу отъ напряженія и усталости, одежда моя вся промокла отъ снѣга, а вѣтеръ такъ и пронизываетъ ее насквозь. Не крикнуть ли о помощи? Но теперь даже чабаны забились въ свои гомеровскія хижины вмѣстѣ съ козами и овцами,—значить, совершенно никто не услышитъ меня. И, озираясь, я съ ужасомъ думаю:

„Боже мой! Неужели я заблудился? Неужели это моя послѣдняя ночь? А если нѣтъ, то какъ и гдѣ я проведу ее?..

Поздно, боръ глухо и сонно гудитъ въ отдаленіи. Ночь становится все таинственнѣе, и я хорошо чувствую это, несмотря на то, что не знаю ни времени, ни мѣста. Теперь погасъ послѣдній огонекъ въ глубокихъ долинахъ, и сѣдой туманъ воцаряется надъ ними, зная, что пришелъ его часъ, — долгій и жуткій часъ, когда кажется, что все вымерло на землѣ и уже никогда не настанетъ утро, а будутъ только возрастать туманы, окутывая величавыя въ своей полнотной стражѣ горы, — будутъ глухо гудѣть лѣса по горамъ, и все гуще летѣть снѣгъ на пустынномъ перевалѣ.

Закрываясь отъ вѣтра, я поворачиваюсь къ лошади. Единственное живое существо, которое осталось со мною! Но лошадь не глядитъ на меня. Мокрая, озябшая, сгорбившись подъ высокимъ сѣдломъ, которое неуклюже торчитъ на ея спинѣ, она стоитъ, покорно опустивъ голову съ прижатыми ушами. И я злобно дергаю ее за поводъ и снова подставляю лицо мокрому снѣгу и вѣтру, и снова упорно иду навстрѣчу имъ. Когда я пытаюсь разглядѣть то, что окружаетъ меня, я вижу только сѣдую, бѣгущую мглу, которая слѣпнитъ снѣгомъ, и чувствую подъ ногами скользкую, каменистую почву. Когда я вслушиваюсь, я различаю только свистъ вѣтра въ уши и однообразное позвякиванье за спиною: это стучать стремена, сталкиваясь другъ съ другомъ...

Но, странно, — мое отчаяніе начинаетъ укрѣплять меня! Я начинаю шагать смѣлѣе, и злобный укоръ кому-то за все, что я выношу, радуетъ меня. Онъ уже переходитъ въ ту мрачную и стойкую покорность всему, что надо вынести, при которой сладостно чувствовать свое возрастающее горе и безнадежность...

Вотъ, наконецъ, и перевалъ. Теперь ясно, что я на высшей точкѣ подъема, но мнѣ — все равно. Я иду по ровной и плоской степи, вѣтеръ несетъ туманъ длинными космами и валить меня съ ногъ, но я не обращаю на него вниманія. Уже по одному свисту вѣтра и по туману чувствуется, какъ глубоко овладѣла поздняя ночь горами, — уже давнымъ-давно спать въ долинахъ въ своихъ маленькихъ хижинахъ маленькіе люди; но я не тороплюсь, я иду, стиснувъ зубы, и бормочу, обращаясь къ лошади:

— Ничего, ничего, — иди! Будемъ брести, пока не свалимся. — Сколько уже было въ моей жизни этихъ трудныхъ и одинокихъ переваловъ! Съ ранней юности я вступалъ время отъ времени въ ихъ роковую полосу. Какъ ночь, надвигались на меня горести, страданія, болѣзни и беспомощность свои и близкихъ, скоплялись измѣны любимыхъ и горькія обиды дружбы, и наступалъ часъ разлуки со всѣмъ, къ чему привыкъ и съ чѣмъ сроднился. И, скрѣпивши сердце, бралъ я въ руки свой страннической посохъ. А подъемы къ новому счастью были высоки и трудны, ночь, туманъ и буря встрѣчали меня на высотахъ, и жуткое одиночество охватывало меня на перевалахъ... Ничего, будемъ брести, пока не свалимся!

Спотыкаясь, я бреду какъ во снѣ. До утра далеко. Цѣлую ночь придется спускаться къ долинамъ и только на зарѣ дастся, можетъ быть, уснуть гдѣ-нибудь мертвымъ сномъ, — сжаться и чувствовать только одно — радость тепла послѣ пронизывающаго холода и сладкій отдыхъ — послѣ мучительной дороги.

День опять обрадуетъ меня людьми и солнцемъ, и опять надолго обманетъ меня и заставитъ забыть о перевалахъ. Но они будутъ снова, и самый трудный и одинокій—будетъ послѣдній... Гдѣ-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голыхъ и отъ вѣка пустынныхъ горахъ?

РУДА.

ЭПИТАФИЯ.

Закрайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога къ городу. И у дороги, въ хлѣбахъ, при началѣ уходившаго къ горизонту моря колосевъ, стояла бѣлоствольная и развѣсистая, плакучая береза. Глубокія колеи дороги заросли травой съ желтыми и бѣлыми цвѣтами, береза была искривлена степнымъ вѣтромъ, а подъ ея легкой, сквозной сѣнью уже давнымъ-давно возвышался ветхій, сѣрый голубецъ,—крестъ съ треугольной тесовой кровелькой, подъ которой хранилась отъ непогодъ суздальская икона Божіей Матери—покровительницы полей.

Шелковисто-зеленое, бѣлоствольное дерево въ золотыхъ хлѣбахъ,—какъ это правилось намъ въ дѣтствѣ! Впрочемъ, тогда все казалось хорошо. Тогда и хлѣба были гуще, и лѣто жарче, и небо синѣе, и зимы морознѣе, и деревня веселѣе и богаче... Когда-то давно тотъ, кто первый пришелъ на это мѣсто, поставилъ на своей десятиной крестъ съ кровелькой, призвать попу и освятить „Покровъ Пресвятыя Богородицы“, и съ тѣхъ поръ старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо простирая свое благословеніе на трудовое крестьянское счастье. Въ дѣтствѣ мы чувствовали страхъ къ сѣрому кресту, никогда не рѣшались заглянуть подъ его кровельку, — однѣ ласточки смѣли залетать

туда и даже вить тамъ гнѣзда. Но и благоговѣніе чувствовали мы къ нему, потому что слышали, какъ наши матери шептали въ темныя осеннія ночи:

— Пресвятая Богородица, защити насъ Покровомъ Твоимъ!

Осень приходила къ намъ свѣтлая и тихая,—она воцарялась въ степи такъ мирно и спокойно, что, казалось, конца не будетъ яснымъ днямъ. Она дѣлала дали нѣжно-голубыми и глубокими, небо—чистымъ и кроткимъ, солнечные дни — веселыми. Тогда можно было различить самый отдаленный курганъ въ степи, на открытой и просторной равнинѣ ярко-желтаго жнивья. Осень убирала и березу въ золотой уборъ. А береза радовалась и не замѣчала, какъ недолговѣченъ этотъ уборъ, какъ листокъ за листкомъ осыпается онъ, пока, наконецъ, не оставалась вся раздѣтая на его золотистомъ, легкомъ коврѣ. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сіяла, озаренная изъ-подъ низу желтымъ отсвѣтомъ сухихъ листьевъ. А радужныя паутинки тихо летали возлѣ нея въ блескѣ солнца, тихо садились на сухое, колкое жнивье... И народъ называлъ ихъ красиво и нѣжно—„пряжей Богородицы“.

Зато жутки были темные дни и ночи, когда осень сбрасывала съ себя кроткую личину. Безпощадно трепалъ тогда вѣтеръ обнаженные вѣтви березы! Избы стояли нахохлившись, какъ куры въ непогоду, туманъ въ сумерки низко бѣжалъ по голымъ равнинамъ, волчьи глаза свѣтились ночью на задворкахъ. Нечистая сила часто скидывается ими, и было бы страшно въ такія ночи, если бы за околицей деревни не было стараго голубца. А съ начала ноября и почти до апрѣля бури неустанно заносили снѣгами и поля, и деревню, и березу, и самый голубецъ почти до иконы. Бывало, выглянешь изъ сѣней въ поле, а жесткая вьюга свиститъ подъ голубцомъ, дымится по острымъ сугробамъ и со стономъ проносится по равнинѣ, заматавая на бѣгу слѣды

по ухабистой дорогѣ. Заблудившійся пѣтннкъ робко крестился въ такую пору, завидѣвъ въ дыму метели торчавшій изъ сугробовъ крестъ, зная, что здѣсь бодрствуетъ надъ дикой снѣжной пустыней сама Царица Небесная. И она все выносила, стоя у проѣзжаго пути и охраняя свою деревню и свое мертвое до поры до времени поле.

Поле долго было мертвымъ, но степные люди были прежде выносливы. И вотъ, наконецъ, крестъ начиналъ выростать изъ осѣдающихъ сѣрыхъ снѣговъ. Обтаивала и горбатая унавоженная дорога, наступали теплые и густые мартовскіе туманы. Отъ тумановъ и дождей чернѣли и дымились въ сумрачные дни крыши избъ, а собаки по сугробамъ залѣзали на нихъ, такъ какъ улица превращалась въ сплошную лужу. Потомъ туманы сразу смѣнялись солнечными днями. И все снѣжное поле насыщалось водою, растоплялось и, растопленное, ярко блестяло подъ солнцемъ, дрожа безчисленными ручьями. Въ одинъ-два дня степъ принимала новый видъ: по весеннему просторно становилось въ темныхъ равнинахъ, окаймленныхъ блѣдно-синеваой далью. Выпускали шершавый скотъ изъ хлѣвовъ; обезсилѣвшія за зиму лошади и коровы бродили и лежали на выгонѣ, а галки садились на ихъ худыя спины и дергали клювами шерсть для своихъ гнѣздъ. Но дружная весна къ хорошимъ кормамъ, — скотъ отгуляется по теплымъ росамъ! Уже пѣли жаворонки въ ясные полдни, уже мальчишки-пастухи загорали отъ вѣтровъ и солнца, которые просушивали землю. Когда же обмывалъ ее весенній дождь и пробуждалъ первый громъ, Господь благословлялъ въ тихія звѣздныя ночи расти хлѣбамъ и травамъ, и, успокоенная за свои нивы, кротко глядѣла изъ голубца старая икона. Тонко пахло въ чистомъ ночномъ воздухѣ зелеными, мирно было въ степи, тихо въ темной деревнѣ, гдѣ уже не вдували огня съ Благовѣщенья, и замирали по вечерней зарѣ пѣсни дѣвушекъ, прощавшихся съ своими обреченными подругами.

А потомъ все росло не по днямъ, а по часамъ. Зеленѣлъ выгонъ, зеленѣли ветлы передъ избами, зеленѣла береза... Шли дожди, и протекали жаркіе іюньскіе дни, зацвѣтали цвѣты, и наступали веселые сѣнокосы... Что иное можно сказать о степной деревушкѣ? Люди родились, выросли, женились, уходили въ солдаты, работали, пировали праздники... Главное же мѣсто въ ихъ жизни все-таки занимала степь—ея смерть и возрожденіе. Пустила и покрывалась снѣгами степь,—и деревня болѣе полугода жила, какъ въ забытіи; тогда не мало умирало народа отъ холода, голода и черныхъ избъ, не мало замерзало въ метели. Наступала весна, наступала и жизнь, — работа, скрашенная веселыми днями... Или они только снились намъ въ дѣтствѣ? Нѣтъ, я хорошо помню, какъ мягко и беззаботно шумѣлъ лѣтній вѣтеръ въ шелковистой листвѣ березы, путая эту листву и склоняя до самыхъ колосьевъ тонкія, гибкія вѣтви; помню солнечное утро на Троицу, когда даже бородатые мужики, какъ истые потомки русичей, улыбались изъ-подъ огромныхъ березовыхъ вѣнковъ; помню грубыя, но могучія пѣсни на Духовъ День, когда мы съ закатомъ уходили въ ближній дубовый лѣсокъ и тамъ варили кашу, разставляли ее въ черепкахъ по холмикамъ и „молили кукушку“ быть милостивою вѣщуньей; помню „игры солнца“ подъ Петровъ день, помню величальныя пѣсни и веселыя свадьбы, помню трогательныя молебны передъ кроткой Заступницей всѣхъ скорбящихъ, въ полѣ, подъ открытымъ небомъ, подъ старымъ крестомъ у березы!

Однако, жизнь не стоитъ на мѣстѣ,— старое уходитъ, и мы провожаемъ его часто съ великой грустью, но тѣмъ и хороша жизнь, что она пребываетъ въ неустанномъ обновленіи. Наше дѣтство прошло, и все вокругъ насъ быстро стало измѣняться и старѣть. Насъ потянуло заглянуть дальше того, что мы видѣли за околицей деревни, тѣмъ болѣе, что и деревня становилась

все скучнѣй, и береза уже не такъ густо зеленѣла весной, и крестъ у дороги ветшалъ, и люди истощили поле, которое охранялъ онъ. И такъ какъ бѣда никогда не ходитъ одна, то само небо, казалось, стало гнѣваться на людей. Знойные и сухіе вѣтры разгоняли тучи, подымая вихри по дорогѣ, солнце нещадно палило хлѣба и травы. Подсыхали до срока тощія ржи и овсы, и было больно смотрѣть на нихъ, потому что нѣтъ ничего печальнѣе и смиреннѣе тощей ржи. Какъ безпомощно склоняется она отъ горячаго вѣтра легкими, пустыми колосьями, какъ сиротливо шелеститъ въ знойный полдень! Сухая пашня сквозитъ между ея стеблями, издалека видны среди нихъ сухіе васильки и фіолетовый куколь... И дикая серебристая лебеда, предвѣстница запустѣнія и голода, заступаетъ мѣсто тучныхъ хлѣбовъ у старой проселочной дороги. Нищія и слѣпыя все чаще стали съ жалобными припѣвами обходить деревню. А деревня и сама давно запечалилась и безмолвно стояла на припекѣ, равнодушная уже почти ко всему окружающему.

Тогда, точно въ горести, потемнѣлъ отъ пыльных вѣтровъ кроткій ликъ Богоматери. Проходили годы,— Она казалась безучастной къ судьбѣ своего поля. И люди стали забывать Ее. Еще нѣсколько лѣтъ потомились они въ степи, потомъ мало-по-малу стали уходить по дорогѣ къ городу. А вскорѣ прошелъ слухъ, что вотъ-вотъ „всѣхъ погонять на новыя мѣста“. И оставшіеся въ деревнѣ съ радостью ухватились за эту вѣсть. Они прожили зиму въ ожиданіяхъ, а весной собрали свой скудный скарбъ, забили досками окна избъ, запрягли лошадей и навсегда ушли изъ деревни въ поиски новаго счастья. Про „новыя“ мѣста они знали одно,—что тамъ лѣсу и звѣрей много; но помощи было ждать неоткуда,—нужно было идти. И деревня опустѣла.

— Ни души!—сказалъ вѣтеръ, облетѣвъ всю деревню и закрутивъ въ безцѣльномъ удалствѣ пыль на дорогѣ.

Но береза не отвѣтила ему, какъ прежде. Она слабо зашевелила вѣтвями и опять задремала. Она уже знала, что выгонъ въ деревнѣ заросъ высокой сорной травой, что глухая крапива поднялась у пороговъ, что полынь растеть на полураскрытыхъ крышахъ. Степь вокругъ была пуста, а десятокъ уцѣлѣвшихъ избъ можно было издалека принять за кибитки кочевниковъ, покинутыя въ мертвомъ полѣ послѣ битвы или чумы. И голубецъ уже покосился подъ березой, на верхушкѣ которой торчали сухіе, бѣлые сучья. Теперь, въ сумерки, когда за темными полями слабо алѣлъ закатъ, ночевали на ней только грачи да вороны, которые не мало видѣли перемѣнъ на этомъ свѣтѣ...

И внезапно на степи опять появились люди! Все чаще приходятъ они по дорогѣ изъ города, и располагаются станомъ у деревни. Ночью они жгутъ костры, разгоняя темноту, и тѣни далеко убѣгаютъ отъ нихъ по дорогамъ. Съ разсвѣтомъ они выходятъ въ поле и длинными буравами сверлятъ землю. Вся окрестность чернѣетъ кучами, точно могильными холмами. Люди безъ сожалѣнія топчутъ рѣдкую рожь, еще вырастающую кое-гдѣ безъ сѣва, безъ сожалѣнія закидываютъ ее землею, потому что они ищутъ источниковъ новаго счастья,—ищутъ ихъ уже въ нѣдрахъ земли, гдѣ таятся талисманы будущаго.

— Руда!—раздаются голоса въ полѣ.—Скоро этотъ край закипитъ народомъ, задымитъ трубами заводовъ, проложить крѣпкіе желѣзные пути на мѣстѣ старой дороги и выстроить городъ на мѣстѣ дикой деревушки!

И то, что освящало здѣсь старую жизнь — сѣрый, упавшій на землю крестъ уже забыть всѣми... Чѣмъ-то освящать новые люди свою новую жизнь? Чье благословеніе призовутъ они на свой новый, бодрый и шумный трудъ?

НОВАЯ ДОРОГА.

I.

— Напрасно вы уѣзжаете въ такую пору!—говорятъ мнѣ знакомые, позднимъ вечеромъ прощаясь со мной на вокзалѣ.—Добрые люди только съѣзжаются въ Петербургъ, а вы уѣзжаете. Чего вы тамъ не видали? Лѣсовъ, сугробовъ? Посмотрите, что соскучитесь черезъ недѣлю... А потомъ еще эта новая дорога, на которой дня не проходитъ безъ крушеній!

— Богъ милостивъ!—отвѣчаю я машинально.

Провожающіе пожимаютъ плечами и умолкаютъ. Наступаютъ тѣ непріятныя минуты разлуки, когда сказать уже нечего, улыбки дѣлаются фальшивыми, а время начинаетъ идти страшно медленно.

— Да-съ,—говорить кто-нибудь неестественнымъ тономъ.—Итакъ, вы улечувиваетесь. Жаль, право, жаль!.. Пишите хоть, по крайней мѣрѣ, чаще.

Наконецъ, раздается второй звонокъ. Мы оживляемся и торопливо прощаемся. Махая шляпами, провожающіе уходятъ и, оборачиваясь, кланяются уже съ искренней привѣтливостью. Я остаюсь въ сѣняхъ вагона и улыбаюсь. Уѣзжаю-таки! Въ Петербургѣ мнѣ всегда кажется, что я попалъ на какой-то праздникъ, продолжающійся всю зиму, и уже одно это утомительно дѣйствуетъ на душу. Хочется на просторъ, на воздухъ,

и вотъ я все чаще начинаю рисовать себѣ, какъ хорошо теперь тамъ,—въ провинціальной Россіи. А тутъ открывается еще новая дорога, которая сокращаетъ мой путь домой почти на пятьсотъ верстъ. Правда, крушенія на этой новой дорогѣ до смѣшного часты, но зато какъ красива, говорятъ, она!..

— Готово!—кричитъ кто-то около паровоза, и паровозъ тяжело стучается буферами въ вагоны. Слышно, какъ онъ сдержанно сипитъ горячимъ паромъ, изрѣдка кидая клубы дыма, и платформа пустѣетъ. Около моего вагона остаются только высокій, красивый офицеръ съ продолговатымъ, нагло-серьезнымъ лицомъ въ полубачкахъ, и дама въ траурѣ. Дама кутается въ ротонду и тоскливо смотритъ на офицера заплаканными черными глазами, а онъ, въ знакъ своей печали, строго косится на кондуктора. Потомъ, съ неловкой поспѣшностью очень сытаго человѣка, проходитъ большой рыжеусый помѣщикъ съ ружьемъ въ чехлѣ и въ оленьей дохѣ поверхъ сѣраго охотничьяго костюма, а за нимъ приземистый, но очень широкій въ плечахъ генераль... Потомъ изъ конторы быстро выходитъ, почти выбѣгаетъ, начальникъ станціи. Онъ только-что велъ съ кѣмъ-то непріязненный споръ и поэтому, рѣзко скомандовавъ „третій!“,—такъ далеко швыряетъ папиросу, что она долго прыгаетъ по платформѣ, разсыпая по вѣтру красныя искры. И тотчасъ же на всю платформу звонитъ гулкій вокзальный колоколъ, раздаются гремучіе свистки оберъ-кондуктора, мощныя взрыванія паровоза—и плавно трогается поѣздъ.

Офицеръ быстро идетъ по платформѣ, раскланиваясь, ускоряя шаги и все болѣе и болѣе отставая отъ вагоновъ; поѣздъ все отрывистѣе и рѣзче кидаетъ изъ-подъ цилиндровъ горячимъ паромъ... Но вотъ мелькнулъ послѣдній фонарь платформы, офицера точно сдернуло—и поѣздъ очутился въ темнотѣ. Она сразу развернулась передъ нимъ, усѣянная тысячами золотыхъ огней го-

рода, а поѣздъ уже увѣренно несется въ нее мимо товарныхъ складовъ и вагоновъ, грозно предупреждая кого-то дрожащимъ ревомъ. Свѣтлыя отраженія оконъ все быстрѣе бѣгутъ сперва по рельсамъ и шпаламъ, ускользящимъ въ разныя стороны... Скоро въ вагонѣ станетъ тепло и уютно, и, безпорядочно громоздя вещи по диванамъ, пассажиры начнутъ располагаться на ночь. Сѣдой, строгій, но очень вѣжливый старичокъ-кондукторъ въ пенснѣ на кончикѣ носа не спѣша проходитъ среди этой тѣсноты и пунктуально переписываетъ билеты, наклоняясь къ фонарику своего помощника.

Воздухъ въ поляхъ, послѣ города, кажется необыкновеннымъ,—и, какъ всегда, я и на этотъ разъ до поздней ночи стою въ сѣняхъ вагона, отворивъ боковую дверь, и напряженно гляжу противъ вѣтра въ темныя снѣжныя поля. Поѣздъ уносится на вѣхъ парахъ, и все кругомъ меня волнуется, точно живетъ лихорадочной жизнью. Вагонъ дрожить и дребезжитъ отъ быстрого бѣга, вѣтеръ сыплетъ въ лицо снѣжной пылью, свѣтъ фонаря въ сѣняхъ прыгаетъ, мѣшаясь съ тѣнями. И, качаясь, я хожу отъ двери къ двери по холоднымъ сѣнямъ, уже поблѣвшимъ отъ снѣга... Прежде, помню, все это очень возбуждало меня. Шумный путь, неизвѣстность впереди, двадцать лѣтъ—все чувствовалось особенно сильно и весело. Хотѣлось пѣть, кричать что-нибудь въ родѣ „марсельезы“ подъ грохочущій маршъ поѣзда... Теперь я только взволнованно хожу отъ двери къ двери. А за ними проплываютъ смутныя силуэты холмовъ и кустарниковъ, съ мгновеннымъ глухимъ ропотомъ проносятся подъ колесами чугунныя мостики, между тѣмъ какъ въ далекихъ, чуть блѣвующихъ поляхъ мелькаютъ огоньки глухихъ деревушекъ. И, щурясь отъ вѣтра, я съ грустью гляжу въ эту темную даль, гдѣ забытая жизнь родины мерцаетъ такими блѣдными, тихими огоньками...

Возвратясь въ вагонъ, застаю уже сонное царство. Въ полусумракѣ видны фигуры лежащихъ, тѣсно отъ

шубъ и поднятыхъ спинокъ дивановъ, пахнетъ табакомъ и пальсинами... Согрѣваясь послѣ холоднаго вѣтра, долго смотрю полузакрытыми глазами, какъ покачивается мѣховое пальто, повѣшенное у двери, и думаю о чемъ-то неясномъ, что сливается съ дрожащимъ сумракомъ вагона и незамѣтно убаюкиваетъ ропотомъ... Славная вещь, этотъ сонъ въ пути! Сквозь дремоту чувствуешь иногда, что поѣздъ затихаетъ. Тогда слышатся громкіе голоса подъ окнами, шарканье ногъ по каменной платформѣ, а въ затихшемъ вагонѣ—ровное дыханіе и храпъ спящихъ. Что-то беспокоитъ глаза... Это тусклый и лучистый, желтоватый блескъ замерзшаго окна напротивъ, за которымъ сталъ вокзальный фонарь. Онъ мутно озаряетъ сумракъ вагона, а со сна кажется болѣзненнымъ и непріятнымъ...

— Не знаете, какая станція?—спрашиваетъ кто-то страннымъ, испуганнымъ голосомъ...

Потомъ звонокъ бьетъ гдѣ-то далеко-далеко и усыпительно, хлопаютъ двери вагоновъ, и доносится жалобный гулъ паровоза, напоминающій о безконечной дали пути и ночи. Что-то начинаетъ вздрагивать и поталкивать подъ бокъ; металлически-лучистый блескъ фонарей проходить и гаснетъ на стеклахъ оконъ; пружины дивана покачиваются все ровнѣе и ровнѣе, и, наконецъ, непрерывно возрастающій бѣгъ поѣзда снова погружаетъ въ дремоту...

Внезапное прикосновеніе чьей-то руки извѣщаетъ меня передъ утромъ о пересадкѣ. Испуганно вскакиваю, торопливо забираю вещи и черезъ большую, но сонную и тускло-освѣщенную станцію иду на какую-то длинную платформу, занесенную свѣжимъ глубокимъ снѣгомъ, къ маленькому поѣзду, составленному изъ самыхъ разнокалиберныхъ вагоновъ.

— Новая дорога!—съ удовольствіемъ думаю я.—Тишина, маленькіе вагоны, душистый дымъ березовыхъ дровъ, запахъ хвои... Славно!

Въ полудремотѣ я попадаю въ такъ называемый „вагонъ-микстъ“, тѣсный, съ квадратными окнами, и тотчасъ же снова крѣпко засыпаю. Поѣздъ снова идетъ и снова убаюкивается... И къ утру я оказываюсь уже очень далеко отъ Петербурга. И начинается долгій и настоящій русскій зимній путь, одинъ изъ тѣхъ, о которыхъ совсѣмъ забыли въ Петербургѣ...

II.

Будить меня чей-то мучительный кашель. Открываю глаза и вижу передъ собою станowego, типичнаго стараго служаку въ рыжей енотовой шубѣ поверхъ сѣрой полицейской шинели. Отъ натуги глаза у него вытаращены и полны слезъ, обвѣтренное лицо красно, сѣдые усы взъерошены. Онъ необыкновенно жарко раскурилъ огромнѣйшую папиросу изъ дешеваго, крѣпкаго табаку, а въ тѣсномъ, старомъ вагончикѣ и безъ того сумрачно, потому что окна полузанесены снѣгомъ. Поѣздъ трясеть и гремитъ, какъ телѣга.

— Вотъ такъ кашель!—говоритъ становой, отдуваясь, и такъ просто и добродушно, точно мы росли вмѣстѣ.—Только и полегчаетъ, когда немножко покуришь!

— Ну, значить, Петербургъ далеко!—думаю я, подымаясь, и, машинально отвѣчая становому на разспросы о Петербургѣ, заглядываю въ окна. О, какой бѣлый, чистый снѣгъ! Кажется, давно ли я простился съ петербургскимъ поѣздомъ, а уже можно подумать, что все петербургское осталось за нѣсколькими тысячами верстъ за нами. Вокругъ только бѣлое безжизненное небо и бѣлое безконечное поле съ кустарниками и перелѣсками. И какъ не по-петербургски идетъ поѣздъ! Проволоки телеграфныхъ столбовъ лѣниво плывутъ за окнами, точно имъ скучно подыматься, опускаться и вытягиваться вслѣдъ за поѣздомъ, а столбамъ надоѣло бѣжать за ними. Поѣздъ на подъемахъ скрипитъ и качается, а

подъ уклоны бѣжить, какъ старикъ, пустившійся догонять кого-нибудь. Однообразно бѣлѣютъ поля, машетъ вдали крыльями птица, чернѣютъ кустарники и деревушки—и все это кругами уходитъ назадъ. Вѣтеръ лѣниво развѣваетъ дымъ паровоза, и кустарники, по которымъ разстилается этотъ дымъ, какъ будто курятся и плаваютъ по снѣжному полю... Все такъ знакомо и въ то же время все ново и обаятельно!

Утро поэтому проходитъ незамѣтно. Умываешься, пьешь чай и не узнаешь себя. Нѣтъ и слѣда прежняго равнодушнаго отношенія ко всему. Петербургъ далеко, началась настоящая глушь... И мнѣ даже нравится, что вагонъ такой тѣсный и неуклюжій, что пассажировъ, кромѣ меня и становаго, который, впрочемъ, скоро слѣзетъ на развѣздѣ, всего-на-всего одинъ: бородатый коренастый старикъ — желѣзнодорожный артельщикъ съ сумкой черезъ плечо, похожій на уѣзднаго лавочника. Онъ усердно занимается насыпкой папиросъ и чаепитіемъ, и мнѣ все утро слышно, какъ онъ съ наслажденіемъ схлебываетъ съ блюдечка горячую жидкость.

— Не угодно ли-съ?—говоритъ онъ мнѣ, указывая глазами на жестяной чайникъ.—А то что жъ на вокзалахъ-то платить по гривеннику за стаканчикъ!

Такъ какъ около двери, гдѣ я помѣщаюсь, по ногамъ несетъ холодомъ, то я сижу, закутавши колѣни пледомъ, и, не отрывая глазъ, все еще смотрю въ окно то на свѣжія выемки около линій, то на новенькіе тесовые станціи и развѣзды, то на бѣлое поле съ перелѣсками, причемъ кажется, что стволы деревьевъ трепещутъ и сливаются, а весь перелѣсокъ идетъ кругомъ: ближнія деревья, трепеща, бѣгутъ назадъ, а дальнія постепенно заходятъ впередъ... Потомъ мы съ артельщикомъ пьемъ чай, сообщая другъ другу свои біографіи, потомъ я отправляюсь бродить по вагонамъ и площадкамъ... Необыкновенно пріятно смотрѣть, какъ перепар-

хиваетъ въ воздухѣ свѣжій снѣгъ, и уже настоящей Русью пахнетъ всюду!

Станціи и разъѣзды часты, но они теряются среди окружающаго ихъ пустыннаго и огромнаго пейзажа зимнихъ полей. Кромѣ того, еще не завладѣла новая дорога краемъ и не вызвала къ себѣ его обитателей. Постоить поѣздъ на пустой станціи и опять бѣжить среди полей и перелѣсковъ... Ёдемъ, впрочемъ, съ опозданиемъ, а кромѣ того, еще стояли въ полѣ, и никто не зналъ почему, и всѣ сидѣли въ томительномъ ожиданіи, слушая, какъ уныло шумитъ вѣтеръ за стѣнами неподвижныхъ вагоновъ, и какъ жалобно кричитъ бочкообразный паровозъ, имѣющій манеру трогать съ мѣста такъ, что пассажиры падаютъ съ дивановъ. Балансируя на неровномъ бѣгу поѣзда, я хожу изъ вагона въ вагонъ и вездѣ вижу обычную жизнь русскаго захолустнаго поѣзда. Въ первомъ и второмъ классѣ пусто, а въ третьемъ—мѣшки, полушубки, сундуки, на полу соръ и подсолнухи, и почти всѣ спятъ, лежа въ самыхъ тяжелыхъ и безобразныхъ позахъ. Неспящіе сидятъ и до одурѣнія накуриваются, такъ что жаркій воздухъ синѣетъ отъ ѣдкаго и сладковатаго дыма махорки. Одинъ лотерейщикъ, молодой воръ съ бѣгающими глазами, не дремлетъ. Онъ собираетъ въ кучки мужиковъ и полупьяныхъ рабочихъ, и они, пробуя свое счастье, изрѣдка, точно на смѣхъ, выигрываютъ то карандашъ въ двѣ копейки, то какой-нибудь бокалъ изъ дутаго стекла. Слышится споръ и говоръ, неистово кричитъ ребенокъ, поѣздъ стучитъ и громыкаетъ, а солдатъ, въ новой ситцевой рубахѣ и въ черномъ галстукѣ, спокойно сидитъ надъ спящими на своемъ сундучкѣ и, поставивъ ногу на противоположную лавочку, съ совершенно бессмысленными глазами и вытянутой верхней губой рычитъ на тульской гармоникѣ: „Чудный мѣсяцъ плыветъ надъ рѣкою“...

— Станція „Бѣлый Боръ“, остановки восемь ми-

нута...—машинально кричитъ кондукторъ, рослый мужикъ въ тяжелой, длинной шинели, и, проходя по нашему вагону, съ такой силой хлопаетъ дверями, точно хочетъ заколотить ихъ навѣкъ.

Это значить, что начинаются уже лѣса. Послѣ „Бѣлаго Бора“ черезъ двѣ станціи—уѣздный городъ, по имени котораго называются эти лѣса. Кустарники и перелѣски становятся чаще,—начинается смѣшанное чернолѣсье и краснолѣсье. Проходитъ еще часъ, полтора, и наконецъ, вдали изъ-за лѣса показываются главы и кресты монастыря, которымъ далеко извѣстенъ этотъ городъ. Боръ вокругъ него вырубаетъ нещадно, и кажется, что новая дорога идетъ, какъ завоеватель, рѣшившій во что бы то ни стало расчистить лѣсныя чащи, скрывающія жизнь въ своей вѣковой тишинѣ. И долгій свистокъ, который даетъ поѣздъ, проходя передъ городомъ по мосту надъ лѣсной рѣчкой, какъ бы извѣщаетъ обитателей этихъ мѣстъ о своемъ шествіи.

На нѣсколько минутъ вокругъ насъ закипаетъ суматоха. За деревяннымъ, кирпичнаго цвѣта вокзаломъ видны тройки, громыхаютъ бубенчики, и кричатъ наперебой извозчики, а зимній день сѣръ и тепелъ, и похоже на масленицу. По платформѣ гуляютъ барышни и молодые люди, среди которыхъ даетъ тонъ высокій телеграфистъ, очевидно, мѣстный красавецъ,—франтъ въ дымчатомъ пенснэ и кавказской папахѣ. Двери въ вагоны поминутно растворяются, и со двора несетъ холодомъ, и пахнетъ снѣгомъ и хвойнымъ лѣсомъ. Статный, великолѣпно сложенный лакей въ одномъ фракѣ и безъ шапки носить жареные пирожки, и странно видѣтъ среди лѣса его крахмальную рубашку и бѣлый галстукъ. Въ нашъ вагонъ набирается много барышень, которыя кого-то провожаютъ и перешептываются, играя глазами; купецъ съ подушкой ломится къ своему мѣсту, давя на пути все встрѣчное, а худой, но очень высокій священникъ, запыхавшись и сдвинувъ съ потнаго лба

на затылокъ бобровую шапку, вбѣгаетъ въ вагонъ и убѣгаетъ, униженно прося носильщика о помощи. Онъ укладываетъ безчисленное количество узловъ и кулечковъ на диваны и подъ диваны, извиняется предъ всѣми за беспокойство и притворно-весело бормочетъ:

— Ну, теперь такъ! Вотъ это сюда... А вотъ это, я думаю, и подъ лавочку можно... Я не потревожу васъ? Нѣтъ? Ну, и чудесно,—покорнѣйше благодарю васъ!

А среди всей этой суматохи шныряетъ хромой разпосчикъ съ корзиной лимоновъ, монашенки съ убитыми лицами жалобно просятъ на обитель, и внезапно, когда уже бьетъ второй звонокъ, какой-то слѣпой со звѣрскимъ лицомъ входитъ въ вагонъ и, ударивъ на скрипкѣ „Шумить Марица“, подхватываетъ маршъ дикимъ басомъ.

Вагонъ между тѣмъ везутъ назадъ и опять останавливаютъ. Долго слышится, какъ кондуктора переругиваются и гремятъ по окнамъ сигнальной веревкой, протягивая ее отъ паровоза по поѣзду... Наконецъ, поѣздъ снова трогается.

И опять передъ окнами мелькаютъ березы и сосны въ снѣгу, поля и деревушки. а надъ ними—сѣрое небо.

III.

Эти березы и сосны становятся, однако, все непривѣтливѣй: онѣ хмурятся, собираясь толпами все плотнѣе и плотнѣе. Идетъ молодой, легкій снѣжокъ, но отъ сплошныхъ чащей лѣса въ вагонахъ темнѣетъ, и кажется, что хмурится и погода. Теперь, кромѣ того, къ моему настроенію начинается примѣшиваться что-то серьезное и строгое, постепенно омрачается радость возвращенія къ тихому лѣсному дню... Новая дорога все дальше уводитъ въ новый, еще неизвѣстный мнѣ край Россіи, и отъ этого я еще живѣе чувствую то, что такъ полно чувствовалось въ юности: всю красоту и всю глубокую печаль русскаго пейзажа, такъ нераздѣльно связаннаго съ рус-

ской жизнью. Новую дорогу уже мрачно обступили темные лѣса и какъ бы хотятъ сказать ей:

— Иди, иди, мы разступаемся предъ тобою, но помни, какую отвѣтственность берешь ты на себя. Неужели ты снова только и сдѣлаешь, что къ робкой, запуганной бѣдности нашего края прибавишь еще нищету природы?

Зимній день въ лѣсахъ очень коротокъ, и вотъ уже темнѣть въ углахъ вагона, синѣютъ за окнами сумерки, и мало-по-малу заползаетъ въ сердце безпричинная, смутная, настоящая русская тоска. Петербургъ представляется мнѣ уже какимъ-то далекимъ оазисомъ на окраинѣ огромной снѣжной пустыни, которая обступила меня со всѣхъ сторонъ на тысячи верстъ. Нашъ вагонъ опять пустѣетъ. Опять со мною только три спутника: артельщикъ и двое спящихъ,—кавалеристъ и помощникъ начальника станціи. Кавалеристъ, молодой человѣкъ въ крѣпко-натянутыхъ рейтузахъ, спитъ, какъ убитый, богатырски растянувшись на спинѣ; помощникъ лежитъ внизъ лицомъ, слабо покачиваясь, точно приноравливаясь къ толчкамъ бѣгущаго поѣзда. И тяжело смотрѣть на его старое пальто и старыя большія калоши, свѣсившіяся съ дивана.

Но этого мало: надо прибавить еще сумракъ и холодъ въ дребезжащемъ, неуклюжемъ вагонѣ. Глядя на медвѣжьи трущобы вокругъ поѣзда, думаешь, что этотъ громяющій поѣздъ идетъ гдѣ-нибудь въ тайгѣ, на далекомъ сѣверѣ. Мелькаютъ стволы высокихъ сосенъ въ сугробахъ, толпа мѣшется на пригоркахъ монахини-елочки въ своихъ черныхъ бархатныхъ одеждахъ... Порою чаща разступается, и далеко развертывается унылая болотная низменность, угрюмо синѣетъ амфитеатръ лѣсовъ за нею, и полосой дыма виситъ молочно-свинцовый туманъ надъ лѣсами. А потомъ снова около самыхъ оконъ зачастятъ сосны и ели въ снѣгу, глухими чащами надвинется чернолѣсье, потемнѣетъ въ вагонѣ... Стекла въ окнахъ дребезжатъ и перезваниваютъ, плавно ходитъ на петляхъ непритворенная въ другое отдѣленіе дверь

краснаго дерева, а колеса, перебивая другъ друга, словно подъ землю, ведутъ свой торопливый и невнятный разговоръ.

— Болтайте, болтайте!—важно и задумчиво говорятъ имъ угрюмыя и высокія чащи сосенъ.—Мы разступаемся, но что-то несете вы въ нашъ тихій край?

Огоньки робко, но весело свѣтятъ въ маленькихъ повыхъ домикахъ лѣсныхъ станцій. Новая суетливая жизнь чувствуется въ каждомъ изъ нихъ,—маленькіе оазисы среди пустынного лѣснаго царства. Но въ двухъ шагахъ отъ этого казеннаго домика начинается совсѣмъ другой міръ. Тамъ чернѣютъ затерянные среди лѣсовъ рѣдкіе поселки темнаго и унылаго лѣснаго народа. На платформахъ станцій иногда стоитъ нѣсколько человѣкъ изъ этихъ деревушекъ,—нѣсколько нищихъ въ рваныхъ полущубкахъ, лохматыхъ, съ простуженными горлами, но такихъ смиренныхъ и съ такими чистыми, почти дѣтскими глазами! Опустивъ кнуты, они выглядываютъ пассажира почти безнадежно, потому что на нѣсколько человѣкъ изъ нихъ рѣдко приходится даже одинъ пассажиръ. И, тупо глядя на поѣздъ, они тоже какъ бы говорятъ ему своими взглядами:

— Дѣлайте, какъ знаете,—намъ податься некуда. А что изъ этого выйдетъ, мы не знаемъ.

Гляжу и я на этотъ еще такой молодой, но уже замученный народъ... И вся Россія начинаетъ представляться мнѣ одной сплошной пустыней снѣговъ и лѣса, на которую медленно сходить теперь долгая и молчаливая ночь.

Ночь эта будетъ теплая, съ мягко падающимъ, ласковымъ снѣгомъ. На минуту поѣздъ останавливается передъ длиннымъ и низкимъ строеніемъ на разѣздѣ. Освѣщенные окошечки его, какъ живые глаза, выглядываютъ изъ вѣковаго сосноваго лѣса, занесеннаго снѣгами. Паровозъ, лязгая колесами по рельсамъ, плавно прокатывается мимо поѣзда, приводитъ къ нему деся-

токъ товарныхъ вагоновъ и, наконецъ, двумя жалобными криками объявляетъ, что онъ готовъ. Крики эти гремучими переливами далеко бѣгутъ по лѣсной округѣ, перекликаясь другъ съ другомъ, и поѣздъ снова трогается въ путь,—все дальше въ глубину лѣсного края.

— Сейчасъ нехорошее мѣсто будетъ!—со вздохомъ говоритъ стоящій за мной на площадкѣ вагона мѣщанинъ.—Тутъ сейчасъ подъемъ версты въ три, а потомъ насыпь. Смотрѣть жутко! Тутъ дня не проходитъ безъ бѣды...

Я смотрю, какъ уходятъ отъ насъ и скрываются въ лѣсу огоньки станціи, и машинально слушаю его. Тихая и глубокая тоска, какъ лѣсная ночь, растетъ вокругъ меня...

„Какой странѣ принадлежу я,—думается мнѣ,—я, русскій интеллигентъ-пролетарій, одиноко скитающійся по роднымъ краямъ? Что общаго осталось у насъ съ этой лѣсною глушью? Она безконечно велика, и мнѣ ли разобраться въ ея печаляхъ, и мнѣ ли помочь имъ? И какъ страшно одиноки мы, безпомощно ищущіе красоты, правды и высшихъ радостей для себя и для другихъ въ этой исполинской лѣсной странѣ! Какъ прекрасна, какъ дѣвственно-богата эта страна! Какія величавыя и мощныя чащи стоятъ вокругъ насъ, тихо задремывая въ эту теплую январскую ночь, полную нѣжнаго и чистаго запаха молодого снѣга и зеленой хвои! И въ то же время какая жуткая даль!“

Я гляжу впередъ, на этотъ новый путь, который съ каждымъ часомъ все непривѣтливѣй встрѣчаютъ угрюмые лѣса. Теперь въ этомъ пути есть что-то фантастическое. Стиснутая черными чащами и освѣщенная впереди паровозомъ, дорога похожа на безконечный туннель. Столѣтнія сосны замыкаютъ ее и, кажется, не хотятъ пускать впередъ поѣздъ. Но поѣздъ борется: равномерно отбивая тактъ тяжелымъ, отрывистымъ дыханіемъ, онъ, какъ гигантскій драконъ, вползаетъ по

уклону, и голова его вдали изрыгаетъ красное пламя, которое ярко дрожитъ подъ колесами паровоза на рельсахъ и, дрожа, злобно озаряетъ угрюмую аллею неподвижныхъ и безмолвныхъ сосенъ. Аллея замыкается мракомъ, но поѣздъ упорно подвигается впередъ. И дымъ, какъ хвостъ кометы, плыветъ надъ нимъ длинною бѣлесою грядою, полной огненныхъ искръ и окрашенной изъ - подъ низу кровавымъ отраженіемъ пламени изъ паровоза.

О С Е Н Ь Ю.

I.

Около одиннадцати часовъ вечера, когда мы всѣ сидѣли въ гостиной, наступило на минуту молчаніе среди разговора, и, воспользовавшись этимъ, она тотчасъ же встала съ мѣста и какъ бы мелькомъ взглянула на меня.

— Ну, мнѣ пора,—сказала она съ легкимъ вздохомъ, и у меня дрогнуло сердце отъ предчувствія какой-то большой радости и тайны между нами. Я не отходилъ отъ нея весь вечеръ и весь вечеръ ловилъ въ ея глазахъ затаенный блескъ, а въ разговорахъ разсѣянность и едва замѣтную, но совершенно новую ласковость. Теперь я вдругъ почувствовалъ, что наступилъ рѣшительный моментъ. Въ тонѣ, какимъ она какъ бы съ сожалѣніемъ сказала, что ей пора уходить, мнѣ почудился скрытый смыслъ,—то, что она знала, что я выйду съ нею.

— Вы тоже?—полуутвердительно спросила она, видя, что я беру шляпу.—Значить, вы проводите меня,—прибавила она вскользь и, слегка не выдержавъ роли, застѣнчиво улынулась, оглядываясь.

— Ну, до свиданія,—ласково сказала она хозяйкѣ.

Мужчины встали, и въ сдержанности, съ какой они опустили руки, была неподдѣльная почтительность передъ нею. Стройная и гибкая, какъ всѣ южанки съ примѣсью итальянской крови, она легкимъ и привычнымъ

движеніемъ руки захватила юбку чернаго атласнаго платья и еще разъ, уже всѣмъ, улыбнулась на прощанье. И въ этой улыбкѣ, въ молодсмѣ, изящномъ лицѣ, въ черныхъ глазахъ и волосахъ,—даже, казалось, въ тонкой ниткѣ жемчуга на шеѣ и блескѣ брилліантовъ въ серьгахъ—во всемъ была застѣнчивость дѣвушки, которая любитъ впервые. И пока ее просили передать поклоны ея мужу, а потомъ помогали ей въ прихожей одѣваться, я держался въ сторонѣ, а самъ считалъ секунды, боясь, что кто-нибудь выйдетъ съ нами.

Но вотъ мы пожали руку хозяину, нѣсколько голосовъ сказало „до свиданья“, и дверь, изъ которой на мгновеніе упала въ темный большой дворъ полоса свѣта, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всемъ тѣлѣ необычную легкость, я взялъ ее подъ руку и заботливо сталъ сводить съ крыльца, предупреждая о ступенькахъ.

— Вы хорошо видите? — спросила она, глядя подъ ноги. И въ голосѣ ея опять послышались и застѣнчивость, и поощряющая привѣтливость.

Я поспѣшилъ что-то отвѣтить и, наступая на лужи и листья, наугадъ повелъ ее по двору, мимо обнаженныхъ акацій и укусныхъ деревьевъ, которыя гулко и упруго, какъ корабельныя снасти, гудѣли подъ влажнымъ и сильнымъ вѣтромъ южной ноябрьской ночи.

— Воображаю, какой штормъ теперь на морѣ!—заговорилъ я машинально, все болѣе волнуясь и не зная, какъ сказать главное и нужное.

— Теперь, должно быть, очень поздно,—перебила она безпокойно, прислушиваясь къ шуму деревьевъ,—я уже третій вечеръ не дома, и мнѣ ужасно стыдно передъ своими...

— Какъ поздно?—возразилъ я, на мгновеніе растерявшись.—И неужели вы домой?—прибавилъ я внезапно, останавливаясь и понижая голосъ.

Она тоже пріостановилась.

— А куда же? — спросила она изумленно и почти строго.

За рѣшетчатыми воротами свѣтился фонарь моего экипажа. Я взглянулъ на него, потомъ на ея лицо и вспомнилъ то, что она уже давно общалась мнѣ,— поѣздку за городъ.

— Къ морю,—выговорилъ я тихо.

Тогда, не отвѣчая, она взяла своей маленькой, узкой отъ перчатки рукой желѣзный пруть воротъ и безъ моей помощи откинула половину ихъ въ сторону. Поспѣшно прошла она къ экипажу и сѣла въ него, также быстро сѣлъ и я рядомъ съ нею и, накидывая на ея колѣни пледъ, не громко, но увѣренно сказалъ кучеру:

— За городъ, по прибрежной дорогѣ.

II.

Мы мелькомъ взглянули другъ на друга, но, помню, первое время долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало насъ послѣдній мѣсяцъ, было теперь сказано, и мы замолчали только потому, что сказали это слишкомъ ясно и неожиданно. Я беззвучно прижалъ ея руку къ своимъ губамъ и, взволнованный, отвернувшись и сталъ пристально глядѣть въ сумрачную даль бѣгущей навстрѣчу намъ улицы. Я еще боялся ея и, когда на мой вопросъ, — не холодно ли ей, — она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не въ силахъ отвѣтить, я понялъ, что и она боится меня. Но на пожатіе руки она отвѣтила благодарно и крѣпко.

Коляска быстро и по одной линіи мчалась вдоль полутемной улицы уже безлюдного и соннаго города. Южный вѣтеръ шумѣлъ въ деревьяхъ на бульварахъ, колебалъ пламя рѣдкихъ газовыхъ фонарей на перекресткахъ и скрипѣлъ вывѣсками надъ дверями запертыхъ лавокъ. Иногда какая-нибудь сгорбленная фигура вырастала вмѣстѣ со своею шаткой тѣнью подъ боль-

шимъ качающимся фонаремъ таверны, но исчезалъ фонарь за нами—и опять на улицѣ было пусто, и только сырой вѣтеръ мягко и непрерывно билъ откуда-то изъ темноты по лицамъ. Изъ-подъ переднихъ колесъ брызгами сыпалась въ разныя стороны грязь, и она, казалось, съ интересомъ слѣдила за ними. Я взглядывалъ иногда на ея опущенныя рѣсницы и склоненный подъ шляпой профиль, чувствовалъ всю ее такъ близко отъ себя, слышалъ тонкій запахъ ея волосъ, и меня волновалъ даже гладкій и нѣжный мѣхъ соболя на ея шеѣ.

— Направо, — сказалъ я кучеру, молчаливому австрійцу, когда впереди показались лиловато-бѣлые электрическіе шары на главной улицѣ.

И за два квартала до нея онъ свернулъ на такую широкую, пустую и длинную улицу, что, казалось, ей нѣтъ конца. Здѣсь почти уже совсѣмъ не было фонарей, и только въ рѣдкихъ домахъ свѣтились окна сквозь жалюзи и ставни. Когда же коляска миновала старые еврейскіе ряды и базаръ, мостовая сразу кончилась, точно оборвалась подъ нами. Отъ толчка на новомъ поворотѣ она покачнулась, и я невольно обнялъ ее. Она взглянула впередъ, — потомъ обернулась ко мнѣ. Мы встрѣтились лицомъ къ лицу, въ ея глазахъ не было больше ни страха, ни колебанія, — легкая застѣнчивость сквозила только въ напряженной улыбкѣ, — и тогда я, не сознавая, что дѣлаю, на мгновеніе крѣпко прильнулъ къ ея губамъ. Не выпуская моей руки изъ своей она отвѣтила робкимъ и быстрымъ поцѣлуемъ и, смутившись, проговорила, чтобы сказать что-нибудь:

— Дай мнѣ пледъ...

Я заботливо, какъ женѣ, окуталъ пледомъ ея колѣни, а въ душѣ у меня все затрепетало отъ неудержимой радости. О, это первое „ты“ послѣ перваго поцѣлуя! Въ моей радости уже не было ни тревоги, ни сомнѣній, но мнѣ еще сладко было сдерживать ее внутри себя. И опять, переглянувшись, мы невольно

отвернулись другъ отъ друга и стали пристально слѣдить за огнями гдѣ-то далеко впереди...

III.

Въ темнотѣ мелькали высокіе силуэты телеграфныхъ столбовъ вдоль дороги, — наконецъ, пропали и они, свернули куда-то въ сторону и скрылись. Небо, которое надъ городомъ было черно и все-таки отдѣлялось отъ его слабо освѣщенныхъ улицъ, совершенно слилось здѣсь съ землею, и насъ окружилъ сырой и вѣтренный мракъ. Я оглянулся назадъ. Огни города, расположеннаго въ долинѣ, тоже исчезали, — они были разсыпаны точно гдѣ-то въ темномъ морѣ, — а впереди мерцалъ только одинъ огонекъ, такой одинокій и отдаленный, точно онъ былъ на краю свѣта. То была старая молдаванская корчма на большой дорогѣ, и оттуда несло сильнымъ вѣтромъ, который путался и торопливо шуршалъ въ изсохшихъ стебляхъ кукурузы.

— Куда мы ѣдемъ? — спросила она, сдерживая дрожь въ голосѣ. Но глаза ея блестѣли, — наклонившись къ ней, я различалъ ихъ въ темнотѣ, — и въ нихъ было какое-то странное и вмѣстѣ съ тѣмъ счастливое выраженіе.

— Къ дачамъ за маяками, — сказалъ я. — Ты боишься?

Она закрыла глаза и съ улыбкой покачала головой.

— Тамъ теперь жутко, какъ на картинѣ Бэклина, — сказалъ я. — Я люблю тебя, я хотѣлъ бы затеряться съ тобой въ темнотѣ этой непонятной ночи... Слушай, какъ все это случилось?

— Не знаю, — отвѣтила она медленно. — Скажи лучше: правда, что ты любилъ меня и раньше... до сегодняшняго вечера?

Вѣтеръ торопливо шуршалъ и бѣжалъ, путаясь въ кукурузѣ, лошади быстро неслись ему навстрѣчу. На нѣсколько минутъ, горизонтально освѣщая темноту въ

отдаленіи, показались два далеко разставленные другъ отъ друга маяка, два большихъ зловѣщихъ огня, висѣвшихъ гдѣ-то въ воздухѣ. Потомъ одинъ изъ нихъ сталъ опускаться и меркнуть, точно уходя въ землю, а второй какъ будто выросъ и загорѣлся ярче, кидая вправо отъ себя длинную бѣлесо-дымчатую полосу. Когда же она внезапно повернулась куда-то по направленію къ морю и потухла, только ночь и темнота остались съ нами. Казалось, что теперь уже надолго кончились обитаемыя мѣста. Снова куда-то мы свернули, и вѣтеръ сразу измѣнился, сталъ влажнѣе и прохладнѣе и еще безпокойнѣй заметался вокругъ насъ, играя, какъ крыльями, капюшономъ моего плаща. Она низко наклонила противъ вѣтра голову, потомъ повернулась ко мнѣ.

— А вѣдь правда!—сказала она вполголоса.—Куда мы ѣдемъ, и къ чему эта странная случайная ночь? Я даже мечтать разучилась о такихъ ночахъ, и что будетъ завтра, послѣ-завтра?.. Откуда ты и кто ты?—прибавила она, съ изумленной улыбкой раскрывая блестящія въ темнотѣ глаза.—Ты понимаешь, что я хочу сказать? Я какъ будто въ первый разъ вижу тебя и вмѣстѣ съ тѣмъ мнѣ такъ хорошо съ тобой, точно я во снѣ!

— Не надо думать!—отвѣтилъ я.—Я знаю только то, что все это нужно и мнѣ и тебѣ, и что я люблю тебя...

И я замолчалъ, полной грудью вдыхая вѣтеръ. И мнѣ все сильнѣе хотѣлось, чтобы все темное, слѣпое и непонятное, что было въ этой ночи, было еще непонятнѣе и смѣлѣе. Ночь, которая казалась въ городѣ обычной ненастной ночью, была здѣсь, въ полѣ, совсѣмъ иная. Въ ея темнотѣ и вѣтрѣ было теперь что-то большее и властное, и когда, наконецъ, послышался сквозь шорохъ бурьяновъ какой-то ровный однообразный шумъ вдали, мнѣ стало жутко и бѣшено-весело.

— Море?—спросила она.

— Море,—сказалъ я.—Это уже послѣднія дачи.

А въ поблѣднѣвшей темнотѣ, къ которой мы при-

глядѣлись, между тѣмъ, вырастали влѣво отъ насъ, огромные и угрюмые силуэты тополей въ дачныхъ садахъ спускавшихся къ морю. Шорохъ колесъ и топотъ копытъ по грязи, отдаваясь отъ садовыхъ оградъ, на мигу сталъ явственнѣе, но скоро ихъ заглушилъ приближающійся гулъ деревьевъ, въ которыхъ метался вѣтеръ, и шумъ моря. Промелькнуло нѣсколько наглухо забитыхъ вилъ въ садахъ, смутно бѣлѣвшихъ въ темнотѣ и казавшихся мертвыми... Потомъ тополи разступились, и внезапно въ пролетъ между ними пахнуло влажностью, — тѣмъ вѣтромъ, который прилетаетъ къ землѣ съ огромныхъ водяныхъ пространствъ и кажется ихъ свѣжимъ дыханіемъ...

— Остановись,—сказалъ я, трогая за рукавъ кучера.

Она взглянула на меня.

— Приѣхали?—спросила она удивленно.

— Да,—отвѣтилъ я, беря ея руку.

Лошади остановились.

И тотчасъ же ровный и величавый ропотъ, въ которомъ чувствовалась огромная тяжесть воды, и безпорядочный гулъ деревьевъ въ безпокойно дремавшихъ садахъ стали слышнѣе, и мы быстро пошли по листьямъ и лужамъ, среди какой-то высокой аллеи къ обрывамъ...

IV.

Море гудѣло подъ ними необычно грозно. Оно какъ будто хотѣло выдѣлиться изъ всѣхъ шумовъ этой тревожной, сонной ночи. Огромное, теряющееся изъ глазъ въ пространствѣ, оно лежало глубоко внизу, далеко бѣлѣя сквозь сумракъ бѣгущими къ землѣ гривами пѣны. Все было дико и мощно въ немъ и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ величественно и прекрасно, что мы спѣшили къ нему, не разбирая дороги. Гораздо болѣе страшнѣе былъ безпорядочный гулъ старыхъ липъ и тополей за

оградой сада, мрачнымъ островомъ выраставшаго на скалистомъ побережьи. Чувствовалось, что въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ властно царить теперь ночь поздней осени, и старый большой садъ, забитый на зиму домъ и раскрытыя бесѣдки по угламъ ограды производили жуткое впечатлѣніе своей заброшенностью. Одно море гудѣло ровно, побѣдно и, казалось, все величавѣе въ сознаніи своей силы. Влажный вѣтеръ валилъ съ ногъ на обрывѣ, и остановясь надъ нимъ, мы долго не въ состояніи были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свѣжестью. Потомъ, прижимаясь другъ къ другу, скользя по мокрымъ глинистымъ тропинкамъ и остаткамъ деревянныхъ лѣстницъ, мы поспѣшно и неловко стали спускаться внизъ, къ сверкающему пѣной прибою.

— Не упади!—крикнулъ я на послѣднемъ обрывѣ, протягивая къ ней обѣ руки.

Она покорно отдалась въ нихъ, и это былъ послѣдній моментъ нашего смущенія другъ передъ другомъ. Ставъ на гравій, мы тотчасъ же отскочили въ сторону отъ волны разбившейся о камни, и, переглянувшись, засмѣялись.

— Посмотри скорѣе вверхъ,—сказала она.

Я взглянулъ на обрывъ,—тамъ высились и гудѣли черные тополи, а подъ нами, какъ бы въ отвѣтъ имъ, жаднымъ и бѣшенымъ прибоемъ играло море. Высокія, долетающія до насъ волны съ грохотомъ пушечныхъ выстрѣловъ рушились на берегъ, крутились и сверкали цѣлыми водопадами снѣжной пѣны, рыли песокъ и камни и, убѣгая назадъ, увлекали спутанные водоросли, иль и гравій, который гремѣлъ и скрежеталъ въ ихъ влажномъ шумѣ. И весь воздухъ былъ полонъ тонкой, плохладной пылью, все вокругъ дышало вольной свѣжестью моря. Темнота блѣднѣла все болѣе, море уже ясно видно было на далекое пространство.

— И мы одни!—сказала она, закрывая глаза отъ вѣтра и какъ бы дополняя словами все, что окружало насъ.

V.

Мы были одни. Обнимая ее, я цѣловаль ея губы, упиваясь ихъ нѣжностью и влажностью, цѣловаль глаза, которые она подставляла мнѣ, прикрывая ихъ съ улыбкой, цѣловаль похолодѣвшее отъ морского вѣтра лицо, а когда она сѣла на камень, сталъ передъ нею на колѣни, обезсиленный своей радостью.

— А завтра?—говорила она надъ моею головою.

И я поднималъ голову и смотрѣлъ ей въ лицо. За мною жадно бушевало море, надъ нами высились и гудѣли тополи...

— Что завтра? — повторилъ я ея вопросъ и почувствовалъ, какъ у меня дрогнулъ голосъ отъ слезъ непобѣдимаго счастья.—Что завтра?—сказалъ я, смѣясь, и поцѣловаль ея грудь сквозь одежду. — Я, который упивается близостью къ тебѣ, къ твоей красотѣ и молодости, кому ты всѣмъ существомъ своимъ говоришь: я твоя, ты достоинъ меня,—что я могу сказать тебѣ?

Она долго не отвѣчала мнѣ, потомъ протянула мнѣ руку, и я сталъ снимать перчатку, цѣлуя и руку, и перчатку и наслаждаясь ихъ тонкимъ, женственнымъ запахомъ.

— Да!—сказала она медленно, и я близко видѣлъ въ звѣздномъ свѣтѣ ея блѣдное и счастливое лицо.—Какъ все это похоже на сонъ, на мечты, какъ горько мнѣ почему-то и въ то же время какъ необычно хорошо! Когда я была дѣвушкой, я безъ конца мечтала о счастья, но все оказалось такъ скучно и обыденно, что теперь эта, можетъ быть, единственная счастливая ночь въ моей жизни кажется мнѣ не похожей на дѣйствительность и преступной. Завтра все это покажется еще болѣе сномъ, завтра я сама съ ужасомъ вспомню эту ночь, но теперь мнѣ все равно... Я люблю тебя,—говорила она нѣжно, тихо и вдумчиво, какъ бы говоря

только для самой себя, и медленно перебирала мои волосы.

Говорила ли она именно такъ, и было ли въ дѣйствительности все то, что воспоминается мнѣ? Я не знаю этого, да и нужна ли людямъ только правда и правда?

Рѣдкія, голубоватыя звѣзды мелькали между тучами надъ нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывахъ чернѣли рѣзче, и море все болѣе отдѣлялось отъ далекихъ горизонтовъ. Была ли она лучше другихъ, которыхъ я любилъ, или нѣтъ, я тоже не знаю, но въ эту ночь она была несравненной. И когда я цѣловалъ атласъ платя на ея колѣняхъ, а она въ отвѣтъ на мои безконечныя признанія и планы на будущее тихо смѣялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрѣлъ на нее съ восторгомъ безумія, и въ тонкомъ звѣздномъ свѣтѣ ея блѣдное, счастливое и усталое лицо казалось мнѣ прекраснымъ, какъ у безсмертной.

ТУМАНЪ.

Вторыя сутки мы были въ морѣ, но плыли всего около сутокъ. На разсвѣтъ первой ночи, когда пароходъ уже далеко держался отъ суши, мы встрѣтили то, что можно было предвидѣть: теплый, густой туманъ, который закрылъ горизонты, задымилъ мачты и медленно возрасталъ вокругъ насъ, сливаясь съ сѣрымъ моремъ и сѣрымъ небомъ. Была зима, но всѣ послѣдніе дни стояла рѣдкая даже для юга оттепель. На Кавказскихъ горахъ таяли снѣга, а море дышало обильными предвесенними испареніями. И вотъ раннимъ сумрачнымъ утромъ машина нашего парохода внезапно затихла, а пассажиры, разбуженные этой неожиданной остановкой, гремучими свистками и топотомъ ногъ по палубѣ,—полусонные, озябшіе и встревоженные,—одинъ за другимъ стали появляться у рубки. Шелъ безпорядочный споръ и говоръ, никто не понималъ, въ чемъ дѣло, а сѣрыя космы тумана, какъ живыя, медленно ползли по пароходу.

Помню, что вначалѣ это сильно беспокоило. Колоколь почти непрерывно звонилъ на бакѣ, изъ трубы съ тяжкимъ хрипомъ вырывался угрожающій ревъ, а пассажиры кучками стояли на палубѣ и тревожно смотрѣли на растущій туманъ. Онъ вытягивался, изгибался, плылъ дымомъ и порою такъ густо окутывалъ пароходъ, что мы казались другъ другу призраками, фантастично дви-

гающимися въ сѣрой мглѣ. Похоже было на хмурые осеннія сумерки, въ которыхъ непріятно дрогнешь отъ сырости и чувствуешь, какъ зеленѣетъ лицо. Потомъ туманъ сдѣлался немного свѣтлѣй, ровнѣй и, значитъ, безнадежнѣе. Пароходъ снова шелъ, по такъ робко и сдержано, что дрожь отъ работающей машины была почти беззвучна. Не переставая звонить, онъ направлялся теперь все дальше отъ берега къ югу, гдѣ непроницаемая густота тумана наливалась уже настоящими сумерками,—тоскливой мутой аспиднаго цвѣта, за которой въ двухъ шагахъ чудился копецъ свѣта, жуткая пустыня пространства. И по мѣрѣ того, какъ темнѣло, погода становилась все хуже. Съ рей, съ навѣсовъ и снастей капала вода. Мокрая угольная пыль, летѣвшая изъ трубы, чернымъ дождемъ сыпалась сейчасъ же возлѣ нея. Хотѣлось хоть что-нибудь разсмотрѣть въ пенастой дали, но туманъ окутывалъ, какъ сонъ, притуплялъ слухъ и зрѣніе: пароходъ съ рубки былъ похожъ на воздушный корабль, передъ глазами была сѣрая муть, на рѣсницахъ—холодная паутина, и матросъ, который курилъ невдалекѣ отъ меня, обсасывая мокрые соленые усы, казался мнѣ порою такимъ, точно я видѣлъ его во снѣ... Наконецъ, пароходъ снова остановился.

Вспыхнуло сквозь туманъ живымъ глазкомъ электричество въ фонарѣ на мачтѣ, черными клубами величаво повалилъ дымъ изъ жерла тяжелой и приземистой трубы и сейчасъ же повисъ гигантскою змѣею въ воздухѣ. Колоколь безъ смысла и однообразно звонилъ на носу, а гдѣ-то мрачнымъ и тоскливымъ голосомъ простопала „сирена“... можетъ быть, и не существующая, а созданная напряженнымъ слухомъ, которому всегда чудится что-нибудь въ таинственной безбрежности тумана... Туманъ между тѣмъ темнѣлъ все угрюмѣе. Вверху онъ сливался съ сумракомъ неба, внизу бродилъ вокругъ парохода, едва касаясь воды, которая слабо плес-

калась въ пароходные бока. Наступала долгая зимняя ночь,—темная ночь въ безграничномъ морѣ, потонувшемъ въ туманахъ.

Тогда, чтобы вознаграждать себя за тоскливый день, истомившій всѣхъ предчувствіемъ бѣды, пассажиры вмѣстѣ съ пароходнымъ начальствомъ устроили ужинъ. Вокругъ парохода была уже непроглядная ночь, а внутри его, въ нашемъ маленькомъ міркѣ, было свѣтло, шумно и людно. Въ каютъ-компаніи играли въ карты, пили чай, изъ кухни пахло кушаньями, лакеи бѣгали изъ буфета въ буфетъ, хлопая пробками. Я лежалъ въ своемъ помѣщеніи подъ каютъ-компаніей и долго слушалъ топотъ ногъ, раздававшійся надъ головою. Когда же заиграли манерно-печальный модный вальсъ на піанино, мнѣ стало грустно и хорошо въ одно и то же время, и захотѣлось на люди. Я одѣлся и вышелъ къ ужину.

Должно быть, мнѣ было весело въ тотъ вечеръ. По крайней мѣрѣ, мнѣ казалось такъ, и было пріятно, что вечеръ прошелъ незамѣтно. Всѣ забыли про туманъ и опасности, всѣ танцовали и пѣли, всѣ ходили съ сіяющими глазами. Потомъ долго и шумно ужинали... Потомъ устали и захотѣли спать... И большая, но душная и жаркая каютъ-компанія, въ которой уже болѣзненно-ярко блестѣли огни, наконецъ, опустѣла. А когда я взглянулъ туда черезъ полчаса, то тамъ былъ уже полный мракъ, какъ почти и всюду на пароходѣ. Сверху доносился иногда звонъ колокола и былъ очень странный въ наступившей тишинѣ. Потомъ и онъ сталъ слышенъ все рѣже и рѣже... И все точно вымерло вокругъ меня.

Чувствуя, что часъ сна уже пропущенъ, я прошелся вниз по корридорамъ парохода, посидѣлъ въ рубкѣ, прислонясь къ холодной мраморной стѣнѣ... Вдругъ и въ ней погасло электричество, а я сразу точно ослѣпъ. Внутренно напѣвая то, что пѣли и играли въ этотъ

вечеръ, я оцупью добрался до трапа, поднялся по немъ на нѣсколько ступеней къ верхней палубѣ—и остановился, пораженный красотою и печалью, лунной ночи.

О, какая странная была эта ночь! Ничего подобнаго я не видалъ прежде. Былъ уже очень поздній,—можетъ быть, предразсвѣтный часъ. Пока мы пѣли, ужинали, говорили другъ другу вздоръ и смѣялись, здѣсь, въ этомъ совершенно чуждомъ намъ мірѣ неба, тумана и моря, взошла кроткая, одинокая и всегда печальная луна, и воцарилась глубокая полночь... совершенно такъ же, какъ, вѣроятно, пять, десять тысячъ лѣтъ тому назадъ... Туманъ тѣсно стоялъ сумрачными стѣнами, и было жутко глядѣть во мракъ, таящійся въ немъ, но среди этого тумана, озаряя круглую прогалину для парохода, вставало нѣчто, подобное свѣтлому мистическому видѣнію: желтый мѣсяцъ поздней ночи, опускаясь на югъ, замеръ на блѣдной и прозрачной завѣсѣ тумана и, какъ живой, глядѣлъ изъ огромнаго, широко-раскинутаго кольца. И что-то апокалипсическое было въ этомъ кругѣ... что-то неземное, полное молчаливой тайны, стояло въ гробовой тишинѣ,—во всей этой ночи, въ пароходѣ и въ мѣсяцѣ, который удивительно близокъ былъ на этотъ разъ къ землѣ и прямо смотрѣлъ мнѣ въ лицо съ грустнымъ и безстрастнымъ выраженіемъ.

Медленно поднялся я на послѣднія ступеньки трапа и прислонился къ его периламъ. Подо мной былъ весь пароходъ. По выпуклымъ деревяннымъ мосткамъ и палубамъ тускло блестѣли кое-гдѣ продольныя полоски воды,—слѣды уходящаго тумана. Отъ перилъ, канатовъ и скамеекъ, какъ паутина, падали легкія дымчатая тѣни. Въ срединѣ парохода, въ трубѣ и машинѣ, чувствовалась колоссальная и надежная тяжесть, въ мачтахъ—высота и зыбкость. Но весь пароходъ все-таки представлялся легко и стройно выросшимъ кораблемъ-призвѣніемъ, оцѣпенѣвшимъ на этой тѣсной и блѣдно-освѣщенной, сонной прогалинѣ среди тумана. Вода низко

и плоско лежала передъ правымъ бортомъ. Тайнственно и совершенно беззвучно колеблясь, она уходила въ легкую дымку подъ мѣсяцъ и поблескивала въ ней, словно тамъ появлялись и исчезали золотыя змѣйки. Впрочемъ, блескъ этотъ терялся въ двадцати шагахъ отъ меня,—дальше онъ мерцалъ уже чуть видно, какъ мертвый глазъ. А когда я смотрѣлъ кверху, мнѣ опять чудилось, что этотъ мѣсяцъ—блѣдный образъ какого то мистическаго видѣнія, что эта тишина—тайна, часть того, что за предѣлами познаваемого...

Внезапно зазвонили на бакѣ въ колоколъ. Звуки уныло побѣждали одинъ за другимъ, нарушая молчаніе ночи, и тотчасъ же, какъ будто въ отвѣтъ имъ, послышался гдѣ-то впереди смутный шумъ и ропотъ, равномерно возрастающій все шире и сердитѣе. Мгновенно предчувствіе опасности заставило меня впиться глазами въ сумрачный туманъ направо, гдѣ ухо уловило тяжелый ропотъ, и вдругъ кровавый сигнальный огонь, похожій на крупный рубинъ, выросъ изъ тумана и сталъ быстро приближаться къ намъ. Подъ нимъ мутно-золотыми пятнами расплывались и шли длинной цѣпью освѣщенные окна, а въ шумѣ колесъ, который былъ похожъ сперва на приближающійся шумъ каскада, уже выдѣлялись звуки быстро вертящихся лопастей, и можно было различить, какъ шипитъ и сыплется вода. Вахтенный на нашемъ пароходѣ съ поспѣшностью очнувшись отъ сна человѣка машинально и нескладно забилъ въ колоколъ, а затѣмъ тяжело захрипѣла труба, и какъ изъ открытаго клапана, изъ нея съ трудомъ пробился широкій и мрачный гулъ, потрясающій весь остовъ парохода. Изъ тумана раздался тогда отвѣтный голосъ, похожій на гулкій крикъ паровоза, но онъ быстро затерялся въ туманѣ, а за нимъ медленно сталъ таять и шумъ колесъ, и красный сигнальный огонь. Въ этомъ крикѣ и шумѣ чувствовалось что-то задорное и суетное,—вѣрно, и капитанъ встрѣчнаго парохода былъ молодъ и дер-

зокъ,—но, помню, все это не произвело на меня тогда никакого впечатлѣнія. Мы стоимъ, онъ идетъ, очертя голову, но что значить эта суетная смѣлость передъ лицомъ такой ночи,—смѣлость маленькая и будничная, рожденная не вдохновеніемъ, а безсоднательностью поступковъ! И, какъ сновидѣніе, промелькнулъ этотъ встрѣчный пароходикъ, и, какъ сновидѣніе, скрылся въ туманѣ. И опять наступила полная тишина, и опять воцарилось во всей своей красотѣ мертвое молчаніе.

„Гдѣ мы?“ — пришло мнѣ въ голову. Вахтенные, вѣроятно, уже снова дремлютъ, пассажиры спятъ непробуднымъ сномъ,—туманъ сбилъ меня съ толку... Я даже приблизительно не знаю, гдѣ мы, потому что въ этихъ мѣстахъ на Черномъ морѣ я никогда не бывалъ... Но не все ли равно? Я не понимаю молчаливыхъ тайнъ этой ночи, но вѣдь я и вообще ничего не понимаю въ жизни. Я оглядывался кругомъ, чего-то ждалъ и во что-то хотѣлъ вдуматься, но чувствовалъ только одно—что я совершенно одинокъ и что я не знаю, гдѣ я и зачѣмъ существую. И зачѣмъ эта странная ночь, и зачѣмъ стоитъ этотъ сонный корабль въ сонномъ морѣ? А главное — зачѣмъ все это не просто, а полно какого-то глубокого и таинственного значенія? Кажется, что если бы кто-нибудь нечаянно натолкнулся теперь на нашъ пароходъ, — онъ невольно перекрестился бы на него...

А потомъ уже ничто не удивляло меня. Околдованный тишиной ночи, тишиной, подобной которой никогда не бываетъ на землѣ, я отдался въ ея полную власть. На мгновение мнѣ почудилось, что въ невыразимой дали гдѣ-то прокричалъ пѣтухъ... Я усмѣхнулся. „Этого не можетъ быть“, — подумалъ я почти съ удовольствіемъ, и все, чѣмъ я жилъ когда-то, показалось мнѣ такимъ маленькимъ и жалкимъ! Если бы въ этотъ часъ выплыла на мѣсяцъ наяда, — я нисколько не удивился бы... Не

удивился бы также, если бы кто-нибудь въ бѣлой одеждѣ тихо показался вдали, идя по водѣ къ пароходу, или если бы утопленница вышла изъ воды и, блѣдная отъ мѣсяца, сѣла въ лодку, спущенную около оконъ пассажирскихъ каютъ... Теперь мѣсяцъ смотритъ прямо въ эти круглыя окошечки и озаряетъ угасающимъ свѣтомъ спящихъ, а они лежатъ, какъ мертвые... „Не разбудить ли кого-нибудь? Но нѣтъ,—зачѣмъ? — отвѣтилъ я самъ себѣ, — мнѣ никто не нуженъ теперь, и я никому не нуженъ, и всѣ мы чужды другъ другу“.

И невыразимое спокойствіе великой и безнадежной печали овладѣло мною. Проходили минуты за минутами, а я все сидѣлъ, не двигаясь, и казалось, конца не будетъ этой ночи. Думалъ я о томъ, что всегда влекло меня къ себѣ,—о всѣхъ жившихъ на этой землѣ, о людяхъ древности, которыхъ всѣхъ видѣлъ этотъ мѣсяцъ, и которые, вѣрно, казались ему всегда настолько маленькими и похожими другъ на друга, что онъ даже не замѣчалъ ихъ исчезновенія съ земли. Но теперь и они были чужды мнѣ: я не испытывалъ моего постоянного и страстного стремленія пережить всѣ ихъ жизни,—слиться со всѣми, которые когда-то жили, любили, страдали, радовались и прошли и безслѣдно скрылись во тьмѣ временъ и вѣковъ. Одно я зналъ безъ всякихъ колебаній и сомнѣній,—это то, что есть что-то высшее даже по сравненію съ глубочайшею землею древностью... можетъ быть, та апокалипсическая тайна, которая молчаливо хранилась въ ночи, и которую знаютъ только туманы... И впервые мнѣ пришло въ голову, что, можетъ быть, именно то великое, что обыкновенно называютъ *смертью*, заглянуло мнѣ въ эту ночь въ лицо, и что я впервые встрѣтилъ ее спокойно и понялъ такъ, какъ должно человѣку...

Впрочемъ, утромъ, когда я открылъ глаза и почувствовалъ, что пароходъ идетъ полнымъ ходомъ, и что въ открытый люкъ тянетъ теплый, легкій вѣтерокъ съ

крымскихъ прибрежій, я вскочилъ съ койки, снова полный безсознательной радости жизни. Я быстро умылся и одѣлся и, такъ какъ по корридорамъ парохода громко звонили, сзывая къ завтраку, распахнулъ дверь каюты и, весело стуча ярко-вычищенными сапогами по трапу, побѣжалъ наверхъ. Улыбаясь, я сидѣлъ потомъ на верхней палубѣ и, прикрывая глаза, чувствовалъ къ кому-то дѣтскую благодарность за все, что должны переживать мы. И ночь, и туманъ, казалось мнѣ, были только затѣмъ, чтобы я еще болѣе любилъ и цѣнилъ утро. А утро было ласковое и солнечное,—ясное бирюзовое небо крымской весны сіяло надъ пароходомъ, и вода легко и весело бѣжала и плескалась вдоль его бортовъ.

БАЙБАКИ.

I.

Темнѣть, и къ ночи поднимается вьюга...

Завтра Рождество, большой веселый праздникъ, и отъ этого еще грустнѣе кажутся непогожія сумерки, безконечная глухая дорога и пустынное поле, утопающее во мглѣ поземки. Небо все ниже нависаетъ надъ нимъ; слабо брезжитъ синевато-свинцовый свѣтъ угасающаго дня, и въ туманной дали уже начинаютъ появляться тѣ блѣдныя, неуловимыя огоньки, которые всегда мелькаютъ предъ напряженными глазами путника въ зимнія степныя ночи...

Кромѣ этихъ зловѣщихъ, таинственныхъ огоньковъ, уже въ полуверстѣ ничего не видно впереди. Хорошо еще, что морозно, и вѣтеръ легко сдуваетъ съ дороги жесткій снѣгъ. Но за то онъ бьетъ имъ въ лицо, засыпаетъ съ шипѣньемъ придорожныя дубовыя вѣшки, отрываетъ и уноситъ въ дыму поземки ихъ почернѣвшіе, сухіе листья, и, глядя на нихъ, чувствуешь себя затеряннымъ гдѣ-то въ пустынѣ, среди вѣчныхъ сѣверныхъ сумерекъ...

Въ полѣ, далеко отъ большихъ проѣзжихъ путей, далеко отъ большихъ городовъ и желѣзныхъ дорогъ, стоитъ хуторъ. Даже деревушка, которая когда-то была возлѣ самаго хутора, уже лѣтъ тридцать гнѣздится верстахъ въ пяти отъ него, такъ что ея не видно изъ

хуторской усадьбы. Хуторъ этотъ господа Баскаковы много лѣтъ тому назадъ наименовали Лучезаровкой, а деревушку—Лучезаровскими Двориками.

„Лучезаровка“! Какой ироніей звучитъ теперь это названіе! Шумитъ, какъ море, вѣтеръ вокругъ нея, и на дворѣ по высокимъ бѣлымъ сугробамъ, какъ по могильнымъ холмамъ, исподтишка курится поземка. Эти сугробы окружены далеко другъ отъ друга разбросанными постройками: маленькимъ господскимъ флигелемъ, „кадетнымъ“ сараемъ и „людской“ избой. Всѣ постройки на старинный ладъ,—низкія и длинныя. Флигель обить тесомъ; передній фасадъ его глядитъ во дворъ только тремя маленькими окнами; крыльца—съ навѣсами на столбахъ; большая соломенная крыша почернѣла отъ времени. Была такая же и на людской избѣ, но теперь остался только скелетъ этой крыши, и узкая кирпичная труба возвышается надъ нимъ, какъ длинная шея...

И кажется, что усадьба вымерла: никакихъ признаковъ человѣческаго жилья, кромѣ начатого омета соломой возлѣ сарая, ни одного слѣда на дворѣ, ни одного звука людской рѣчи! Все забито снѣгомъ, все спитъ безжизненнымъ сномъ подъ напѣвы степного вѣтра. Угрюмо чернѣютъ среди зимнихъ полей безмолвныя постройки. Волки бродятъ по ночамъ около дома, приходятъ изъ луговъ по саду къ самому балкону.

Когда-то... Впрочемъ, кто не знаетъ, что было когда-то въ Лучезаровкахъ, и какъ превратились помѣщичьи гнѣзда въ „тырла“? Превратилась въ „тырло“ и Баскаковская Лучезаровка, и вотъ при ней числится уже всего-на-всего двадцать восемь десятинъ распахной и четыре десятины усадебной земли. Бывшій владѣлецъ Лучезаровки, племянникъ Якова Петровича Баскакова, хозяйствовалъ сперва на трехстахъ десятинахъ. Когда же изъ нихъ осталось только двадцать восемь, онъ продалъ Лучезаровку Якову Петровичу, а самъ переселился въ городъ. Ему тридцать пять лѣтъ, и онъ еще надѣется

что будетъ счастливѣе въ городѣ, чѣмъ среди родныхъ полей.

Въ городѣ давно переселилась и семья Якова Петровича. Глафира Яковлевна замужемъ за землемѣромъ, и почти круглый годъ живетъ у нея и Софья Павловна. Но Яковъ Петровичъ — старый степнякъ. Онъ на своемъ вѣку прогулялъ нѣсколько имѣній, но съ остатками отъ нихъ не пожелалъ переселяться въ городъ и кончать тамъ „последнюю треть жизни“, какъ онъ выражался о человѣческой старости. Онъ остался въ Лучезаровкѣ. При немъ живетъ его бывшая крѣпостная, горючая и крѣпкая старуха Лукерья; она нянчила всѣхъ дѣтей Якова Петровича и навсегда осталась при баскаковскомъ домѣ. Но, кромѣ нея, Яковъ Петровичъ держитъ работника, замѣняющаго кухарку: кухарки не живутъ въ Лучезаровкѣ больше двухъ-трехъ недѣль.

— Тотъ-то у него будетъ жить! — говорятъ онѣ. — Тамъ отъ одной тоски сердце изнаетъ!

Поэтому-то и замѣняютъ ихъ Судаки, мужики изъ Лучезаровскихъ Двориковъ. Онъ человѣкъ лѣнивый и неуживчивый, но на Лучезаровскомъ хуторѣ ужился. Водитъ воду съ пруда, топить печи, варить „хлебово“, мѣсить рѣзку бѣлому мерину и курить по вечерамъ съ бариномъ махорку — въ этомъ заключались всѣ обязанности Мотьки, котораго на деревнѣ звали за его безцвѣтные глаза Судакомъ.

Землю Яковъ Петровичъ почти всю сдавалъ мужикамъ, домашнее хозяйство его было чрезвычайно не сложно, и поэтому тихо было въ Лучезаровкѣ! Прежде, когда въ усадьбѣ стояли амбары, скотный дворъ и рига, усадьба еще походила на человѣческое жилье. Но на что нужны амбары, риги и скотные дворы при двадцати восьми десятинахъ, заложенныхъ въ банкѣ за 2.060 рублей? Благоразумнѣе было ихъ продать и хоть нѣкоторое время пожить на нихъ веселѣе, чѣмъ обыкновенно. И Яковъ Петровичъ продалъ сперва ригу,

потомъ амбары, а когда употребилъ на топку весь верхъ со скотнаго двора, продалъ и каменные стѣны его. И неуютно стало въ Лучезаровкѣ! Жутко было бы среди этого разореннаго гнѣзда даже Якову Петровичу, такъ какъ отъ голода и отъ холода Лукерья имѣла обыкновеніе почти на всѣ большіе зимніе праздники уѣзжать на село къ племяннику, сапожнику, но къ зимѣ Якова Петровича выручалъ его другой, болѣе вѣрный другъ.

— Селямъ алекюмъ!—раздавался старческій веселый голосъ въ какой-нибудь хмурый осенній день въ „дѣвичьей“ Лучезаровскаго флигеля.

Какъ оживлялся при этомъ, знакомясь съ самой крымской кампаніи, татарскомъ привѣтствіи Яковъ Петровичъ! У порога дѣвичьей почтительно стоялъ и, улыбаясь, раскланивался съ нимъ маленькій, сѣдой чело-вѣкъ, уже разбитый, хилый, но всегда веселый, какъ всѣ бывшіе дворовые люди. Это прежній денщикъ и старинный другъ Якова Петровича, Гервасій Тимофеевичъ Ковалевъ. Сорокъ лѣтъ прошло со времени крымской кампаніи, но каждый годъ онъ является передъ Яковымъ Петровичемъ и привѣтствуетъ его тѣми словами, которыя напоминаютъ имъ обоимъ Крымъ, охоты на фазановъ, ночевки въ татарскихъ сакляхъ...

— Алекюмъ селямъ!—весело восклицалъ и Яковъ Петровичъ.—Живъ?

— Да вѣдь севастопольскій герой-то,—отвѣчалъ Ковалевъ.

Яковъ Петровичъ съ улыбкой осматривалъ его: все такой же! Даже одежда та же: тулупъ, крытый солдатскимъ сукномъ, старенькая поддевичка, въ которой Ковалевъ казался сѣденькимъ мальчикомъ, поярковые валенки, которыми онъ такъ любилъ похвалиться, потому что они поярковые...

— Какъ васъ Богъ милуетъ?—продолжалъ онъ.

Яковъ Петровичъ осматривалъ и себя. И онъ все

такой же: плотная фигура, сѣдая, стриженная голова, сѣдые усы, добродушное, безпечное лицо съ маленькими глазами и „польскимъ“ бритымъ подбородкомъ эспаньолка...

— Байбакъ!—говорилъ онъ, наконецъ, про себя.— Ну, раздѣвайся, раздѣвайся! Гдѣ пропадалъ? Удиль, огородничалъ?

Ковалевъ съ тѣхъ поръ, какъ Яковъ Петровичъ обѣднѣлъ, ходитъ къ нему только на зиму. Лѣтомъ онъ огородничаетъ, занимается рыбной ловлей, гоститъ у богатыхъ помѣщиковъ, которые еще охотятся...

— Удиль, Яковъ Петровичъ,—отвѣчалъ онъ, снимая тулупъ.—Тамъ посуды половой водой унесло нынѣшній годъ—и не приведи Господи!

— Значить, опять въ блиндажахъ сидѣлъ?

— Въ блиндажахъ, въ блиндажахъ...

— А табакъ есть?

— Есть немного.

— Ну, садись, да давай завертывать.

— Какъ Софья Павловна?

— Въ городѣ. Я былъ у ней недавно, да удралъ скоро. Тутъ скука смертная, а тамъ еще хуже. Да и зятекъ мой любезный... Ты знаешь, какой человѣкъ... Ужаснѣйшій холопъ и интересанъ! Куски считаетъ...

— Изъ хама не сдѣлаешь пана, — соглашался Ковалевъ.

— Не сдѣлаешь, братъ... Ну, да чортъ съ нимъ!..

— Какъ ваша охота?

— Да все порѣху, дроби нѣту. На-дняхъ разжился, пошелъ, пришибъ одного косолобаго... Громадный русачина!

— Ихъ нынѣшій годъ страсть!

— Про то и толкъ-то. Завтра чѣмъ свѣтъ зальемся.

— Обязательно.

— Я тебѣ, ей-Богу, отъ всей души радъ!

Ковалевъ весело усмѣхался.

— А пашки цѣлы? — спрашивалъ онъ, свернувъ цыгарку и подавая Якову Петровичу.

— Цѣлы, цѣлы. Вотъ давай обѣдать и срѣжемся!

II.

Темнѣетъ. Наступаетъ предпраздничный вечеръ, но не весело встрѣчаетъ его Яковъ Петровичъ!

По мѣрѣ того, какъ на дворѣ разыгрывается метель, и все больше заноситъ снѣгомъ окошко, все холоднѣе и сумрачнѣе становится въ „дѣвичьей“ Баскаковского флигеля. Эта старинная комнатка съ низкимъ потолкомъ, съ бревенчатыми, черными отъ времени стѣнами и почти пустая: подъ окномъ длинная лавка, около лавки простой деревянный столъ, противъ стола, у стѣны, комодъ, въ верхнемъ ящикѣ котораго стоятъ тарелки. Дѣвичьей по справедливости она называлась уже давнымъ - давно, лѣтъ сорокъ - пятьдесятъ тому назадъ, когда тутъ еще сидѣли и плели, при свѣтѣ „каганца“, кружева дворовыя дѣвки. Теперь „дѣвичья“ превратилась въ одну изъ жилыхъ комнатъ самого Якова Петровича. Весь флигель состоитъ изъ пяти небольшихъ комнатъ: одна половина, окнами на дворъ — изъ „дѣвичьей“, „лакейской“ и кабинета среди нихъ; другая, окнами въ вишневый садъ — изъ гостиной и зала. Но зимой лакейская, гостиная и залъ не топятся, и тамъ пусто и такъ холодно, что въ залѣ насквозь промерзаетъ и ломберный столъ, и портретъ Николая I.

Теперь, въ этотъ непогожій предпраздничный вечеръ, въ „дѣвичьей“ особенно неуютно и скучно. Яковъ Петровичъ сидитъ на лавкѣ, поглаживаетъ подбородокъ и курить. Ковалевъ стоитъ у печки и, склонивъ голову, тоже курить. Оба въ шапкахъ, валенкахъ и шубахъ; баранье пальто Якова Петровича надѣто прямо на бѣлье и подпоясано полотенцемъ. Смутно виденъ въ сумракѣ тихо плавающей по комнатѣ синеватый дымокъ махорки.

Слышно, какъ дребезжать отъ вѣтра разбитыя стекла въ окнахъ гостиной. Метель бушуетъ кругомъ флигеля и часто прерываетъ разговоръ его обитателей: все кажется, что кто-то подѣхалъ.

— Постой!—вдругъ останавливаетъ Ковалева Яковъ Петровичъ.—Должно быть, это онъ.

Ковалевъ смолкаетъ. И ему почудился скрипъ саней у крыльца, чей-то голосъ, невнятно донесшійся сквозь шумъ метели.

— Поди-ка, посмотри,—должно быть, пріѣхалъ!

Но Ковалеву вовсе не хочется выбѣгать на морозъ, хотя и онъ съ большимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ возвращенія Судака изъ села съ покупками. Онъ прислушивается очень внимательно и рѣшительно возражаетъ:

— Нѣтъ, это вѣтеръ.

— Да что тебѣ, трудно посмотрѣть-то?

— Да что жъ смотрѣть, когда никого нѣту?

Яковъ Петровичъ вздергиваетъ плечами; онъ начинаетъ раздражаться...

Такъ было все хорошо складывалось... Пріѣзжалъ богатый мужикъ изъ Калиновки съ просьбой написать прошеніе къ земскому начальнику (Яковъ Петровичъ славится въ околоткѣ, какъ сочинитель прошеній) и привезъ за это курицу, бутылку водки и рубль денегъ... Правда, водка была выпита при самомъ сочиненіи и чтеніи прошенія, курица въ тотъ же день зарѣзана и съѣдена, но рубль остался цѣль,—Яковъ Петровичъ поберегъ его къ празднику... Потомъ вчера утромъ внезапно явился Ковалевъ и принесъ съ собой кренделей, полтора десятка яицъ, да еще 63 копейки денегъ. И старики были веселы и долго обсуждали, что купить къ празднику. Въ концѣ-концовъ, развели въ чашкѣ сажу изъ печки, заострили спичку и жирными крупными буквами написали такую записку въ село къ лавочнику:

„Въ харчевню Николай Иванова. Отпусти 1 ф. ма-

хорки полуотборной, 1.000 спичекъ, 5 сельдей маринованныхъ, 2 ф. масла коноплянаго, 2 осьмушки фруктоваго чаю, 1 ф. сахару и 1½ ф. жамокъ мятныхъ“.

Но Судака нѣтъ съ самаго утра. А это влечетъ за собой то, что предпраздничный вечеръ пройдетъ вовсе не такъ, какъ думалось, и, главное, придется самимъ идти за соломой въ ометъ: отъ вчерашняго дня соломы осталось въ сѣнцахъ очень немного. И Яковъ Петровичъ раздражается, и все начинаетъ рисоваться ему въ мрачныхъ краскахъ.

Мысли и воспоминанія идутъ въ голову самыя невеселыя... Вотъ ужъ около полугода онъ не видалъ ни племянника, ни жены, ни дочери... Помогаютъ они ему очень плохо... Подло съ нимъ, вообще, поступаютъ... И жить на хуторѣ становится съ каждымъ днемъ все хуже и скучнѣе...

— А, да чортъ ихъ побери совсѣмъ!—говоритъ Яковъ Петровичъ свою любимую фразу, которой онъ всегда успокаивалъ себя въ плохихъ обстоятельствахъ.

Но сегодня это не успокаиваетъ...

— Ну, и холода же завернули!—говоритъ Ковалевъ.

— Ужаснѣйшій холодъ!—подхватываетъ Яковъ Петровичъ.—Вѣдь тутъ хоть волковъ морозъ! Смотри... Хх! Паръ отъ дыханія видно!

— Да,—продолжаетъ Ковалевъ монотонно.—А вѣдь, помните, мы подъ новый годъ когда-то цвѣточки рвали въ однихъ мундирчикахъ! Подъ Балаклавой-то...

И опускаетъ голову.

— А онъ, видимое дѣло, не пріѣдетъ,—говоритъ Яковъ Петровичъ, не слушая.—Мы въ дурацкой ажитации, ни больше, ни меньше!

— Не почевать же онъ останется въ харчевнѣ!

-- А ты что думаешь? Ему очень нужно!

-- Положимъ, здорово мететь...

— Ничего тамъ не мететь. Обыкновенно, не лѣто...

— Да вѣдь трусь государственный! Замерзнуть боится...

— Да какъ же это замерзнуть? День, дорога знакомая... Только вѣдь эти хамы на зло готовы нашему брату всегда нагадить!

— Пойдите!—перебиваетъ Ковалевъ.—Кажется, подѣхалъ...

— Я говорю тебѣ, выйди, посмотри! Ты, ей-Богу, совсемъ отетеревѣлъ нынче! Надо же самоваръ ставить и соломы надергать.

— Да вѣдь, конечно, надо. А то что жъ тамъ сидѣлаешь ночью?

Ковалевъ соглашается, что идти за соломой необходимо, но ограничивается приготовленіями къ топкѣ: онъ подставляетъ къ печкѣ стулъ, влѣзаетъ на него, отворяетъ заслонку и вынимаетъ вьюшки. Въ трубѣ начинается завывать на разные голоса вѣтеръ.

— Впусти хоть собаку-то!—говоритъ Яковъ Петровичъ.

— Какую собаку?—спрашиваетъ Ковалевъ, кряхтя и слѣзая со стула.

— Да что ты дуракомъ-то прикидываешься? Флембо, конечно,—слышишь, визжитъ.

Дѣйствительно, Флембо, старая сука изъ породы серовъ, жалобно повизгиваетъ въ сѣнцахъ.

— Надо Бога имѣть!—прибавляетъ Яковъ Петровичъ.—Вѣдь она замерзнетъ... А еще охотникъ! Лодырь ты, братъ, какъ я погляжу! Ужъ правда, байбакъ.

— Да оно и вы-то, должно быть, изъ той же породы,—улыбается Ковалевъ, отворяетъ дверь въ сѣнцы и выпускаетъ въ „дѣвичью“ Флембо.

— Затворяй, затворяй, пожалуйста!—кричитъ Яковъ Петровичъ.—Такъ и понесло по ногамъ холодомъ... Кушъ тутъ!—грозно обращается онъ къ Флембо, указывая пальцемъ подъ лавку.

Ковалевъ же, прихлопывая дверь, бормочетъ:

— Тамъ несеть—свѣту Божьяго не видно!.. А, должно быть, скоро насъ потащутъ въ Богословское! Вотъ-вотъ о. Василій припожалуетъ за нами. Я ужъ вижу. Все мы ссоримся. Это передъ смертью.

— Ну, ужъ это обрекай себя одного, пожалуйста,—возражаетъ Яковъ Петровичъ задумчиво.

И опять выражаетъ свои мысли вслухъ:

— Нѣтъ, я ужъ больше не буду сидѣть въ этомъ тырлѣ сторожемъ! Кажется, скоро-скоро затрещить эта проклятая Лучезаровка...

Онъ развертываетъ кисеть, насыпаетъ цыгарку махоркой и продолжаетъ:

— Дошло до того, что завяжи глаза да бѣги со двора долой! А все моя довѣрчивость дурацкая, друзья-пріятели! Я всю жизнь былъ честенъ, какъ булатъ, я никому ни въ чемъ не отказывалъ... А теперь что прикажете мнѣ дѣлать? На мосту съ чашкой стоять? Пулю въ лобъ пустить? „Жизнь игрока“ разыграть? Вонъ у одного Арсентія Михалыча тысяча десятинокъ, да развѣ у нихъ есть догадочка помочь старику? А ужъ самъ я по чужимъ людямъ не пойду кланяться! Я самолюбивъ, какъ порохъ!..

И, окончательно раздраженный, Яковъ Петровичъ всѣмъ зло прибавляетъ:

— Однако, телиться-то нечего, надо за соломой отправляться!

Ковалевъ еще больше сгорбливается и запускаетъ руки въ рукава тулупа. Ему такъ холодно, что у него стынетъ кончикъ носа, но онъ все еще надѣется, что какъ-нибудь „обойдется“... можетъ быть, Судакъ подѣдетъ... Онъ отлично понимаетъ, что Яковъ Петровичъ ему одному предлагаетъ отправляться за соломой.

— Да вѣдь телиться!..—говоритъ онъ.—Вѣтеръ-то съ ногъ сшибаетъ...

— Ну, барствовать теперь намъ некогда!

— Побарствуешь, когда поясницу не разогнешь. Не

молоденькіе тоже! Слава Богу, двумъ-то намъ подѣ сорокъ будетъ.

— Ужъ, пожалуйста, не прикидывайся **моральнымъ** бараномъ!

Яковъ Петровичъ тоже отлично понимаетъ, что одинъ Ковалевъ ничего не подѣлаетъ въ занесенномъ снѣгомъ ометѣ. Но онъ споконъ вѣку врагъ всякой логики и тоже надѣется, что „какъ-нибудь обойдется“ безъ него.

Между тѣмъ въ „дѣвичьей“ становится уже совсѣмъ темно, и Ковалевъ, наконецъ, рѣшается посмотрѣть, не ѣдетъ ли Судакъ. Шаркая своими разбитыми ногами, онъ идетъ къ двери...

Яковъ Петровичъ неподвижно сидитъ, поджавъ подѣ себя одну ногу, пускаетъ черезъ усы дымъ, и такъ какъ ему уже очень хочется чаю, то мысли его принимаютъ нѣсколько иное направленіе.

— Гм!—бормочетъ онъ.—Какъ вамъ это покажется? Хорошо встрѣчаютъ праздничекъ помѣщики! Лопать, какъ собакѣ, хочется. Вѣдь неѣдалаго царства нѣту... Прежде хотѣ венгерцы ѣздили!.. Ну, погоди же, Судакъ проклятый!

Двери въ сѣнцахъ хлопаютъ, вбѣгаетъ Ковалевъ.

— Нѣту! — восклицаетъ онъ. — Какъ провалился! Что жъ теперь дѣлать? Въ сѣнцахъ соломы чутъ!..

Въ снѣгу, въ тяжеломъ тулупѣ, маленькій и сгорбленный, онъ такъ жалокъ и безпомощенъ!

Яковъ Петровичъ вдругъ подымается.

— А вотъ я знаю, что дѣлать!—говоритъ онъ, оскѣненный какой-то хорошей мыслью,—наклоняется и достаетъ изъ-подъ лавки топоръ.

— Эта задача очень просто разрѣшается, — прибавляетъ онъ, опрокидывая стулъ, стоявшій около стола, и взмахиваетъ топоромъ.—Таскай пока солому-то! Чортъ его побереи совсѣмъ, мнѣ свое здоровье дороже, чѣмъ какое-нибудь стуло!

Ковалевъ, тоже сразу оживившійся (дѣло знакомое!), съ любопытствомъ смотритъ, какъ летятъ щепки изъ-подъ топора.

— Вѣдь тамъ, небось, еще на потолокъ много?—подхватываетъ онъ.

— Валяй на чердакъ да самоваръ встрясай!

Въ растворенную дверь несетъ холодомъ, пахнетъ снѣгомъ... Ковалевъ, спотыкаясь, таскаетъ въ „дѣвичью“ солому, ручки старыхъ креселъ съ чердака...

— За милую душу истопимъ,—твердитъ онъ.—Крендели еще есть... Яицъ бы напечь!

— Тащи ихъ на-конъ. А то сидимъ плакучими ивами!..

III.

Медленно протекаетъ зимній вечеръ въ Лучезаровкѣ. Не смолкая бушуетъ метель за окнами...

Но теперь старики уже не прислушиваются къ ея шуму. Запасшись дровами, они поставили въ сѣнцахъ самоваръ, затопили въ кабинетѣ печку и оба сѣли около нея на корточки.

Славно охватываетъ тѣло тепломъ! Иногда, когда Ковалевъ запихивалъ въ печку большую охапку холодной соломы, кругомъ воцарялся мракъ, и глаза Флембо, которая тоже пришла погрѣться къ двери кабинета, какъ два изумрудные камня, сверкали въ темнотѣ. А въ печкѣ глухо гудѣло; просвѣчивая то тутъ, то тамъ сквозь солому и бросая на потолокъ кабинета мутно-красныя, дрожащія полосы свѣта, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя къ устью, прыскали, съ трескомъ лопааясь, хлѣбныя зерна... Мало-помалу озарялась вся комната. Пламя совсѣмъ завладѣвало соломой, и когда отъ нея оставалась только дрожащая груда „жара“, словно раскаленныхъ, золотисто-огненныхъ проволокъ, когда эта груда опадала, блекла,

Яковъ Петровичъ скидывалъ съ себя пальто, садился задомъ къ печкѣ и поднималъ на спинѣ рубаху.

— Аа, аа,—говорилъ онъ.—Славно спину-то нажарить! Гервасій Тимофеевичъ, дерн!

Ковалевъ принимался чесать ему спину.

— Аа, аа!—повторялъ Яковъ Петровичъ и, когда его толстая спина становилась багровой, отскакивалъ отъ печки и накидывалъ тулупъ.

— Вотъ такъ пробрало! А то вѣдь бѣда безъ бани... Ну, да ужъ нынѣшній годъ обязательно поставлю!

Это „обязательно“ Ковалевъ слышитъ каждый годъ, но каждый годъ съ восторгомъ принимаетъ мысль обанѣ.

— Добро милое! Бѣда безъ бани,—соглашается онъ, нагрѣвая у печки и свою худощавую спину.

Когда дрова и солома прогорѣли, Ковалевъ долго и заботливо поджаривалъ въ печкѣ крендели, отклоняя отъ жара пылающее лицо. Въ темнотѣ, озаренный красноватымъ жерломъ печки, онъ казался бронзовымъ изваяніемъ, а Яковъ Петровичъ хлопоталъ около самовара.

Наконецъ, онъ налилъ себѣ въ кружку чаю, поставилъ ее около себя на лежанкѣ, закурилъ и, немного помолчавъ, вдругъ спросилъ:

— А что-то теперь подѣлываетъ премилая сова?

Какая сова? Ковалевъ хорошо знаетъ, какая сова! Можетъ быть, уже лѣтъ 25 тому назадъ онъ подстрѣлилъ сову и гдѣ-то на ночлегѣ сказалъ эту фразу, но фраза эта почему-то не забылась и, какъ десятки другихъ, повторяется Яковымъ Петровичемъ и Ковалевымъ. Сама по себѣ оца, конечно, не имѣетъ смысла, но отъ долгаго употребленія стала смѣшной и, какъ другія подобныя, влечетъ за собой много воспоминаній.

Очевидно, Яковъ Петровичъ совсѣмъ повеселѣлъ и приступаетъ къ мирнымъ разговорамъ о быломъ. И Ковалевъ стоитъ съ веселой, задумчивой улыбкой, наливая себѣ чаю.

— А помните, Яковъ Петровичъ?—начинаетъ онъ...

Медленно протекаетъ зимній вечеръ въ Лучезаровкѣ, но тепло и свѣтло въ маленькомъ кабинетѣ. Все въ немъ такъ просто, незатѣйливо, по старинному: желтенькіе обои на стѣнахъ, украшенныхъ выцвѣтшими фотографіями, вышитыми шерстью картинами (собака, швейцарскій видъ), низкій потолокъ обклеенъ „Сыномъ Отечества“; передъ окномъ дубовый письменный столъ и старое, высокое и глубокое кресло; у одной стѣны большая кровать краснаго дерева съ ящиками, надъ кроватью рогъ для гончихъ, ружье, пороховница; въ углу образничка съ темными иконами.... И все это родное, давно-давно знакомое!

Старики сыты и согрѣлись. Яковъ Петровичъ сидитъ въ валенкахъ и въ одномъ бѣльѣ. Ковалевъ—въ валенкахъ и поддевочкѣ... Долго играли въ шашки, долго занимались своимъ любимымъ дѣломъ, осматривали одежду—нельзя ли какъ-нибудь вывернуть?—искроили на шапку старую „тужурку“; долго стояли у стола, мѣрили, чертили мѣломъ.

Настроение у Якова Петровича давно уже самое благодушное. Только въ глубинѣ души шевелится какое-то грустное чувство. Завтра праздникъ, онъ одинъ... Спасибо Ковалеву, что хоть онъ не забылъ!

— Ну,—говоритъ Яковъ Петровичъ,—возьми-ка эту шапку себѣ.

— А вы-то какъ же?—спрашиваетъ Ковалевъ.

— У меня есть.

— Да вѣдь одна вязаная?

— Такъ что жъ?—Безподобная шапка!

— Ну, покорнѣйше благодаримъ.

У Якова Петровича страсть дѣлать подарки. Да и не хочется ему шить...

— Который - то теперь часъ? — размышляетъ онъ вслухъ.

— Теперь?—спрашиваетъ Ковалевъ. — Теперь десять. Вѣрно, какъ въ аптекѣ. Я ужъ знаю.

— Скука безъ часовъ,—перебиваетъ Яковъ Петровичъ, зная, что сейчасъ Ковалевъ начнетъ лгать, какъ онъ по двое золотыхъ часовъ нашивалъ, когда былъ казачкомъ у своего барина и жилъ съ нимъ въ Петербургѣ. Но Ковалевъ оживился, и его уже трудно перебить.

— Бывало, въ Петербургѣ,—говоритъ онъ...

— Да и брешешь же ты, братъ!—замѣчаетъ Яковъ Петровичъ ласково.

— Да нѣтъ, вы позвольте, не фрапируйте сразу-то!

Яковъ Петровичъ разсѣяннo улыбается. У него свои думы.

— То-то, должно быть, въ городѣ-то теперь!—говоритъ онъ, усаживаясь на лежанку съ гитарой.—Оживленіе, блескъ, суета! Начнутся собранія, маскарады!

И уже дружно начинаются воспоминанія о клубахъ, о томъ, сколько когда выигралъ и проигралъ Яковъ Петровичъ, какъ иногда Ковалевъ во-время уговаривалъ его уѣхать изъ клуба. Идетъ оживленный разговоръ о прежнемъ благосостояніи Якова Петровича. Онъ говоритъ:

— Да, я много надѣлалъ ошибокъ въ своей жизни. Миѣ не на кого пенять. А судить меня будетъ, ужъ видно, Богъ, а не Глафира Яковлевна и не зятекъ миленькій. Что жъ, я бы рубашку имъ отдалъ, да у меня и рубашекъ-то нѣту... Вотъ я ни на кого никогда не имѣлъ злобы больше десяти минутъ... Ну, да все прошло, пролетѣло... Сколько было родныхъ и знакомыхъ, сколько друзей-пріятелей—и все это въ могилѣ!

Лицо Якова Петровича задумчиво и кротно. Онъ тихо играетъ на гитарѣ и поетъ старинный, грустный романсъ, мягкій и нѣжный, какъ почти всѣ старинныя пѣсни.

Что жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?—

поетъ онъ въ раздумьи.

Что жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?
 Дума лежитъ на угрюмомъ челѣ...
 Иль ты не видишь бокалъ на столѣ?

И повторяетъ съ особенной задушевностью:

Иль ты не видишь бокалъ на столѣ?

.

Долго на свѣтѣ не зналъ я пріюту...

разбитымъ голосомъ подтягиваетъ Ковалевъ, сгорбив-
 шись въ старомъ креслѣ и глядя въ одну точку передъ
 собою.

Долго на свѣтѣ не зналъ я пріюту...

вторить Яковъ Петровичъ подъ гитару.

Долго носила земля сироту,
 Долго имѣлъ я въ душѣ пустоту!...

Вѣтеръ бушуетъ и рветъ съ флигеля крышу. Шумъ
 у крыльца... Эхъ, если бы хоть кто-нибудь пріѣхалъ
 Даже старый другъ, Софья Павловна, забыла...

И, покачивая головою, Яковъ Петровичъ продол-
 жаетъ:

Разъ въ незабвенную жизни минуту,
 Разъ я увидѣлъ созданье одно,
 Въ коемъ все сердце мое вмѣщено...
 Въ коемъ все сердце мое вмѣщено...

Эхъ, давно-давно это было! Все прошло, пролетѣло...
 Грустныя думы клонять голову... Но печальной удалю
 звучить пѣсня:

Что жъ ты замолкъ и сидишь одиноко?
 Стукнемъ бокалъ о бокалъ и запьемъ
 Грустную думу веселымъ виномъ!..
 Грустную думу веселымъ виномъ!..

— Не прѣѣхала бы барыня,—говорить Яковъ Петровичъ, дергая струны гитары и кладя ее на лежанку. И старается не глядѣть на Ковалева.

— Кого!—отзывается Ковалевъ.—Очень просто.

— Избавь Богъ, плутаетъ... Въ рогъ бы потрубить... на всякій случай... Можетъ быть, Судакъ ѣдетъ. Вѣдь замерзнуть-то недолго. По человѣчеству надо судить...

Черезъ минуту старики стоятъ на крыльцѣ. Вѣтеръ рветъ съ нихъ одежду. Дико и гулко заливается старый звонкій рогъ на разные голоса. Вѣтеръ подхватываетъ его звуки и несетъ въ непроглядную степь, въ темноту бурной ночи.

— Гопъ-гопъ!—кричитъ Яковъ Петровичъ.

— Гопъ-гопъ!—вторитъ Ковалевъ.

И долго потомъ, настроенные на героическій ладъ, не унимаются старики. Только и слышится:

— Понимаешь? Онѣ тысячами съ болота на овсяное поле! Шалки сбиваютъ!.. Да все матерья, кряковыя! Какъ ни рѣзну—просто каши наварю! А тутъ, смотрю, Аѳанасій Николаевичъ Вечесловъ спѣшитъ... Батюшки мои—пошла потѣха!

Или:

— Вотъ, понимаешь, я и сталъ за сосной. А ночь мѣсячная—хоть деньги считай! И вдругъ претъ... Любище вотъ этакій... Какъ я его брызну!

— А помните, — подхватываетъ Ковалевъ,—какъ въ „Гремячемъ Островѣ“?..

Потомъ идутъ случаи замерзанія, неожиданнаго спасенія... Потомъ восхваленіе Лучезаровки.

— До смерти не разстанусь!—говоритъ Яковъ Петровичъ.—Я все-таки тутъ самъ себѣ голова, какъ Адамъ въ раю. Имѣніе, надо правду сказать, золотое дно. Если бы немножко мнѣ перевернуться! Сейчасъ всѣ 28 десятинъ—картофелемъ, банкъ—долой, и опять я кумъ королю!..

IV.

Всю долгую ночь бушевала въ темныхъ поляхъ вьюга.

Старикамъ казалось, что они легли спать очень поздно, но что-то не спится имъ. Ковалевъ глухо кашляетъ, съ головой закрытый тулупомъ; Яковъ Петровичъ ворочается и отдувается; ему жарко. Къ тому же слишкомъ ужъ грозно буря потрясаетъ стѣны флигеля и слѣпить и засыпаетъ снѣгомъ окна! Слишкомъ неприятно дребезжать разбитыя стекла въ гостиной! Жутко тамъ теперь, въ этой холодной, необитаемой гостиной! Она пустая, мрачная, потому что потолки въ ней низки, амбразуры маленькихъ оконъ глубоки. Ночь же такая темная! Смутно отсвѣчиваютъ свинцовымъ блескомъ стекла. Если даже прильнешь къ нимъ, то развѣ едва-едва различишь забитый, занесенный сугробами садъ... А дальше полный мракъ и метель, метель...

И старики сквозь сонъ инстинктивно чувствуютъ, какъ одинокъ и безпомощенъ ихъ хуторокъ въ этомъ бушующемъ морѣ степныхъ снѣговъ. Ковалевъ трусливъ, и поэтому ему все представляется, какъ когда-то давно-давно въ этой гостиной на раздвинутомъ банкетномъ столѣ, на сѣнѣ, покрытомъ простыней, лежала полная и важная покойница, сестра Якова Петровича. Сколько тогда наѣхало на дворъ Лучезаровки сосѣдей, сколько толпилось дворни, свободно вздохнувшей по случаю смерти барыни! И все покойники!.. И кажется Ковалеву, что онъ опять стоитъ въ изголовьи усопшей и читаетъ псалтирь. Двери изъ гостиной затворены во всѣ комнаты, тамъ много народу, но все-таки Ковалевъ боится и стоитъ, какъ въ туманѣ. Блики свѣта отъ мерцающихъ свѣчъ, какъ по желтой мѣди, скользятъ по лицу мертвеца. Въ комнатѣ еще синѣетъ дымъ кадила... Дымъ этотъ почему-то все сгущается, потолокъ опускается все ниже

и ниже, грудь покойницы подымается... она хочет вздохнуть... и не может... что-то давить ей грудь, и Ковалеву давить, и страшно имъ обоемъ... И Ковалевъ вскакиваетъ съ сильно бьющимся сердцемъ.

— Ахъ ты, Господи, Господи!—слышится его бормотанье въ тихомъ кабинетѣ.

Но опять странной дремотой обвѣваетъ его монотонный шумъ метели. Онъ кашляетъ все тише и рѣже, медленно задремываетъ, словно погружается въ какое-то безконечное пространство... Но опять сквозь сонъ чувствуетъ что-то зловѣщее... Онъ слышитъ... Да, шаги! Тяжелые шаги наверху гдѣ-то... По потолку кто-то ходить. Ковалевъ быстро приходитъ въ сознаніе, но тяжелые шаги ясно слышны и теперь... Скрипитъ матица...

— Яковъ Петровичъ! — говоритъ онъ.—Яковъ Петровичъ!

— А? Что?—спрашиваетъ Яковъ Петровичъ.

— А вѣдь по потолку-то кто-то ходить.

— Кто ходить?

— А вы послушайте-ка!

Яковъ Петровичъ слушаетъ: ходить!

— Да нѣтъ, это всегда такъ,—вѣтеръ,—говоритъ онъ, наконецъ, зѣвая.—Да и трусь же ты, братъ! Давай-ка лучше спать.

И правда, сколько уже было толковъ про эти шаги на потолокъ! Каждую непогожую ночь!

Но все-таки Ковалевъ, задремывая, долго шепчетъ съ глубокимъ чувствомъ, втягивая въ себя воздухъ:

— Живыи въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бога Небеснаго... Не убоишися отъ страха ношнаго, отъ стрѣлы, летящія въ дни... На аспида и василиска наступиши и попереши льва и змія...

И Якова Петровича что-то беспокоитъ во снѣ. Подъ шумъ метели мерещится ему то гулъ вѣкового бора, то звонъ отдаленнаго колокола; слышится невнятный лай собакъ гдѣ-то въ степи, крикъ работника Судака... Вотъ

шуршатъ подъѣзжающія къ крыльцу сани, скрипятъ чьи-то лапти по мерзлomu снѣгу въ сѣнцахъ... И сердце Якова Петровича сжимается отъ боли и ожиданія: это дѣйствительно подъѣзжаютъ къ крыльцу его сани, но въ саняхъ—Софья Павловна, Глаша... подъѣзжаютъ медленно, забитыя снѣгомъ, еле видныя въ темнотѣ бурной ночи... ѣдутъ, ѣдутъ, но почему-то мимо дома, все дальше, дальше... Ихъ увлекаетъ метель, засыпаетъ ихъ снѣгомъ, и у Якова Петровича подступаютъ слезы къ горлу, и онъ торопливо ищетъ рога... хочетъ трубить имъ, звать ихъ... И, почти задохнувшись отъ напряженія, онъ внезапно просыпается.

— Чортъ знаетъ, что такое! — бормочетъ онъ, отдуваясь.

— Что это вы, Яковъ Петровичъ? — откликается Ковалевъ.

— Не спится, братъ! А ночь давно, должно быть!

— Да, давненько!

— Зажигай-ка свѣчку-то, да закуривай!

Кабинетъ озаряется. Щурясь отъ свѣчки, пламя которой колеблется передъ заспанными глазами, какъ лучистая, мутно-красная звѣзда, старики сидятъ, курятъ, съ наслажденіемъ чешутся и отдыхаютъ отъ сновидѣній... Хорошо проснуться въ долгую зимнюю ночь въ теплой, родной комнатѣ, покурить, мирно поговорить, разогнать жуткія ощущенія веселымъ огонькомъ!

— А я,—говоритъ Яковъ Петровичъ, сладко зѣвая,— а я сейчасъ вижу во снѣ, какъ ты думаешь, что?.. Вѣдь приснится же!.. Будто я въ гостяхъ у турецкаго султана!..

Ковалевъ сидитъ на полу, сгорбившись (какой онъ старенькій безъ поддевички и со сна!), улыбается и въ раздумьи отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, это что — у турецкаго султана! Вотъ я сейчасъ видѣлъ... Вѣрите ли? Одинъ за однимъ, одинъ за однимъ... съ рожками, въ пиджачкахъ... малъ мала

меньше... Да вѣдь какого транташа около меня раздѣлываютъ!

Оба врутъ. Они видѣли эти сны, даже не разъ видѣли, но совсѣмъ не въ эту ночь, и слишкомъ часто рассказываютъ ихъ они другъ другу, такъ что давно другъ другу не вѣрятъ. И все-таки рассказываютъ. И, наговорившись, въ томъ же благодушномъ настроеніи они тушатъ свѣчу, укладываются, одѣваются потеплѣй, надвигаютъ на лобъ шапки и засыпаютъ „сномъ праведника“...

Медленно наступаетъ день, но кажется, что это сумерки. Темно, угрюмо, и буря не унимается. Сугробы подъ окнами почти прилегаютъ къ стекламъ и возвышаются до самой крыши. Отъ этого въ кабинетѣ стоитъ какой-то странный, блѣдный сумракъ...

Вдругъ съ шумомъ летятъ кирпичи съ крыши. Вѣтеръ повалилъ трубу...

Это плохой знакъ: скоро, скоро, должно быть, и слѣда не останется отъ Лучезаровки!

НОВЫЙ ГОДЪ.

— Послушай,—сказала мнѣ жена,—мнѣ жутко...

Была лунная, зимняя полночь, мы почевали на хуторѣ въ Тамбовской губерніи, куда я заѣхалъ по пути въ Петербургъ съ юга, и спали въ „дѣтской“, единственной теплой комнатѣ во всемъ домѣ. Открывъ глаза, я увидалъ легкій сумракъ въ этой маленькой комнатѣ, наполненной голубоватымъ свѣтомъ, полъ, покрытый попонами, и бѣлую лежанку у двери. Надъ квадратнымъ итальянскимъ окномъ, въ которое виднѣлся свѣтлый снѣжный дворъ, слегка нависала щетина соломенной крыши, серебрившаяся инеемъ. Было такъ тихо, какъ можетъ быть только въ полѣ въ зимнія ночи.

— Ты спишь,—говорила жена недовольно,—а я задремала давеча въ возкѣ и теперь не могу.—Хочешь ко мнѣ?—прибавила она ласковѣй.

Она полулежала на большой старинной кровати въ сумракѣ у противоположной стѣны и вопросительно глядѣла на меня. Когда я подошелъ къ ней, она прижалась ко мнѣ съ необычайной нѣжностью.

— Слушай,—сказала она веселымъ шопотомъ,—ты не сердись, что я разбудила тебя? Мнѣ, правда, стало жутко немного и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ-то очень хорошо. Я чувствовала, что мы съ тобой совсѣмъ одни въ этой заброшенной усадьбѣ, и на меня напалъ чисто дѣтскій страхъ...

Она подняла голову и прислушалась.

— Слышишь, какъ тихо?—спросила она чуть слышно.

Мысленно я далеко оглянулъ снѣжныя поля вокругъ насъ, — всюду было мертвое молчаніе русской зимней ночи, среди которой таинственно приближался новый годъ,—и мнѣ самому стало хорошо, какъ въ дѣтствѣ. Такъ давно не ночевалъ я въ деревнѣ, и такъ давно не говорили мы съ женой мирно!.. Я нѣсколько разъ поцѣловалъ ее въ глаза и волосы съ той спокойной и сердечной любовью, которая бываетъ только въ рѣдкія минуты, и она внезапно отвѣтила мнѣ порывистыми поцѣлуями влюбленной дѣвушки. Потомъ долго прижимала мою руку къ своей загорѣвшей щекѣ.

— Какъ хорошо! — проговорила она со вздохомъ и убѣжденно. И помолчавъ, прибавила:—Да, все-таки ты единственный близкій мнѣ человѣкъ!.. Ты чувствуешь, что я люблю тебя?

Я молча пожалъ ея руку.

— Какъ это случилось? — спросила она, открывая глаза. — Выходила я не любя, живемъ мы съ тобой дурно, ты самъ говоришь, что изъ-за меня ты ведешь пошлое и тяжелое существованіе... И, однако, все чаще мы чувствуемъ, что мы нужны другъ другу. Откуда это приходитъ и почему только въ нѣкоторыя минуты?.. Съ новымъ годомъ, Костя!—сказала она, стараясь улыбнуться, и нѣсколько теплыхъ слезъ упало на мою рубашку.

Положивъ голову на подушку, она заплакала, и, видимо, слезы были пріятны ей, потому что изрѣдка она поднимала лицо, улыбалась сквозь слезы и цѣловала мою руку, стараясь продлить ихъ нѣжностью. Я медленно гладилъ ея волосы, давая понять, что я цѣню и понимаю эти слезы. Я вспомнилъ прошлый новый годъ, который мы, по обыкновенію, встрѣчали въ Петербургѣ въ кружкѣ моихъ сослуживцевъ, хотѣлъ вспомнить позапрошлый и не могъ и опять подумалъ то, что часто

приходить мнѣ въ голову: годы сливаются въ одинъ безпорядочный и однообразный годъ, полный сѣрыхъ служебныхъ дней и скучныхъ журъ-фиксовъ, умственные и душевные способности слабѣютъ, мелочная, подневольная жизнь все болѣе входитъ въ свои права, и все болѣе неосуществимыми кажутся надежды имѣть свой уголъ, поселиться гдѣ-нибудь въ деревнѣ, на югѣ, копаться съ женой и дѣтьми въ виноградникахъ, ловить въ морѣ лѣтомъ рыбу... Я вспомнилъ, какъ ровно годъ тому назадъ жена съ притворной любезностью заботилась и хлопотала о каждомъ, кто, считаясь нашимъ другомъ, встрѣчалъ съ нами новогоднюю ночь,—какъ она улыбалась нѣкоторымъ изъ молодыхъ гостей и предлагала загадочно-меланхолическіе тосты и какъ чужда и непріятна была мнѣ она, эта нарядная дама въ тѣсной петербургской квартиркѣ...

— Ну, полно, Оля!—сказалъ я ласково и, по возможности, безпечно.

— Дай мнѣ платокъ,—тихо отвѣтила она и по-дѣтски, прерывисто вздохнула.—Я уже не плачу больше.

Я нашелъ подъ подушкой платокъ, и нѣсколько минутъ мы лежали молча. Лунный свѣтъ воздушно-серебристой полосой падалъ на лежанку и озарялъ ее странною, яркой блѣдностью. Все остальное было въ сумракѣ, и въ немъ медленно плавалъ дымъ моей папиросы. И отъ попонъ на полу, отъ теплой, озаренной лежанки,—отъ всего вѣяло глухой деревенской жизнью, уютностью родного дома...

— Ты рада, что мы заѣхали сюда?—спросилъ я.

— Ужасно, рада, ужасно!—отвѣтила жена съ порывистой искренностью.—Я думала объ этомъ, когда ты уснулъ. По-моему,—сказала она уже съ улыбкой,—вѣнчаться надо бы два раза. Серьезно,—какое это счастье стать подъ вѣнецъ сознательно, поживши, пострадавши съ человѣкомъ! И непремѣнно жить дома, въ своемъ углу, гдѣ-нибудь подальше ото всѣхъ... „Ро-

диться, жить и умереть въ родномъ домѣ“—какъ говорить Мопассанъ!

Она задумалась и опять положила голову на подушку.

— Сенъ-Бевъ,—поправилъ я.

— Все равно, Костя. Я, можетъ быть, и глупая, какъ ты постоянно говоришь, но все-таки одна люблю тебя... Хочешь, пойдемъ гулять?—прибавила она, помолчавши.

— Куда?—спросилъ я удивленно.

— По двору. Я надѣну валенки, твой полушубочекъ... Развѣ ты уснешь сейчасъ?

Черезъ десять минутъ мы одѣлись и, улыбаясь, остановились у двери.

— Ты не сердись? — спросила жена, взявъ меня подъ руку.

Она ласково заглядывала мнѣ въ глаза, и лицо ея было необыкновенно мило въ эту минуту, и вся она казалась такой женственной въ полушубочкѣ, въ сѣрой шали, которой она по-деревенски закутала голову, и въ мягкихъ валенкахъ, дѣлавшихъ ее ниже ростомъ.

Изъ дѣтской мы вышли въ корридоръ, гдѣ было темно и холодно, какъ въ погребѣ, и въ темнотѣ добрались до прихожей, называвшейся прежде „лакейской“. Потомъ заглянули въ залъ и гостиную... Скрипъ двери, ведущей въ залъ, раздался по всему дому, а изъ сумрака большой пустой комнаты, какъ два огромные глаза, взглянули на насъ два высокихъ окна въ садъ. Третье было прикрыто полуразломанными ставнями.

— Ау!—крикнула жена на порогѣ.

— Не надо, — сказалъ я, — лучше посмотри, какъ тамъ хорошо.

Она притихла, и мы несмѣло вошли въ комнату. Очень рѣдкій и низенькій садъ, въриѣ, кустарникъ, раскиданный по широкой снѣжной полянѣ, былъ виденъ изъ оконъ, и одна половина его была въ тѣни, далеко лежавшей отъ дома, а другая, освѣщенная, четко и нѣжно бѣлѣла подъ звѣзднымъ небомъ тихой

зимней ночи. Кошка, неизвестно какъ попавшая въ эти пустыя комнаты, вдругъ прыгнула съ мягкимъ стукомъ съ подоконника и мелькнула у насъ подъ ногами, блеснувъ золотисто-оранжевыми глазами. Я вздрогнулъ, и вся таинственная жизнь необитаемаго дома, который стоялъ заброшеннымъ по моей винѣ, сразу передалась мнѣ...

Точно угадавъ мое чувство, жена опять взяла меня подъ руку.

— Ты боялся бы здѣсь одинъ? — спросила она шопотомъ.

Прижимаясь другъ къ другу, мы прошли по залу въ гостиную, къ двойнымъ стекляннымъ дверямъ на балконъ. Тутъ еще до сихъ поръ стояла огромная кушетка, на которой я спалъ, прѣзжая въ деревню студентомъ. Казалось, что еще вчера были эти лѣтніе дни, когда мы всей семьей обѣдали на балконѣ, когда вся усадьба была полна домовитой, помѣщицъей жизнью... Теперь въ гостиной пахло плѣсенью и зимней сыростью, тяжелая, промерзлая обои кусками висѣли со стѣнъ... Было больно и не хотѣлось думать о прошломъ, особенно передъ лицомъ этой прекрасной, зимней ночи. Сквозь стеклянныя двери гостиной еще яснѣе, чѣмъ въ залѣ, виденъ былъ весь садъ и вся бѣлоснѣжная равнина подъ звѣзднымъ небомъ, — каждый сугробъ чистаго, дѣвственнаго снѣга, каждая елочка среди пушистой, бѣлой равнины.

— Тамъ утонешь безъ лыжъ, — сказалъ я въ отвѣтъ на просьбу жены пройти черезъ садъ на гумно. — А, бывало, я по цѣлымъ ночамъ сидѣлъ зимой на гумнахъ, въ овсяныхъ ометахъ... Теперь зайцы, небось, приходятъ къ самому балкону!

Оторвавъ большой, неуклюжій кусокъ обои, висѣвшій у двери, я бросилъ его въ уголъ, и, точно сдѣлавъ дѣло, мы молча вернулись въ прихожую и черезъ большія, бревенчатыя стѣны вышли на морозный воз-

духъ. Тамъ я сѣлъ на ступени крыльца, закуривая папиросу, а жена, хрустя валенками по снѣгу, сбѣжала съ нихъ на сугробы и подняла лицо къ блѣдному зимнему мѣсяцу, уже низко стоявшему надъ черной и длинной избой, въ которой спали сторожъ усадьбы и нашъ ящикъ со станціи.

— Мѣсяцъ, мѣсяцъ, тебѣ золотые рога, а мнѣ золотая казна!—заговорила она, кружась, какъ дѣвочка, по широкому, бѣлому двору.

Голосъ ея звонко раздался въ воздухъ и былъ такъ страненъ въ тишинѣ этой мертвой усадьбы. Кружась, она прошла до ящицкой кибитки, чернѣвшей въ тѣни передъ избой, и было слышно, какъ она бормотала на ходу:

Татьяна на широкій дворъ
Въ открытомъ платьицѣ выходитъ,
На мѣсяцъ зеркало наводитъ,
Но въ темномъ зеркалѣ одна
Дрожить печальная луна...

— Никогда я уже не буду гадать о суженомъ!—сказала она, возвращаясь черезъ минуту къ крыльцу и, запыхавшись и весело дыша морозной свѣжестью, сѣла на ступени возлѣ меня.—Ты не уснулъ, Костя? Можно съ тобой сѣсть рядомъ, миленькій, золотой мой?

Большая рыжая собака медленно подошла къ намъ изъ-за крыльца, съ ласковой снисходительностью виляя пушистымъ хвостомъ, и она обняла ее за широкую шею въ густомъ мѣху, а собака глядѣла черезъ ея голову умными, вопросительными глазами и все также равнодушно-ласково махала хвостомъ. Я тоже гладилъ этотъ густой, холодный и глянцевитый мѣхъ, глядѣлъ на блѣдное человѣческое лицо мѣсяца, на длинную черную избу, на сіяющій снѣгомъ дворъ и думалъ, подбадривая себя:

— Въ самомъ дѣлѣ, неужели уже все потеряно? Мнѣ

тридцать три года, через нѣсколько лѣтъ у меня будетъ пенсія, долги можно будетъ заплатить постепенно, жизнь въ Петербургѣ можно сдѣлать скромнѣй и семейнѣе, имѣніе выйдетъ изъ банка... Черезъ десять лѣтъ я буду свободенъ. Десять лѣтъ! Десять новогоднихъ ночей—и я свободенъ... Но какіе долги и тяжелые промежутки раздѣляютъ эти ночи!

И опять въ голову приходили воспоминанія о фальшивыхъ и шумныхъ встрѣчахъ этихъ ночей въ четвертомъ этажѣ огромнаго дома на Литейномъ, о сѣрой жизни, попрежнему начинающейся послѣ этихъ встрѣчъ въ темнотѣ, дождѣ и снѣгѣ мокраго Петербурга, о безчисленныхъ извозчикахъ и съѣстныхъ, овощныхъ и курятныхъ лавкахъ. И все это было такъ далеко отъ меня въ эту минуту, и не вѣрилось, что пройдетъ эта зимняя ночь.

— А что-то теперь въ Петербургѣ? — сказала жена, поднимая голову и слегка отпихивая собаку.—О чемъ ты думаешь, Костя?—спросила она, приближая ко мнѣ помолодѣвшее на морозѣ лицо.—Я думаю о томъ, что вотъ мужики никогда не встрѣчаютъ новаго года, и во всей Россіи теперь мертвая тишина, и всѣ давнымъ-давно спятъ...

Но говорить не хотѣлось. Было уже холодно, въ одеждѣ отовсюду пробирался морозъ. Я закуталъ ноги лапами шубы и слегка вытянулъ ихъ, а жена сѣла ко мнѣ на колѣни и, обнявшись, мы стали медленно покачиваться, какъ дѣлали это когда-то прежде. Вправо отъ насъ видно было въ ворота блестящее, какъ золотая слюда, поле, и голая лозинка съ тонкими обледенѣвшими вѣтвями, стоявшая далеко въ полѣ, казалась сказочнымъ стекляннымъ деревомъ. Днемъ я видѣлъ тамъ остовъ дохлой коровы, и теперь собака вдругъ насторожилась и остро приподняла уши: далеко по блестящей слюдѣ побѣжало отъ лозинки что-то маленькое и темное,—можетъ быть, лисица,—и въ чуткой тишинѣ долго

слышался замирающій, едва уловимый звук таинственного потрескиванія наста.

Наконецъ, жена спросила:

— А если бы мы остались здѣсь?

Я подумалъ и отвѣтилъ:

— А ты бы не соскучилась?

И какъ только я сказалъ, мы оба почувствовали, что не могли бы выжить здѣсь и года. Уйти отъ людей, отъ жизни, никогда не видать ничего дальше этого снѣжнаго поля, по цѣлымъ днямъ ѣсть и спать отъ скуки... Возможно ли это? Положимъ, можно заняться хозяйствомъ... Но какое хозяйство можно завести въ этихъ жалкихъ остаткахъ усадьбы, на сотнѣ десятинъ земли? И теперь почти всюду такія усадьбы,—на сто верстъ въ окружности нѣтъ ни одного дома, гдѣ бы было свѣтло, весело, чувствовалось что-нибудь живое и разумное! А въ деревняхъ—голодь...

— Но какъ же здѣсь жили твой отецъ, мать, братья?—спросила жена.

— То были, Оля, люди другого склада,—сказалъ я тихо.—Да и не было здѣсь такой глуши и запустѣнія. Мы вѣдь, въ сущности, живемъ въ полудикой пустынѣ, гдѣ только есть оазисы... И я если нищій, и при томъ нищій слабый духомъ, какъ и полагается русскому человѣку,—какъ не стремиться мнѣ къ этимъ все-таки люднымъ оазисамъ? А тамъ, среди этого оазиса, въ темнотѣ и тѣсотѣ Петербурга, чѣмъ я могу быть, какъ не чиновникомъ, отдающимъ всю свою жизнь нелюбимой службѣ и не знающимъ, для чего онъ существуетъ?

— Но какъ же быть, Костя?

— Не думать,—отвѣтилъ я.— Мы люди маленькіе, имя же намъ—легіонъ...

И стараясь возвратиться къ тому дѣтскому хорошему чувству, съ которымъ я проснулся, я тихо указывалъ жену на колѣняхъ.

— Поговоримъ лучше о другихъ вещахъ,—говорилъ

я съ напускной безпечноcтью, медленно цѣлуя ея руку.—А потомъ въ дѣтскую и баиньки!..

Однако, засыпая подъ утро въ дѣтской и сидя на другой день въ рогожной кибиткѣ по пути на станцію, я думалъ все о томъ же. Заснули мы крѣпко, а утромъ, прямо съ постели, нужно было собираться въ дорогу. Когда за стѣною закрипѣли полозья, и около самаго окна прошли по высокимъ сугробамъ лошади, запряженные гусемъ, жена, полусонная, грустно улыбнулась мнѣ, и чувствовалось, что ей жаль покидать теплую деревенскую комнату...

— Вотъ и новый годъ!—думалъ я, поглядывая изъ скрипучей, опущенной инеемъ кибитки въ сѣрое поле.— Какъ-то мы проживемъ эти новые триста шестьдесятъ пять дней?

Но мелкій лепетъ бубенчиковъ спутывалъ мысли, думать о будущемъ не хотѣлось... Выглядывая изъ кибитки, я уже едва различалъ мутный, сѣро-сизый пейзажъ усадьбы, все болѣе уменьшающійся въ ровной снѣжной степи и постепенно сливающійся съ туманной далью морознаго туманнаго дня. Покрикивая на заиндевѣвшихъ лошадей, ямщикъ стоялъ въ козлахъ и, видимо, былъ совершенно равнодушенъ и къ новому году, и къ бѣлому пустому полю, и къ своей и нашей участи. Съ грудомъ добравшись подъ тяжелымъ армякомъ и полушубкомъ до кармана, онъ вытащилъ трубку, и скоро въ зимнемъ воздухѣ запахло сѣрой спичекъ и душистой махоркой. Запахъ былъ родной, пріятный, и меня трогали и воспоминанія о деревенскихъ суткахъ, и наше временное примиреніе съ женою, которая дремала, прижавшись въ уголъ возка и закрывъ большія, сѣрыя отъ инея рѣсницы. Но, повинувшись внутреннему желанію поскорѣе забыться въ мелкой суетѣ и привычной обстановкѣ, я дѣланно-весело покрикивалъ:

— Погоняй, Степанъ, потрогивай! Опоздаемъ!

А далеко впереди уже бѣжали туманные силуэты телеграфныхъ столбовъ вдоль желѣзной дороги, и мелкій лепетъ бубенчиковъ такъ шелъ къ моимъ думамъ о безсвязной и бессмысленной жизни, которая ждала меня впереди...

АНТОНОВСКІЯ ЯБЛОКИ.

I.

Гдѣ-то я читалъ, что Шиллеръ любилъ, чтобы въ его комнатѣ лежали яблоки: улежавшись, они своимъ запахомъ возбуждали въ немъ творческія настроенія. Не знаю, насколько справедливъ этотъ разсказъ, но вполне понимаю его: есть вещи, которыя прекрасны сами по себѣ, но больше всего потому, что они заставляютъ насъ сильнѣе чувствовать жизнь. Запахи особенно сильно дѣйствуютъ на насъ, и между ними есть особенно здоровые и яркіе: запахъ моря, запахъ лѣса, чернозема весною, прѣлой осенней листвы, улежавшихся яблокъ... чудный запахъ крѣпкихъ антоновскихъ яблокъ, сочныхъ и всегда холодныхъ, пахнущихъ слегка медомъ, а больше всего—осенней свѣжестью!

Садовники такъ и говорятъ про нихъ: „осеннее яблочко, русское!“ Теперь на дворѣ идутъ безпрерывные дожди, на улицѣ дребезжать извозничьи экипажи, и съ гуломъ, съ грохотомъ, со звонками катятся среди толпы тяжелыхъ конки, а я по цѣлымъ днямъ сижу за работой, гляжу въ окно на мокрая вывѣски и сѣрое небо, и все деревенское очень далеко отъ меня. Но по вечерамъ я читаю старыхъ поэтовъ, родныхъ мнѣ по быту и по многимъ своимъ настроеніямъ и, наконецъ, просто по мѣстности,—средней полосѣ Россіи. А ящики моего письменнаго стола полны антоновскими яблоками,

и здоровый осенний аромат ихъ переноситъ меня въ деревню, въ помѣщичьи усадьбы... И вотъ передо мною проходитъ цѣлый міръ, цѣлый бытъ, который скудѣлъ, дробился, а теперь уже умираетъ, такъ что, можетъ быть, черезъ какихъ-нибудь пятьдесятъ лѣтъ его будутъ знать только по нашимъ рассказамъ...

Вспоминается мнѣ ранняя погожая осень въ нашей деревнѣ. Августъ былъ веселый, съ теплыми дождиками, какъ будто нарочно выпавшими для сѣва,—съ дождиками въ самую пору, т. е. въ срединѣ мѣсяца, около праздника св. Лаврентія. А—„осень и зима бываютъ хорошія, коли на Лаврентія вода тѣха и дождикъ“,—говорятъ въ деревнѣ. Потомъ на бабье лѣто паутины много сѣло на поля. Это тоже хорошій признакъ: „Много тенетника на бабье лѣто—осень ядреная“... И примѣта насчетъ тенетника оправдалась: наступаетъ середина сентября, а погода все еще держится. Помню раннее, свѣжее и тихое утро... Помню большой, уже почти весь золотой, подсохшій и порѣдѣвшій садъ... кленовыя аллеи, тонкій аромат опавшей листвы и главное—запахъ яблокъ. Воздухъ такъ чистъ и чутокъ, точно его совсѣмъ нѣтъ, и по саду громко раздаются голоса и скрипъ телѣгъ. Это мѣщане-садовники наняли мужиковъ и насыпаютъ яблоки, чтобы въ ночь отправлять ихъ въ городъ, непременно въ ночь, когда такъ славно лежать на возу, смотрѣть въ звѣздное небо, чувствовать запахъ дегтя въ свѣжемъ воздухѣ и слушать, какъ осторожно поскрипываетъ въ темнотѣ длинный обозъ по большой дорогѣ! И потому-то, должно быть, сборы въ городъ съ хлѣбомъ или съ яблоками совсѣмъ не то, что отправка какого-нибудь другого товара. Тутъ даже „тархане“ ведутъ себя не такъ, какъ въ другихъ хозяйственныхъ случаяхъ: если, наприкладъ, мужикъ, насыпающій яблоки, и ѣстъ ихъ съ сочнымъ трескомъ одно за другимъ, мѣщанинъ не оборветъ его, а еще весело скажетъ:

— Вали, Матвѣй,—дѣлать нечего! На сливаньи всѣ медь пьютъ.

И прохладную тишину утра нарушаетъ только сытое квохтанье дроздовъ на коралловыхъ рябинахъ въ чащѣ сада, голоса да гулкій стукъ ссыпаемыхъ въ мѣры и кадушки яблокъ. Въ порѣдѣвшемъ саду далеко видна дорога къ большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалашъ, около котораго мѣщане обзавелись за лѣто цѣлымъ хозяйствомъ. Всюду сильно пахнетъ яблоками, тутъ—особенно. Въ шалашѣ устроены постели, стоитъ одноствольное ружье, позеленѣвшій самоваръ на соломѣ, а въ уголкѣ—чашки и разная посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящики, всякіе истрепанные пожитки, и вырыта земляная печка. Въ полдень на ней варится великолѣпный кулешъ съ саломъ, вечеромъ грѣется самоваръ, и по саду, между деревьями, мирно разстилается длинной полосой голубоватый дымъ... Въ праздничные же дни около шалаша—цѣлая ярмарка, и за деревьями поминутно мелькаютъ красные праздничные уборы. Толпятся бойкія дѣвки-однодворки въ ситцевыхъ платьяхъ и сарафанахъ, сильно пахнущихъ краской, приходятъ „барскія“ въ своихъ красивыхъ и грубыхъ, почти дикарскихъ костюмахъ... Вотъ, наприимѣръ, молодая старостиха, сильно беременная, съ широкимъ соннымъ лицомъ и важная, какъ холмогорская корова. На головѣ—„рога“, т. е. косы положены по бокамъ макушки и покрыты нѣсколькими платками, такъ что голова кажется огромной; ноги—въ полусапожкахъ съ подковками—стоятъ тупо и крѣпко; безрукавка—плисовая, занавѣска—длинная, а панева—черно-лиловая съ полосами кирпичнаго цвѣта въ клѣтку и обложенная на подолѣ широкимъ золотымъ „прозументомъ“...

— Хозяйственная бабочка!—говоритъ мѣщанинъ, покачивая головою.—Переводятся теперь такія...

А мальчишки въ бѣлыхъ замашныхъ рубашечкахъ и коротенькихъ порточкахъ, съ бѣлыми раскрытыми

головами все подходят. Идутъ по-двое, по-трое, мелко перебирая босыми ножками, и косятся на лохматую свирѣпую овчарку, привязанную къ яблонѣ. Покупаетъ, конечно, одинъ, ибо и покупки-то всего на копейку или на яйцо, но покупателей много, торговля идетъ бойко, и худой чахоточный мѣщанинъ въ длинномъ сюртукѣ и рыжихъ сапогахъ—веселъ. Вмѣстѣ съ братомъ, картавымъ, шустрымъ полуидіотомъ, который живетъ у него изъ „милости“, онъ торгуетъ съ шуточками, прибаутками и даже иногда „тронетъ“ на тульской гармоникѣ. И до вечера въ саду толпится народъ, слышится около шалаша смѣхъ и говоръ, а иногда и топотъ пляски...

Къ ночи въ погоду становится очень холодно и росисто. Надышавшись на гумнѣ ржанымъ ароматомъ свѣжей соломы и мякны, бодро идешь домой къ ужину мимо садоваго вала. Говоръ на деревнѣ или скрипъ воротъ раздаются по студеной зарѣ необыкновенно ясно. Темнѣетъ. И вотъ еще запахъ: въ саду—костеръ, и крѣпко тянетъ душистымъ дымомъ вишневыхъ сучьевъ. Въ темнотѣ, въ глубинѣ сада—совсѣмъ фантастическая картина: точно въ уголкѣ ада пылаетъ около шалаша багровое пламя, окруженное мракомъ, и чьи-то черные, точно вырѣзанные изъ чернаго дерева, силуэты двигаются вокругъ костра, между тѣмъ какъ гигантскія тѣни отъ нихъ ходятъ по яблонямъ. То по всему дереву ляжетъ черная рука въ нѣсколько аршинъ, то четко нарисуются двѣ ноги—два черныхъ столба. И вдругъ все это скользнетъ съ яблони—и исполинская тѣнь упадетъ по всей аллеѣ отъ шалаша до самой калитки...

Поздней ночью, когда на деревнѣ погаснутъ огни, когда въ полночномъ небѣ уже высоко блещетъ бриллиантовое семизвѣздіе Стожаръ, еще разъ пробѣжишь въ садъ „на сонъ грядущій“. Шурша по сухой листвѣ, какъ слѣпой, доберешься до шалаша. Тамъ на полянкѣ немного свѣтлѣе, а надъ головою бѣлѣетъ Млечный Путь...

— Это вы, барчук? — тихо окликаетъ кто-то изъ темноты.

— Я. А вы не спите еще, Николай!

— Намъ нельзя-съ спать. А, должно, ужъ поздно? Вотъ, кажись, пассажирный поѣздъ идетъ...

Долго прислушиваемся и, наконецъ, различаемъ дрожь въ землѣ: далеко идетъ поѣздъ. Дрожь переходитъ въ шумъ. Онъ постепенно разрастается, и вотъ, какъ будто уже за самымъ садомъ, ускореннымъ темпомъ выбиваютъ шумный тактъ колеса: громыхая и стуча несется поѣздъ... Ближе, ближе, все громче и сердитѣе... И вдругъ начинаетъ стихать и, наконецъ, замретъ, точно уйдетъ въ землю.

— А гдѣ у васъ ружье, Николай?

— А вотъ возлѣ ящика-съ.

Вскинешь кверху тяжелую, какъ ломъ, одностволку и съ маху выстрѣлишь. Багровое пламя съ оглушительнымъ трескомъ блеснетъ къ небу, ослѣпитъ на мигъ и погаситъ звѣзды, а бодрое эхо кольцомъ грянетъ и раскатится по горизонту, далеко-далеко замирая въ чистомъ и чуткомъ воздухѣ.

— Ухъ здорово! — скажетъ мѣщанинъ. — Потрачайте потрачайте, барчукъ, а то просто бѣда! Опять всю дулю на валу отряси.

А черное небо то тамъ, то сямъ чертятъ огнистыми полосками падающія звѣзды. Долго глядишь въ его темно-синюю глубину, переполненную созвѣздіями, пока не поплыветъ земля подъ ногами. Тогда встрепенешься и, пряча руки въ рукава, быстро побѣжишь по аллеѣ къ дому... Какъ холодно, росисто и какъ хорошо жить на свѣтѣ!..

II.

„Ядреная автоновка—къ веселому году“,—говорять въ деревнѣ, — т. е. деревенскія дѣла обстоятъ отлично, если автоновка уродилась, какъ слѣдуетъ. Это, конечно, не совсѣмъ справедливо, но нѣкоторыя мои воспоминанія о нашихъ Выселкахъ отчасти подтверждаютъ пословицу.

На ранней зарѣ, когда на деревнѣ кричатъ пѣтухи и „по-черному“ дымятся избы, распахнешь, бывало, окно въ прохладный садъ, наполненный лиловатымъ туманомъ, сквозь который ярко блеститъ кое-гдѣ утреннее солнце, и не утерпишь — велишь поскорѣй засѣдывать лошадь, а самъ побѣжишь умываться на прудъ. Мелкая листва почти уже облетѣла съ прибрежныхъ лозинъ, и сучья сквозятъ на бирюзовомъ небѣ. Вода подъ лозинами стала прозрачная, но ледяная и какъ будто тяжелая. Она мгновенно прогоняетъ ночную лѣнь, и, умывшись и позавтракавъ въ людской съ работниками горячими картошками и чернымъ хлѣбомъ съ крупной сырой солью, особенно бодро чувствуешь себя въ сѣдлѣ, проѣзжая по Выселкамъ на охоту. Осень—пора престольныхъ праздниковъ, и народъ въ это время прибранъ, сытъ и веселъ, такъ что видъ деревни осенью совсѣмъ не тотъ, что въ другую пору. Если же годъ урожайный, и на гумнахъ возвышается цѣлый золотой городъ скирдъ, а на рѣкѣ звонко и рѣзко гогочутъ по утрамъ гуси,—такъ въ деревнѣ и совсѣмъ недурно. Къ тому же наши Выселки споконъ вѣку, еще со временъ дѣдушки Аполлона Платоновича, славились „богатствомъ“. Старики и старухи жили въ Выселкахъ очень подолгу,—первый признакъ богатой деревни, — и были все высокіе, большіе и бѣлые, какъ лунь. Только и слышишь, бывало: „Да,—вотъ Агафья восемьдесятъ

три годочка отмахала!“ — или даже разговоръ въ такомъ родѣ:

— И когда это ты умрешь, Панкратъ? Небось тебѣ лѣтъ сто будетъ?

— Какъ изволите говорить, батюшка?

— Сколько тебѣ годовъ спрашиваю!

— А не знаю-съ, батюшка.

— Да Платона Аполлоныча-то помнишь?

— Какъ же-съ, батюшка,—явственно помню.

— Ну, вотъ видишь. Тебѣ, значить, никакъ не меньше ста!

Старикъ, который стоитъ передъ бариномъ вытянувшись, кротко и виновато улыбается. Что жъ, молъ, дѣлать,—виновать, зажился. И онъ, вѣроятно, еще болѣе зажился бы, если бы не объѣлся въ Петровки луку и не умеръ совершенно неожиданно для всѣхъ.

Помню я и старуху его. Все, бывало, сидитъ на скамеечкѣ, на крыльцѣ, согнувшись, трясъ головой, задыхаясь и держась за скамейку руками,—все о чемъ-то думаетъ. „О добръ своемъ, небось“, — говорили бабы, потому что „добра“ у нея въ сундукахъ было дѣйствительно много. А она будто и не слышитъ; подслѣповато смотритъ куда-то вдаль изъ-подъ грустно приподнятыхъ бровей, трясетъ головой и точно силится вспомнить что-то. Большая была старуха, вся какая-то темная. Панева—чуть не прошлаго столѣтія, чуньки — покойницкія, шея—желтая и высохшая, рубаха съ канифасовыми косяками всегда бѣлая-бѣлая,—„совсѣмъ хоть въ гробъ клади“. А около крыльца большой камень лежалъ: сама купила себѣ въ селѣ на могилку, такъ же какъ и саванъ,—отличный саванъ съ ангелами, съ крестами и съ молитвой, напечатанной по краямъ.

Подъ-стать старикамъ были и дворы въ Выселкахъ: кирпичные, строенные еще дѣдами. А у богатыхъ мужиковъ,—у Савелія, у Игната, у Дрона,—избы были въ двѣ-три связи, потому что дѣлиться въ Выселкахъ было

еще не въ модѣ. Въ такихъ семьяхъ водили пчелъ, гордились жеребцомъ-битюкомъ сиво-желѣзнаго цвѣта и держали усадьбы въ порядкѣ. На гумнахъ темнѣли густые и тучные коноплянники, стояли овины и риги, крытые въ прическу; въ пунькахъ и амбарчикахъ были желѣзные двери, за которыми хранились холсты, прялки, новые полушубки, наборная сбруя, мѣры, окованныя мѣдными обручами. На воротахъ и на санкахъ были выжжены кресты. И помню, мнѣ порою казалось на рѣдкость заманчивымъ быть мужикомъ. Когда, бывало, ѣдешь солнечнымъ утромъ по деревнѣ, все думаешь о томъ, какъ хорошо косить, молотить, спать на гумнѣ въ ометахъ, а въ праздникъ встать вмѣстѣ съ солнцемъ, подъ густой и музыкальный благовѣстъ изъ села, умыться около бочки и надѣть чистую замашную рубаху, такіе же портки и несокрушимые сапоги съ мѣдными подковками. Если же, думалось, къ этому прибавить здоровую и красивую жену въ праздничномъ, живописномъ уборѣ да поѣздку къ обѣднѣ, а потомъ обѣдъ у бородатаго тестя,—обѣдъ съ горячей бараниной на деревянныхъ тарелкахъ и съ ситниками, съ сотовымъ медомъ и брагой,—такъ большаго и желать невозможно!

Складъ мелкопомѣстной дворянской жизни, который теперь сталъ сбиваться уже на мѣщанскій, въ прежніе годы, да еще и на моей памяти, т. е. очень недавно, имѣлъ много общаго со складомъ богатой мужицкой жизни по своей домовитости и сельскому, старосвѣтскому благополучію. Такова, на примѣръ, была усадьба тетки Анны Герасимовны Кологривовой, жившей отъ Выселокъ верстахъ въ двѣнадцать. Пока, бывало, доѣдешь до этой усадьбы,—день уже совсѣмъ разыграется. Съ собаками на сворахъ ѣхать приходится шагомъ, да и спѣшить не хочется,—такъ весело въ открытомъ полѣ въ солнечный и прохладный день! Мѣстность—ровная, и видно очень далеко. Небо—легкое, бирюзовое и такое

просторное и глубокое. Солнце сверкает сбоку, и дорога, укатанная послѣ дождей телѣгами, замаслилась и блеститъ, какъ рельсы. Вокругъ раскидываются широкими косяками свѣжія, пышно-зеленныя озими. Возьется откуда-нибудь ястребокъ въ прозрачномъ воздухѣ и точно замретъ на одномъ мѣстѣ, трепеща острыми крылышками. А въ ясную и чистую даль убѣгаютъ четко видныя телеграфныя столбы, и проволоки ихъ, какъ серебряныя струны, скользятъ по склону яснаго неба. На нихъ сидятъ копчики,—совсѣмъ черныя значки на нотной бумагѣ.

Эти телеграфныя столбы только одни составляли рѣзкій контрастъ со всѣмъ, что окружало старосвѣтское гнѣздо тетки. Крѣпостного права я не зналъ и не видѣлъ, но помню, что у тетки Анны Герасимовны чувствовалъ себя совершенно въ дореформенномъ быту. Въѣдешь во дворъ и сразу ощутишь, что тутъ крѣпостное право еще вполнѣ живо. Усадьба—небольшая, но вся старая и прочная, окруженная столѣтними березами и лозинами. Надворныхъ построекъ,—не высокихъ, но домовитыхъ,—множество, и всѣ онѣ точно слиты изъ темныхъ дубовыхъ бревенъ подъ соломенными крышами. Выдѣляется величиной или, лучше сказать, длиною только почернѣвшая людская, изъ которой выглядываютъ послѣдніе могикане двороваго сословія —какіе-то ветхіе старики и старухи, дряхлый поваръ въ отставкѣ, похожій на Донъ-Кихота. Всѣ они, когда въѣзжаешь во дворъ, подтягиваются и низко-низко кланяются. Сѣдой кучеръ, направляющійся отъ каретнаго сарая взять лошадь, еще у сарая снимаетъ шапку и по всему двору идетъ съ обнаженной головой. Онъ у тетки ѣздилъ „форейторомъ“, а теперь возитъ ее къ обѣднѣ,—зимой въ огромномъ возкѣ, а лѣтомъ въ крѣпкой, окованной желѣзомъ, телѣжкѣ, вродѣ тѣхъ, на которыхъ ѣздятъ попы. Отдаю ему лошадь и иду къ дому. Садъ у тетки славился своею запущенностью, соловьями, горlinkами

и яблоками, а домъ—крышей. Стоялъ онъ во главѣ двора, у самаго сада, такъ что вѣтви липъ обнимали его, былъ невеликъ и приземистъ, но казалось, что ему и вѣку не будетъ,—такъ основательно выглядывалъ онъ изъ-подъ своей необыкновенно высокой и толстой соломенной крыши, почернѣвшей и затвердѣвшей отъ времени. Мнѣ его передній фасадъ представлялся всегда живымъ; точно старое лицо глядитъ изъ-подъ огромной шапки впадинами глазъ,—окнами съ перламутровыми отъ дождей и солнца стеклами. А по бокамъ этихъ глазъ были крыльца,—два старыхъ, большихъ крыльца съ колоннами. На фронтоны ихъ всегда сидѣли сытые, бѣлые голуби, между тѣмъ какъ тысячи воробьевъ дождемъ пересыпались съ крыши на крышу... И уютно чувствовалъ себя гость въ этомъ гнѣздѣ, на тихомъ, кругломъ дворѣ, подъ бирюзовымъ осеннимъ небомъ!

Войдешь въ домъ и прежде всего услышишь запахъ яблокъ, а потомъ уже и другіе: старой мебели краснаго дерева, сушенаго липоваго цвѣта, который съ іюня лежитъ на окнахъ... Во всѣхъ комнатахъ:—въ лакейской, въ залѣ, въ гостиной,—прохладно и сумрачно: это оттого, что весь домъ окруженъ садомъ, а верхнія стекла оконъ цвѣтныя: синія и лиловыя. Всюду—тишина и чистота, хотя, кажется, кресла, столы съ инкрустаціями и зеркала въ узенькихъ и витыхъ, золотыхъ рамахъ никогда не трогались съ мѣста. И вотъ изъ гостиной слышится покашливанье: выходитъ тетка. Она небольшая, но тоже, какъ и все кругомъ, прочная. На плечахъ у нея накинута большая персидская шаль... Выйдетъ она важно, но привѣтливо, и сейчасъ же, подъ безконечные разговоры про старину, про наслѣдства, начинаютъ появляться угощенія: сперва „дули“, яблоки, — антоновскія, „бель-барыня“, боровинка, „плодовитка“, — а потомъ удивительный обѣдъ: вся насквозь розовая вареная ветчина съ горошкомъ, щи, фаршированная курица, индюшка, маринады и красный квасъ,—крѣпкій и удивительно

сладкій. Окна въ садъ, между тѣмъ, подняты, и оттуда вѣетъ бодрой осенней прохладой...

III.

„Ядреная антоновка—къ веселому году“... Увы, вѣроятно, антоновка плохо стала родить за послѣдніе годы, ибо деревенскія дѣла пошли очень невесело... И мнѣ вспоминается то, что за послѣдніе годы одно поддерживало угасающій духъ помѣщиковъ,—охота.

Лѣтъ двадцать тому назадъ такія усадьбы, какъ усадьба Анны Герасимовны, были въ нашей мѣстности еще не въ рѣдкость. Были и въ другомъ родѣ,—уже запущенныя, разрушающіяся, но еще жившія на широкую ногу: усадьбы съ огромнымъ помѣстьемъ, съ настоящими „помѣщичьими“ службами, съ садомъ въ 20—30 десятинъ и съ величавымъ барскимъ домомъ, украшеннымъ колоннами на главномъ фасадѣ. Правда, сохранились нѣкоторыя изъ такихъ усадебъ еще и до сего времени, но въ нихъ уже нѣтъ жизни... Нѣтъ троекъ, нѣтъ верховыхъ „киргизовъ“, нѣтъ гончихъ и борзыхъ собакъ, нѣтъ дворни и нѣтъ самого обладателя всего этого—помѣщика-охотника, въ родѣ моего покойнаго шурина Арсенія Семеныча Климентьева. Перевелись „витязи“ на святой Руси!

Къ теткѣ я ѣздилъ до самой глубокой осени, т. е. до поры, когда прекращалась охота съ борзыми. Но мои поѣздки имѣли всегда главной цѣлью усадьбу Арсенія Семеныча. Старое гнѣздо Анны Герасимовны было только перепутьемъ, и послѣ нея воспоминанія мои тотчасъ же переходятъ къ „Княжому“, его помѣстью и старому дому...

Съ конца сентября сады и гумна пустѣли. Погода, по обыкновенію, круто измѣнялась и дѣлала меня на время затворникомъ. Вѣтеръ по цѣлымъ днямъ рвалъ и трепалъ деревья, дожди поливали ихъ съ утра до

ночи. Иногда къ вечеру между хмурыми низкими тучами пробивался на западѣ трепещущій золотистый свѣтъ низкаго солнца; воздухъ дѣлался чистъ и ясенъ, а солнечный свѣтъ ослѣпительно сверкалъ между листовою, между вѣтвями, которыя живою сѣткою двигались и волновались отъ вѣтра. Но зато становилось еще холоднѣе не только на дворѣ, но, казалось, даже и въ домѣ съ еще не вставленными зимними рамами и съ раскрытымъ балкономъ. Холодно и ярко сіяло на сѣверѣ надъ тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а изъ этихъ тучъ медленно выплывали и четко вырисовывались на небѣ хребты снѣговыхъ горъ-облаковъ. Стоишь у окна, любишься красотою этой иллюзіи и думаешь: „авось, Богъ дастъ, распогодится“. Но вѣтеръ не унимался. Онъ волновалъ садъ, рвалъ непрерывно бѣгущую изъ трубы людской струю дыма и снова нагонялъ зловѣщія космы пепельныхъ облаковъ. Они бѣжали низко и быстро—и скоро, точно дымъ, затуманивали солнце. Погасалъ его блескъ, закрывалось окошечко въ голубое небо, а въ саду становилось пустынно и скучно, и снова начиналъ сѣять дождь... сперва тихо, осторожно, потомъ все гуще и, наконецъ, превращался въ ливень съ бурей и темнотою. Наступала долгая, тревожная и ненастная ночь...

Изъ такой трепки садъ выходилъ почти совсѣмъ обнаженнымъ, поломаннымъ, засыпаннымъ мокрыми листьями и какимъ-то притихшимъ и смирившимся. Но зато какъ красивъ онъ былъ, когда снова наступала ясная погода, прозрачные и холодные дни начала октября, прощальный праздникъ осени! Сохранившаяся листва теперь будетъ висѣть на деревьяхъ уже до первыхъ заморозковъ. Черный садъ будетъ сквозить на холодномъ бирюзовомъ небѣ и покорно ждать зимы, пригрѣваясь послѣ полудня въ солнечномъ блескѣ. А поля уже рѣзко чернѣютъ пашнями и ярко зеленѣютъ закустившимися озимями... Пора на охоту!

И вотъ я вижу себя въ усадьбѣ Арсенія Семеныча, въ большомъ домѣ, въ залѣ, полной солнца и дыма отъ трубокъ и папиросъ. Народу много,—все загорѣлые, съ обвѣтренными лицами помѣщики-охотники въ поддевкахъ и длинныхъ сапогахъ. Только что очень сытно пообѣдали, раскраснѣлись и возбуждены шумными разговорами о предстоящей охотѣ, но не забываютъ допивать водку и послѣ обѣда. А на дворѣ трубятъ рогъ и зываютъ на разные голоса собаки. Черный и высокій борзый кобель, любимецъ Арсенія Семеныча, пользуясь суматохой, взлѣзаетъ среди гостей на столъ и начинаетъ пожирать съ блюда остатки зайца подъ соусомъ. Но вдругъ онъ испускаетъ страшный визгъ и, опрокидывая тарелки и рюмки, срывается со стола: Арсеній Семенычъ, вышедшій изъ кабинета съ арапникомъ и револьверомъ, внезапно оглушаетъ залу выстрѣломъ. Залъ еще болѣе наполняется дымомъ, а Арсеній Семенычъ стоитъ и смѣется.

— Жалко, что промахнулся! — говоритъ онъ, играя глазами.

Онъ высокъ ростомъ, худощавъ, но широкоплечъ и строенъ, а лицомъ—совсѣмъ красавецъ-цыганъ. Теперь глаза у него блестятъ почти дико, и онъ очень ловокъ и колоритенъ въ своемъ щегольскомъ нарядѣ,—въ шелковой малиновой рубахѣ, въ бархатныхъ шароварахъ и длинныхъ сапогахъ. Напугавъ и собаку, и гостей выстрѣломъ, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, закуриваетъ папиросу и театрално, но съ чувствомъ, декламируетъ баритономъ:

Вчера зарей впервые у крыльца
Вечерній дождь звѣздами началъ стынуть.
Пора, пора сѣдлать проворнаго донца
И звонкій рогъ за плечи перекинуть!

и громко говорить, надѣвая шапку:

— Ну, однако, нечего терять золотое время. Ъдемъ!

И одинъ за другимъ вспоминаются мнѣ дни въ „отъѣ-
жемъ полѣ“...

Мнѣ кажется, что я сейчасъ еще чувствую, какъ жадно и емко дышала молодая грудь холодомъ яснаго и сырого дня подъ вечеръ, когда, бывало, ѣдешь съ шумной ватагой Арсенія Семеныча мимо сада въ поле, возбужденный предстоящей травлей или музыкальнымъ гамомъ собакъ, брошенныхъ въ чернолѣсье, въ какой-нибудь Красный Бугоръ или Гремячій Островъ, уже однимъ своимъ названіемъ волнующій охотника. Ёдешь на зломъ, сильномъ и приземистомъ „киргизѣ“, крѣпко сдерживая его поводьями, и чувствуешь себя слитымъ съ нимъ почти во-едино. Онъ фыркаетъ, просится на рысь, шумно шуршитъ копытами по глубокимъ и легкимъ коврамъ черной осыпавшейся листвы, и каждый звукъ гулко раздается въ пустомъ, сыромъ и свѣжемъ лѣсу. Тявкнула гдѣ-то вдалекъ собака, ей страстно и жалобно отвѣтила другая, третья—и вдругъ весь лѣсъ загремѣлъ, точно онъ весь стеклянный, отъ бурнаго лая и крика. Крѣпко грянулъ среди этого гама выстрѣлъ—и все „заварилось“ и покатилося куда-то вдаль.

— Береги-и!—завопилъ кто-то отчаяннымъ голосомъ на весь лѣсъ.

„А, береги!“—мелькнетъ въ головѣ опьяняющая мысль. Гикнешь на лошадь и, какъ сорвавшійся съ цѣпи, помчишься по лѣсу, уже ничего не разбирая по пути. Только деревья мелькаютъ передъ глазами, да лѣпнеть въ лицо грязью изъ-подъ копытъ лошади. Вскочишь изъ лѣсу, увидишь на зеленяхъ пеструю, растянувшуюся по землѣ, стаю собакъ и еще сильнѣе наддашь киргиза наперерѣзъ звѣрю,—по зеленымъ, взметамъ и жнивьямъ, пока, наконецъ, не перевалишься въ другой островъ и не скроется изъ глазъ стая вмѣстѣ со своимъ бѣшеннымъ лаемъ и стономъ. Тогда, весь мокрый и дрожащій отъ напряженія, осадить вспѣнненную, хрипящую лошадь и жадно глотаешь ледяную сырость лѣсной долины.

Вдали замирають крики охотниковъ и лай собакъ, а вокругъ тебя—мертвая тишина. Полураскрытый строевой лѣсъ стоитъ неподвижно, и кажется, что ты попалъ въ какіе-то заповѣдныя чертоги, въ безконечныя амфілады сказочныхъ покоевъ и колоннъ. Крѣпко пахнетъ изъ овраговъ грибною сыростью, перегнившими листьями и мокрою древесною корою. И сырость изъ овраговъ становится все ощутительнѣе, въ лѣсу холоднѣетъ и темнѣетъ и становится жутко... Пора на ночевку. Но собрать собакъ послѣ охоты трудно. Долго и безнадежно-тоскливо звенятъ рога по лѣсу, долго слышится крикъ, брань и визгъ собакъ... Наконецъ, все стихаетъ, и уже совсѣмъ въ темнотѣ крупнымъ шагомъ вваливается ватага охотниковъ въ усадьбу какого-нибудь почти незнакомаго холостяка-помѣщика и наполняетъ шумомъ весь дворъ усадьбы, которая весело озаряется фонарями, свѣчами и лампами, вынесенными навстрѣчу гостямъ изъ дому...

Случалось, что у такого гостепріемнаго сосѣда охота жила по нѣскольку дней. На ранней утренней зарѣ, по ледяному вѣтру и первому мокрому зазимку, уѣзжали въ лѣса и поле, а къ сумеркамъ опять возвращались къ сосѣду,—возвращались всѣ въ грязи, съ раскраснѣвшими лицами, пропахнувъ лошадинымъ по́томъ, шерстью затравленнаго звѣря,—и начиналась попойка. Въ свѣтломъ и людномъ домѣ очень тепло послѣ цѣлаго дня на холодѣ въ полѣ. Всѣ ходятъ изъ комнаты въ комнату въ разстегнутыхъ поддевахъ, беспорядочно пьютъ и ѣдятъ, шумно передавая другъ другу свои впечатлѣнія надъ убитымъ матерымъ волкомъ, который, оскаливъ зубы, закативъ глаза, лежитъ съ откинутымъ въ сторону пушистымъ хвостомъ среди зала и окрашиваетъ своей блѣдной и уже холодной, мертвой кровью полъ. Послѣ водки и ѣды чувствуешь такую сладкую усталость, такую нѣгу молодого сна, что какъ черезъ воду слышишь говоръ. Обвѣтренное лицо горитъ, а

закроешь глаза—вся земля такъ и поплыветъ подъ ногами. А когда ляжешь въ постель, въ мягкую перину, гдѣ-нибудь въ угловой старинной комнатѣ съ образничкой и лампадкой,—замелькаютъ передъ глазами призраки огнисто-пестрыхъ собакъ, во всемъ тѣлѣ заносетъ ощущение скачки, и не замѣтишь, какъ потонешь вмѣстѣ со всѣми этими образами и ощущеніями въ сладкомъ и здоровомъ снѣ, забывъ даже, что эта комната была когда-то молельной старика Нила Афанасьяча, имя котораго окружено мрачными крѣпостными легендами, и что онъ умеръ въ этой молельной,—вѣроятно, на этой же кровати.

Когда случалось проспать охоту, отдыхъ былъ особенно пріятенъ. Проснешься и долго лежишь въ постели. Во всемъ домѣ—мертвая тишина. Слышно, какъ осторожно ходитъ по комнатамъ садовникъ, растапливая печи, и какъ дрова трещать и стрѣляютъ. Впереди—цѣлый день покоя въ безмолвной уже по зимнему усадьбѣ. Не спѣша одѣнешься, побродишь по саду, найдешь въ мокрой листвѣ случайно забытое холодное и мокрое яблоко, и почему-то оно покажется необыкновенно вкуснымъ, совсѣмъ не такимъ, какъ другія. Потомъ позавтракаешь и примешься за книги,—дѣдовскія книги, въ толстыхъ кожаныхъ переплетахъ съ сафьяномъ и золотыми звѣздочками на корешкахъ. Славно пахнутъ эти похожія на церковные требники книги своей пожелтѣвшей, толстой и шаршавой бумагой! Какой-то пріятной кисловатой плѣсенью, старинными духами... Хороши и замѣтки на ихъ поляхъ, крупно и съ круглыми мягкими росчерками сдѣланныя гусинымъ перомъ. Напримѣръ, развернешь книгу и читаешь: „Мысль, достойная древнихъ и новыхъ философовъ, цвѣтъ разума и чувства сердечнаго“. И невольно увлечешься и самой книгой. Оказывается, что это—„Дворянинъ-философъ“, аллегорія, изданная лѣтъ сто тому назадъ ижживеніемъ такого-то „кавалера многихъ орде-

новъ“ и напечатанная въ „типографіи приказа общественнаго призрѣнія“,—разсказъ о томъ, какъ „дворянинъ-философъ, имѣя время и способность разсуждать, къ чему разумъ чловѣка возноситься можетъ, получилъ нѣкогда желаніе сочинить планъ свѣта на странномъ мѣстѣ своего селенія“. Потомъ наткнешься на „сатирическія и философическія сочиненія господина Вольтера“ и долго упиваешься милымъ и манернымъ слогомъ перевода: „Государи мои! Эразмъ сочинилъ въ шестомнадцатъ столѣтіи похвалу дурачеству (манерная пауза,—точка съ запятою); вы же приказываете мнѣ превознести предъ вами разумъ...“ Потомъ отъ екатерининской старины перейдешь къ романтическимъ временамъ, къ альманахамъ, къ сантиментально-напыщеннымъ и длиннымъ романамъ... Кукушка выскакиваетъ изъ часовъ и насмѣшливо-грустно кукуетъ надъ тобою въ пустомъ домѣ. И понемногу въ сердце начинается закрадываться какая-то сладкая и странная тоска...

Вотъ „Тайны Алексиса“, вотъ „Викторъ или дитя въ лѣсу“. „Бьетъ полночь!—читаешь ты съ тихой улыбкой.—Священная тишина заступаетъ мѣсто дневного шума и веселыхъ пѣсенъ поселянъ. Сонъ простираетъ мрачныя крылья свои надъ поверхностью нашего полушарія; онъ стрясаетъ съ нихъ макъ и мечты... Мечты!.. Какъ часто продолжаютъ онѣ токмо страданія злощастнаго!..“ И замелькаютъ передъ глазами любимыя старинныя слова: скалы и дубравы, блѣдная луна и одиночество, привидѣнія и призраки, „ероты“, розы и лиліи „проказы и рѣзвости молодыхъ шалуновъ“, мечты злощастнаго, лилейная рука, Людмилы и Алины... А вотъ журналы съ именами Жуковского, Батюшкова, лицеиста Пушкина. И съ грустью вспомнишь бабушку, ея полонезы и гроссъ-фатеръ на клавикордахъ, ея томное чтеніе стиховъ изъ „Евгенія Онѣгина“. И старинная, мечта-тельная жизнь встанетъ передъ тобою, какъ живая... Хорошія дѣвушки и женщины жили когда-то въ дво-

рянскихъ усадьбахъ! Ихъ портреты и дагеротипы глядятъ на меня со стѣны, аристократически-красивыя головки въ старинныхъ прическахъ кротко и женственно опускаютъ свои длинныя рѣсницы на печальные и нѣжные глаза...

Да развѣ могло все это не погибнуть при первомъ столкновеніи съ новой жизнью?..

IV.

Запахъ антоновскихъ яблокъ начинаетъ разсѣиваться и исчезаетъ изъ помѣщичьихъ усадебъ. Этотъ день въ имѣніи Нила Афанасьевича былъ такъ недавно, а между тѣмъ, мнѣ кажется, что съ тѣхъ поръ прошло чуть не цѣлое столѣтіе. Перемерли старики въ Выселкахъ, умерла Анна Герасимовна, застрѣлился Арсеній Семенычъ... И вотъ я уже пишу имъ эпитафіи.

Я надолго покинулъ родныя „палестины“, какъ любятъ говорить въ нашихъ мѣстахъ, а когда недавно заглянулъ въ нихъ, невесело встрѣтили меня родныя палестины. Старыя книги, старые портреты, разрозненные и никому ненужные, затерялись по городамъ, по мѣщанскимъ хуторкамъ, по ястребинымъ гнѣздамъ новыхъ помѣщиковъ,—гнѣздамъ, на которыя раздробились прежнія помѣстья и имѣнія. На весь нашъ уѣздъ осталось пять-шесть „барскихъ“ помѣстій; на весь уѣздъ теперь приходится три-четыре состоятельныхъ дворянина, но и они живутъ въ деревнѣ уже новою жизнью,—чаще всего лѣтомъ, на дачный ладъ. Наступаетъ царство мелкопомѣстныхъ, обѣднѣвшихъ до нищенства, и чахнувшихъ сѣрыхъ деревушекъ. Идетъ ноябрь, глухая пора деревенской жизни...

Скверное было утро, когда я покинулъ поѣздъ на нашемъ полустанкѣ, затерянномъ среди полей. И поля послѣ долгой городской жизни показались мнѣ мучительно бедными и скучными, когда мужикъ подѣ до-

ждемъ потащилъ меня на телѣгѣ къ старой нашей усадьбѣ... Деревушки надъ лощинами кажутся издали кучами навоза. Въ лѣсу,—голомя, мокромъ и черномъ,—синеватый туманъ, и шумитъ сырой вѣтеръ, а на проселочной дорогѣ—пустынно, какъ въ киргизской степи. Навстрѣчу попалась свадьба,—три телѣги съ бабами, покрывшимися отъ дождя армяками и подолами верхнихъ юбокъ. Бабы кричатъ пьяными голосами пѣсни, стараясь возбудить въ себѣ удалство и веселость. Одна даже стоитъ среди телѣги, машетъ платкомъ, съ криками погоняетъ веревочными возжами лошадей,—но лошади неловко тычутъ ногами, колокольчики звенятъ въ разбивку, телѣга не въ ладъ стучитъ по дорогѣ, удалая пѣсня выходитъ фальшивой... Слава Богу, свадьба скрывается! Навстрѣчу показываются болѣе подходящія къ этому сѣрому дню фигуры. Ѣдетъ кабатчикъ, возвращаясь изъ города съ винными ящиками, въ которыхъ тяжело бултыхается въ штофахъ зеленая влага; прокатилъ на дрожкахъ, весь закиданный грязью изъ-подъ колесъ, урядникъ, а за нимъ въ телѣжкѣ попъ,—рослый, рыжий попъ въ большой шапкѣ и въ тулупѣ съ поднятымъ воротникомъ, который повязанъ полотенцемъ, свернутымъ въ жгутъ на груди и завязаннымъ на спинѣ въ узелъ. А вотъ изъ-за бугра, сбѣгающаго къ лощинѣ, показываются и деревья нашего сада...

Однако, первымъ впечатлѣніямъ не слѣдуетъ довѣрять, деревенскимъ послѣ городскихъ—особенно. Проходитъ два-три дня, погода мѣняется, становится свѣжеѣ, и уже усадьба и деревня начинаютъ казаться иными. Начинаешь улавливать связь между прежней жизнью и теперешней, и то, что вспомнилось мнѣ при запахѣ антоновскихъ яблокъ,—здоровье, простота и домовитость деревенской жизни,—снова проступаетъ и въ новыхъ впечатлѣніяхъ то тамъ, то здѣсь. Прошло почти пятнадцать лѣтъ,—многое измѣнилось кругомъ, я и самъ пережилъ много, но я опять чувствую себя дома почти

такъ же, какъ пятнадцать лѣтъ тому назадъ: по-юношески грустно, по-юношески бодро. И мнѣ хорошо среди этой сиротѣющей и смиряющейся деревенской жизни.

Дни стоятъ синеватые, пасмурные, но свѣжіе. Утромъ я сажусь въ сѣдло и съ одной собакой, съ ружьемъ и съ рогомъ уѣзжаю въ поле. Вѣтеръ звонить и гудить въ дуло ружья, вѣтеръ крѣпко дуетъ навстрѣчу, иногда съ сухимъ свѣгомъ. Цѣлый день я скитаюсь по пустымъ равнинамъ, думаю, вспоминаю прошлое и все болѣе вхожу въ его вкусъ. Голодный и прозябшій, возвращаюсь я къ сумеркамъ въ усадьбу, и на душѣ становится такъ тепло и отрадно, когда замелькаютъ огоньки Выселокъ и потянетъ изъ усадьбы запахомъ дыма, жилья, осенней уютной и мирной жизни. Помню, у насъ въ домѣ любили въ эту пору „сумерничать“, т. е. не зажигать огня и вести въ полутемнотѣ бесѣды. Сумерничая и я. Войдя въ домъ, я нахожу зимнія рамы уже вставленными, и это еще болѣе настраиваетъ меня на мирный зимній ладъ. Въ лакейской работникъ топить печку, и я, какъ въ дѣтствѣ, сажусь на корточки около вороха соломы, рѣзко пахнущей уже зимней свѣжестью, и гляжу то въ пылающую печку, то на окна, за которыми, синѣя, грустно умираютъ осеннія сумерки. Потомъ иду въ людскую. Тамъ свѣтло илюдно: дѣвки рубятъ капусту, и я долго сижу съ дѣвками, глядя, какъ мелькаютъ сѣчки, и слушая ихъ дробный, дружный стукъ и дружныя, печально-веселыя деревенскія пѣсни... Иногда вечеромъ заѣдетъ какой-нибудь мелкопомѣстный сосѣдъ и надолго увезетъ меня къ себѣ... Хороша и мелкопомѣстная жизнь!

Хуторяне осенью чувствуютъ себя вообще недурно, особенно ежели годъ неурожайный и банкъ отсрочить уплату процентовъ. Хуторянинъ любитъ осень, потому что осенью есть хоть какая-нибудь охота, любить длинные вечера, долгую темную ночь въ тепломъ и уютномъ кабинетѣ. Встаетъ онъ рано. Крѣпко потя-

нувшись на лежанкѣ, отчего со стукомъ падаетъ на полъ кирпичъ съ ея угла („давно, давно пора вмазать этотъ кирпичъ,—да все не соберешься!“), онъ идетъ къ столу и, сопя, подымая брови и хмурясь, крутить толстую папиросу изъ дешеваго, чернаго табаку или просто изъ махорки. Блѣдный свѣтъ ранняго ноябрьскаго утра озаряетъ простой, съ голыми стѣнами кабинетъ, желтыя и заскорузлыя шкурки лисицъ надъ кроватью и коренастую фигуру въ шароварахъ и распоясанной косовороткѣ, а въ зеркалѣ отражается заспанное лицо татарскаго склада. Въ полутемномъ, тепломъ домикѣ стоитъ мертвая тишина. За дверь въ корридорѣ мирно похрапываетъ старая кухарка, жившая въ господскомъ домѣ еще дѣвчонкою. Это, однако, не мѣшаетъ барину хрипло крикнуть на весь домъ:

— Лукерья! Самоваръ!

Потомъ, надѣвъ сапоги, накинувъ на плечи поддевку и, не застегивая ворота рубахи, баринъ выходитъ на крыльцо. Въ теплыхъ запертыхъ сѣняхъ пахнетъ псиной; лѣниво потягиваясь, съ визгомъ зѣвая и улыбаясь, окружаютъ его гончія.

— Отрыжь!—медленно, снисходительнымъ басомъ говоритъ баринъ и черезъ садъ идетъ на гумно. Грудь его широко дышитъ свѣжимъ, рѣзкимъ воздухомъ зари и запахомъ озябшаго за ночь, обнаженнаго сада. Свернувшись и почернѣвшіе отъ мороза листья шуршатъ подъ сапогами въ березовой аллеѣ, вырубленной уже на полуvinу. Вырисовываясь на низкомъ сумрачномъ небѣ, спятъ нахохленные галки на гребнѣ риги... Славный будетъ день для охоты! И, остановившись среди аллеи, баринъ долго глядитъ въ осеннее поле, на пустынный, зеленые озими, по которымъ вдаль бродятъ телята. Двѣ гончія суки повизгиваютъ около его ногъ, а Заливай уже за садомъ: перепрыгивая по колкимъ жнивьямъ, онъ какъ будто зоветъ и просится въ поле. Но что сдѣлаешь теперь съ гончими? Звѣрь теперь въ полѣ, на взметахъ,

на чернотропѣ, а въ лѣсу онъ боится, потому что въ лѣсу вѣтеръ шуршитъ листвою... Эхъ, кабы борзья!

Въ ригѣ начинается молотьба. Медленно расходясь, гудитъ барабанъ молотилки. Лѣнливо натягивая постромки, упираясь ногами по навозному кругу и качаясь, идутъ лошади въ приводѣ. Посреди привода, вращаясь на скамеечкѣ, сидитъ погонщикъ и однотонно покрикиваетъ на нихъ, всегда хлестая кнутомъ только одного бураго мерина, который лѣнливѣе всѣхъ и совсѣмъ спитъ на ходу, благо глаза у него завязаны.

— Ну, ну, дѣвки! дѣвки! — строго кричитъ степенный подавальщикъ, облачаясь въ широкую холщевую рубаху.

Дѣвки торопливо разметають токъ, бѣгаютъ съ носилками, метлами.

— Съ Богомъ! — говоритъ, наконецъ, подавальщикъ, и первый пукъ старновки, пущенный для пробы, съ жужжаньемъ и визгомъ пролетаетъ въ барабанъ и растрепаннымъ вѣромъ возносится изъ-подъ него кверху. А барабанъ гудитъ все настойчивѣе и громче, оживленнѣе и дружнѣе закипаетъ работа, и скоро всѣ звуки сливаются въ общій веселый шумъ молотьбы. Баринъ стоитъ у воротъ риги и смотритъ, какъ въ ея темнотѣ мелькаютъ красные и желтые платки, руки, грабли, солома, и все это мѣрно двигается и суетится подъ гулъ барабана и однообразный крикъ и свистъ погонщика. Хоботѣ облаками летитъ къ воротамъ. Баринъ стоитъ, весь посѣрѣвшій отъ него, и лицо его задумчиво. Часто онъ поглядываетъ въ поле, вспоминаетъ банковскіе платежи, охоты, молодость, свое разоренье... А время наступаетъ хорошее: скоро-скоро забѣлѣютъ поля, скоро покроетъ ихъ зазимокъ...

Зазимокъ, первый снѣгъ! Какъ онъ оживитъ и освѣжитъ деревню, какъ обрадуется ему мелкопомѣстный баринъ! Борзыхъ нѣтъ, охотиться осенью не съ чѣмъ; но наступаетъ зима, и начинается „работа“ съ гончими.

И вотъ опять, какъ въ прежнія времена, съѣзжаются

мелкопомѣстные другъ къ другу, пьютъ на послѣднія деньги, по цѣлымъ днямъ пропадаютъ въ снѣжныхъ поляхъ. А вечеромъ на какомъ-нибудь глухомъ хуторѣ далеко свѣтятся въ темнотѣ зимней ночи окна флигеля. Тамъ, въ этомъ маленькомъ флигелѣ, плаваютъ клубы дыма, тускло горятъ сальныя свѣчи и идутъ разговоры о „прежнемъ“. Потомъ настраивается гитара...

На сумерки буенъ вѣтеръ загулялъ,
Широки мои ворота растворялъ...—

несмѣло начинаетъ кто-нибудь груднымъ теноромъ. Нѣсколько голосовъ нескладно, прикидываясь, что они шутятъ, подхватываютъ послѣднюю фразу:

Широки мои ворота растворялъ,
Бѣлымъ снѣгомъ путь-дорогу заметалъ!..

Но пѣсня разрастается сама собою. И еще до сихъ поръ звучить въ ней прежняя удалъ, теперь уже грустная и безнадежная, которая скоро и совсѣмъ замретъ, а какъ далекій отзвукъ былого сохранится только въ ней,—въ этой старой пѣснѣ...

ВЕЛГА.

Сѣверная легенда.

Слышишь, какъ жалобно кричить чайка надъ шумящимъ, взволнованнымъ моремъ?

Въ туманной дали, на западѣ, теряются его темныя воды; въ туманную даль, на сѣверъ, уходитъ каменистый берегъ. Холодно и вѣтрено. Глухой шумъ зыби, то ослабѣвая, то усиливаясь, — точно ропотъ сосноваго бора, когда по его вершинамъ идетъ и разрастается буря, — глубокими и величавыми вздохами разносится вмѣстѣ съ криками чайки... Видишь, какъ безпріютно вьется она въ тускломъ осеннемъ туманѣ, качаясь по холодному вѣтру на упругихъ крыльяхъ?

Это къ непогодѣ. Ночью разыграется буря.

День съ самаго утра хмурится. Здѣсь, на этомъ непривѣтливомъ сѣверномъ морѣ, на его пустынныхъ островахъ и побережьяхъ, почти круглый годъ ненастье. Теперь же осень, а сѣверъ еще печальнѣе осенью. Море угрюмо вздулось и становится темно-желѣзнаго цвѣта. Издали пелена его кажется выше, чѣмъ берегъ, и необозримою, суровою картиной уходитъ она въ туманный просторъ на западъ, а вѣтеръ все быстрѣе гонить съ запада волны и далеко разноситъ крики чайки.

— Крі-э! — жалобно и пронзительно звучить по вѣтру.

Утромъ она безпокойно и криво летала надъ самымъ приборомъ. Море непрерывно крутящимися валами окаймляло весь берегъ. Здѣсь очо, налетая на него съ разбѣга, цѣлыми водопадами клубящейся пѣны съ грохотомъ и шумомъ рыло подъ собою гравіи, тамъ, какъ кипящій снѣгъ, рассыпалось съ шипѣніемъ на камни и широко взлизывалось на берегъ, но тотчасъ же скользило, какъ стекло, назадъ, подпирая собою новый крутящійся валъ, а вдали расшибалось о камни и высоко взвивалось на воздухъ. И далеко гудѣлъ весь берегъ отъ прибоя... Чайка съ крикомъ бросалась между волнами, плавно соскальзывала внизъ по водѣ въ ихъ ухабы, выносилась на новой волнѣ до высокаго гребня и взлетала вся въ брызгахъ и пѣнѣ. Вѣтеръ вольно посилъ ее низко надъ моремъ.

Но потомъ она словно устала. Надвигается ненастный вечеръ, и ужъ безсильно качается чайка по вѣтру, все дальше уходитъ, бѣлѣя въ туманѣ, отъ берега въ море... Слышишь, какъ жалобно раздаются ея радостныя стenanія?

Вонъ она уже еле-еле виднѣется въ сумракѣ. Быстро спускается темная, бурная ночь; чаще и чаще то тамъ, то здѣсь мелькаютъ въ морѣ сѣдыя космы пѣны. Шумъ прибоя растетъ, ледяной вѣтеръ вздымаетъ и бѣшено срываетъ волны, разнося по воздуху брызги и рѣзкій запахъ моря.

— Крі-э!..— доносится откуда-то издалека, снизу.

Это мечется скорбная чайка... Слушай, я расскажу тебѣ, подъ шумъ бушующаго сѣвернаго моря, старую сѣверную легенду.

I.

Было это давно, въ пезапамятное время.

У холоднаго сѣвернаго моря жила молодая и сильная Велга. На закатъ были воды, на востокъ—только песча-

ный берегъ, близко за селеніемъ сходявшійся съ небомъ. Что было тамъ, къ востоку,—Велга не знала и не хотѣла знать. Она никогда не ходила къ востоку. Не ходилъ и отецъ ея, не ходила и мать, не ходила и старшая сестра, Снеггаръ. Они знали только море.

Возлѣ моря проходило и дѣтство Велги. Быстро проходило оно, и весело было ей въ дѣтствѣ! Зимой, когда море только подъ самымъ краемъ неба чернѣло волнами, а у береговъ было покрыто бѣлымъ снѣгомъ, Велга спала въ мягкомъ гагачьемъ пуху и, просыпаясь, видѣла передъ собою веселый свѣтъ очага среди темной и низкой хижины. Лѣтомъ, когда свѣтитъ солнце, дуетъ теплый вѣтеръ, и вода легко плещется въ морѣ, Велга искала на пескахъ яички зуйковъ и плавунчиковъ, или бѣгала къ прибою, ложилась ничкомъ головою па берегъ, а волны съ шумомъ обдавали ее сверху... Такъ забавлялась она лѣтомъ, и всегда съ Велгой были Ирвальдъ и Снеггаръ.

Толстая Снеггаръ часто смѣялась и пѣла, да не умѣла она такъ звонко кричать и такъ смѣло кидаться въ шумящее море, какъ Велга. Но Ирвальдъ умѣлъ: онъ всегда былъ и веселъ и ловокъ.

— Отчего ты не братъ мнѣ, Ирвальдъ?—сказала ему Велга.—Отчего у меня нѣтъ брата, котораго я любила бы такъ, какъ тебя, Ирвальдъ? Я бы не скучала безъ тебя долгую зиму.

Онъ взглянулъ на нее, улыбнулся и вдругъ кинулся къ морю.

-- Смотри, смотри: гагара!—закричалъ онъ ей.—Давай поймаемъ!

И они, какъ вѣтеръ, гнались другъ за другомъ, убѣгали туда, гдѣ въ прибрежныхъ пещерахъ звонко раздается голосъ, гдѣ у берега громоздятся высокія скалы, а тяжелая вода съ шумомъ поднимается и скользитъ между ними, шипитъ и кипитъ, опускаясь, и съ журчаньемъ, струями сливается съ плоскаго камня. Тамъ

дразнили они волны, близко подбѣгая къ нимъ, и усталые; засыпали крѣпкимъ, счастливымъ сномъ...

Зачѣмъ такъ быстро прошло дѣтство Велги?..

Но и потомъ еще долго радовалась она. Все нетерпѣливѣе проводила она долгія зимы въ хижинѣ, занесенной снѣгомъ. Стало ей четырнадцать лѣтъ, а Ирвальду—шестнадцать, и часто уѣзжалъ онъ теперь за рыбой въ море. Но зато какъ радовалась Велга, когда Ирвальдъ возвращался!

— Милый Ирвальдъ,—говорила она ему,—мнѣ хочется плакать, что такъ долго тебя не было, и хочется смѣяться, что я опять вижу тебя!

Но ужъ выросла и Снегаръ большая. И Ирвальдъ забывать сталъ о Велгѣ. Онъ часто сидѣлъ возлѣ Снегаръ и глядѣлъ въ ея веселое лицо. А Велга издали слѣдила за ними. Не хотѣлось ей при сестрѣ разговаривать съ Ирвальдомъ. Но когда онъ уходилъ по берегу къ своему дому, Велга догоняла его и провожала до самаго порога.

— Милый Ирвальдъ,—говорила она ему,—зачѣмъ ты такъ долго сидѣлъ возлѣ Снегаръ? Зачѣмъ горе мѣшаетъ моей радости?

И стала Велга одна на берегу моря пѣть звонкія и веселыя пѣсни сквозь слезы. А когда съ ней встрѣчались подруги, она замолкала, и лицо ея становилось сурово и гордо.

II.

Хижина отца Велги стояла одиноко, вдалекѣ отъ рыбацкаго селенья, на каменистомъ побережѣ, засыпанномъ жесткими песками, и въ часы прилива море добѣгало почти до ея порога.

Если же приливъ былъ въ бурю, то оно хлестало даже въ окна, затынутыя кишками гагары. Тогда Снегаръ обрывала веселую пѣсню, бросала въ испугѣ работу и

уходила отъ окопъ. Старая мать Велги бормотала закланія и съ тревогой прислушивалась къ завыванію вѣтра. Но сама Велга не боялась бури. Она вмѣстѣ съ отцомъ выходила на мокрый порогъ хижинны, скатывала на вѣтру сѣти, а потомъ вбѣгала въ воду, и холодная вода, поднимаясь и опускаясь, обнимала и мыла ее босыя ноги, обдавала ихъ шипящею, сѣрою пѣной и опутывала морскими блѣдно-зелеными травами. Она разрывала ихъ ногами и вдыхала сильной грудью свѣжій, влажный вѣтеръ, поднимала навстрѣчу ему голову, а вѣтеръ трепалъ ее русые волосы. Такъ стояла она, молодая и стройная, и лицо ея было смѣло и весело, а бирюзовые глаза зорко противъ бури глядѣли вдаль. Но только птицы св. Петра посились тамъ крикливыми стаями и по водѣ взбѣгали, распустивъ крылышки, на самыя высокіе гребни взмывающихъ и разсыпающихся водяныхъ бугровъ...

На что же смотрѣла Велга?

Дѣвушки стали называть ее печальною и злою, потому что никогда не смѣялась Велга по пустому и не пѣла съ сестрой за работой. Но никогда до пятнадцати лѣтъ не бывала Велга печальною и злою. Сердце ея было весело и отважно, какъ у молодой птицы, и радовалась Велга на бури и море, на солнце и землю, на свою дѣвичью свободу. Только грустила она безъ Ирвальда, потому что сильно хотѣлось ей рассказать ему, какъ хорошо жить на свѣтѣ...

А Ирвальдъ ужъ давно былъ въ морѣ. Утомилась Велга ходить по побережью и слѣдить за волнами; хотѣлось ей крикнуть черезъ море, что утомилась она ожидать Ирвальда, что нельзя ему любить Снеггаръ, если Велга уже не можетъ жить безъ него...

А когда подулъ теплый вѣтеръ съ заката, и стало опускаться къ морю солнце, Велга пришла къ сестрѣ и сказала ей:

— Милая Снеггаръ, хочешь, я расскажу тебѣ, какъ

ласковъ лѣтній вѣтеръ, какъ легко пахнетъ море водой, и какъ мнѣ грустно безъ Ирвальда?

— Не хочу, — отвѣчала Снегаръ, праздно и спокойно сидя у порога.

Велга отвернулась и ушла отъ нея. Она сѣла на берегу, опустивъ голову, и долго слушала, какъ плещется теплая вода въ сумеркахъ. Слезы, какъ теплая вода, падали на ея руки.

Вдругъ подъѣхалъ Ирвальдъ. Она вскрикнула, а онъ засмѣялся и приказалъ ей носить изъ лодки рыбу и сѣти на берегъ. Она послушно и долго трудилась съ нимъ, смущенно спрашивая его, куда онъ ѣздитъ, а когда сталъ подниматься надъ моремъ большой, блѣдный мѣсяцъ, она утомилась, сѣла въ пустую лодку и вздохнула ночнымъ вѣтромъ.

— Ирвальдъ, — сказала она, — знаешь, я часто плакала безъ тебя. Я быстро ходила по берегу и беспокойно билось и томилось мое сердце. Но, когда ты пріѣхалъ, мнѣ стало такъ легко и весело!

Но Ирвальдъ молча сидѣлъ на кормѣ и глядѣлъ на мѣсяцъ. Стыдно стало Велгѣ, что онъ не отвѣтилъ ей, и она, опустивъ глаза, спросила его тихо:

— Ты слышалъ мои слова, Ирвальдъ?

— Да, — сказалъ Ирвальдъ.

И тогда совсѣмъ низко наклонила Велга голову и проговорила Ирвальду:

— Возьми меня въ свой домъ, Ирвальдъ! Я буду ѣздить съ тобой въ море, буду всегда веселою для тебя, буду пѣть тебѣ пѣсни и работать съ тобой. Такъ хорошо жить на свѣтѣ съ тобой!

— Мы никогда не будемъ жить съ тобой, — твердо отвѣчалъ ей Ирвальдъ. — Завтра я опять уѣду въ лодкѣ, а когда вернусь, возьму за руку Снегаръ и уведу ее въ свое жилище. Тамъ проведемъ мы зиму, а лѣтомъ уплывемъ, какъ двѣ гагары, въ море.

— А я? — медленно сказала Велга и почувствовала,

какъ тяжело застучало ея сердце.—Я останусь одна?—громко сказала Велга и поднялась на ноги въ лодкѣ.

— Да,—отвѣтилъ Ирвальдъ.

Тогда Велга быстро прыгнула на берегъ и быстро пошла по берегу въ южную сторону. И когда далеко ушла туда, кинулась на сѣрый камень и закричала мѣсяцу, что ей больно въ сердцѣ, и зарыдала, и упала на камень.

III.

Слышишь, какъ дико завываетъ вѣтеръ во мракѣ?.. Непривѣтливо сѣверное море!

Три дня и три ночи пролежала Велга, обезсиленная горемъ, а на четвертое утро уже наступила осень, и зашумѣли въ тускломъ туманѣ отяжелѣвшія волны. И когда пахнуло на Велгу холоднымъ вѣтромъ, вскочила она и бросилась въ воду. Но волна поднялась и далеко отшвырнула ее на берегъ.

— Море не хочетъ, чтобъ я умерла,—сказала себѣ Велга.—Прежде я должна убить Ирвальда.

И молча возвратилась она домой. Высохли на щекахъ ея слезы, и спокойно было ея суровое лицо, но темно на сердцѣ.

— Снеггаръ, — сказала она сестрѣ, — уѣхалъ Ирвальдъ?

— Да,—отвѣчала равнодушно Снеггаръ.

— Когда вернется онъ?—спросила Велга.

— Когда начнетъ падать мокрый снѣгъ, и потемнѣетъ море,—отвѣчала Снеггаръ.

Тогда Велга съѣла рыбы и ушла на порогъ хижины. Тамъ съѣла она на вѣтру и просидѣла весь день, скорбно сдвинувъ брови. На почъ она вернулась подъ кровлю, а утромъ опять вышла за двери, ожидая Ирвальда. И такъ проводила она дни и ночи, пока не пошелъ первый мокрый снѣгъ.

„Скоро вернется Ирвальдъ,—думала Велга, и сладостная горечь обиды и злобы томительно вливалась въ ея сердце.—Я убью его, а потомъ и сама успокоюсь въ могилѣ“.

Но Ирвальдъ не возвращался. Уже надвигались сумерки, и все чаще стала Велга подниматься съ порога и, стоя, напряженно глядѣть въ море. А на морѣ еще никогда не поднималось такой яростной бури! И въ сумеркахъ изъ хижины вышелъ старый отецъ Велги. Онъ былъ могучъ, какъ старый утесъ среди моря, но лицо его было печально въ этотъ вечеръ, и вѣтеръ развѣвалъ его длинные, сѣдые волосы.

— Велга, дитя мое,—сказать онъ ласково, — отчего ты покинула родную хижину? Посмотри, поднимается зловѣщая ночная буря, передъ которой неутѣшно тоскуетъ сердце человѣка. Помоги мнѣ укрѣпить подпорками стѣны, положить камней на ихъ кровлю изъ кожи тюленей, и укроемся подъ кровлей отъ непогоды и ночи.

Отъ нѣжныхъ словъ дрогнуло сердце Велги жалостью къ самой себѣ, къ отцу и къ Ирвальду. Она поспѣшно стала помогать въ работѣ. Вѣтеръ валилъ ихъ съ ногъ и застилалъ весь воздухъ водяною пылью, словно въ морѣ бушевала вьюга. Въ самыя окна хижины хлестали волны косматой пѣной, и въ испугѣ Велга поспѣшила за отцомъ подъ кровлю.

Тамъ, въ темнотѣ ночи, вдругъ вспомнила она, какъ много лѣтъ назадъ, когда Ирвальдъ былъ еще ребенкомъ, онъ остался почевать, застигнутый бурей, въ ихъ хижинѣ. Онъ былъ въ эту ночь ея гостемъ, и она сама постлала ему постель и поцѣловала его, по обычаю гостепріимства, передъ сномъ. Она вспомнила веселое, милое ей, лицо его, и еще больше овладѣли ея сердцемъ жалость и любовь къ нему. Тогда она, забывъ, что хотѣла убить его, быстро встала съ ложа и въ тревогѣ стала слушать. Ей чудились въ шумѣ вѣтра его крики,

и всю ночь трепетала она отъ страха и, обезсиленная, забывалась сномъ лишь подъ утро.

Море же стало стихать; въ воздухѣ повѣяло дыханіемъ зимняго мороза. И когда Велга проснулась и отворила на дневной свѣтъ дверь дома, навстрѣчу ей переступила порогъ Снеггаръ.

— Велга!—сказала она и заплакала горькими слезами.—Буря унесла Ирвальда на дикіе острова Ледяного моря и разбила его лодку. Онъ одинъ теперь въ морѣ и ждетъ смерти отъ холода, голода и толстыхъ клювовъ морскихъ птицъ.

— Кто сказалъ тебѣ?—крикнула Велга.

— Я была у вѣщей Чарны, и она гадала мнѣ на кишкахъ гагары,—отвѣчала Снеггаръ и, закрывъ лицо руками, опустилась съ рыданіями на свое ложе.

— Снеггаръ....—нѣжно хотѣла проговорить Велга.

Но брови ея сурово сдвинулись, и она сильною рукою распахнула дверь дома.

— Молчи!—твердо сказала она.—Я люблю и ненавижу тебя!

IV.

Она быстро пошла по побережью на сѣверъ. Въ холодный, темный вечеръ вступила она въ хижину Чарны, теплую отъ костра, пылающаго краснымъ пламенемъ.

— Научи меня, о, вѣщая!—воскликнула она передъ Чарной.—Укажи путь къ Ирвальду!

— Поспѣши!—сказала Чарна.—Два дня и двѣ ночи надо плыть къ Ирвальду. Не поспѣешь къ разсвѣту третьяго дня, — онъ погибнетъ. Но скажи мнѣ, Велга, слыхала ли ты о пустыняхъ Ледяного моря, гдѣ такъ же дико и печально, какъ и въ первые дни міра? Можешь ли ты навѣки покинуть родную хижину?

Какъ пойманная рыба, затрепетало сердце Велги, но съ пылающимъ лицомъ она отвѣтила Чарнѣ:

— Пожалѣй меня, Чарна! Я молода, и мнѣ грустно разстаться съ жизнью. Но, если такъ надо, скажи только, что будетъ со мною?

— Два дня и двѣ noci проведешь ты въ тоскѣ и страхѣ, среди моря,—сказала Чарна.—А когда ступишь на островъ, гдѣ томится Ирвальдъ, обратишься ты въ чайку, и не узнаешь онъ, для кого ты погибла. Таково повелѣніе рока.

Какъ первый снѣгъ, поблѣднѣла Велга, по глаза ея сверкнули радостью и она отвѣчала Чарнѣ:

— Я иду, Чарна!

— Поспѣши,—сказала Чарна,—уже кровавая полоса зари меркнетъ за моремъ подъ черными тучами.

Противъ вѣтра, по мокрому песку побережья побѣжала Велга къ шумящему, темному морю. Хотѣлось ей крикнуть „прости“ сестрѣ, отцу и матери, но безпокойно билась у берега лодка на волнахъ, и быстро прыгнула въ нее Велга. На закатъ, гдѣ едва свѣтила кровавая полоса зари, направила она лодку, и стояла, качаясь на волнахъ, и слезы горѣли на ея глазахъ, а вѣтеръ развѣвалъ въ темнотѣ ея бѣлую одежду и дулъ въ лицо съ Ледяного моря.

V.

Она летѣла, какъ чайка. Сердце ея сжималось отъ боли, въ ожиданіи гибели, но все-таки не хотѣло оно вѣрить, что не узнаетъ Ирвальдъ, для кого она погибла.

И жутко стало Велгѣ, когда на разсвѣтѣ увидала она себя окруженной блѣднымъ, холоднымъ моремъ, у песчаного, пустынного острова. Никого не было на томъ островѣ. Только вода взбѣгала на его песокъ и бѣлѣла по краямъ пѣной. „Водяные пастушки“, на высокихъ и тонкихъ ногахъ, бѣгали у прибоя и искали среди раковинъ пищи. „Но и водяныхъ пастушковъ“ было мало. Они почти всѣ улетѣли на зиму къ берегамъ, гдѣ

дуютъ теплыя вѣтры. И еще нѣжнѣе загрузило сердце Велги.

А Ледяное море уже начиналось. Цѣлый день плыла Велга, и вступила въ тѣ безграничныя воды, что уходятъ на край свѣта и сливаются съ небомъ. Все тяжелѣе стучали волны въ дно лодки, потому что уже нѣтъ земли подъ тѣми волнами. Дикія сѣверныя птицы живутъ въ тѣхъ моряхъ, вдали отъ людей, на скалистыхъ островахъ. Онѣ сильны и одѣты плотнымъ пухомъ; онѣ всю зиму могутъ плавать среди льдовъ и глубоко ныряютъ въ ледяную воду. Тысячи ихъ гнѣздились на островахъ, и каждый островъ, какъ снѣгомъ, бѣлѣлъ птицами. Тамъ были гнѣзда на уединенныхъ утесахъ и въ порахъ, подъ утесами... И въ сумеркахъ проплыла Велга мимо самаго большого острова.

Онъ весь, сверху донизу, былъ покрытъ, какъ сѣрою корою, засыхающимъ пометомъ птицъ, ихъ перьями и пухомъ. Птицы длинными рядами сидѣли на всѣхъ уступахъ скаль. Внизу гнѣздились тѣ, которыя были поменьше, наверху стояли и дремали самыя большія и прожорливыя, съ бѣлыми животами и черными спинами, съ толстыми шеями и маленькими головами, съ блестящими глазами въ кольцахъ бѣлаго пуха и съ огромными, уродливыми клювами, съ крѣпкими, грубыми лапами и короткими руками безъ пальцевъ. Птицы громко и злобно разговаривали, а какъ только наступили сумерки, и Велга, обезсиленная борьбой съ морознымъ вѣтромъ, причалила къ берегу на отдыхъ, тысячи ихъ поднялись съ шумомъ надъ нею, а самыя большія заготовали и заревѣли дико и радостно, стараясь перекрычать другъ друга... И, какъ снѣгъ, поблѣднѣла Велга, собрала послѣднія силы и опять прыгнула въ лодку.

Она снова летѣла, какъ чайка. Ледяной туманъ окутывалъ ее мглой, плывя оттуда, гдѣ море сливается съ небомъ. Но уже не плакала и не грустила Велга

теперь. Она трепетала отъ скорби предъ гибелью и отъ радости за Ирвальда.

И къ вечеру послѣдняго дня показался среди сѣдого и пасмурнаго тумана высокій и дикій утесъ на краю свѣта,—тотъ, до котораго доходили только могучіе вѣкинги и вбили въ него желѣзные кольца, чтобы привязывать лодки. Яростный шумъ и гулъ буруновъ сливался тамъ съ тысячеголосными криками хищныхъ птицъ, кружившихся въ туманѣ. А Ирвальдъ лежалъ у прибоя, обезсиленный предсмертнымъ сномъ отъ холода и голода. Онъ былъ блѣденъ, какъ морская пѣна, и въ кудряхъ его былъ мокрый песокъ.

— Ирвальдъ!—крикнула Велга страстно и звонко.

Отъ звука ея голоса мгновенно очнулся Ирвальдъ. Хотѣла Велга крикнуть ему, что она любитъ его, какъ въ дѣтствѣ, но не коснулись ея ноги земли, когда она прыгнула съ лодки на берегъ: въ воздухѣ повисла она бѣлою чайкой на крыльяхъ, и крикъ ея раздался жалобно-радостнымъ крикомъ чайки надъ Ирвальдомъ. Онъ мгновенно очнулся отъ крика, — голосъ друга коснулся его сердца, — но, взглянувъ, онъ увидѣлъ лишь бѣлую чайку, взлетѣвшую съ крикомъ надъ лодкой...

Такъ погибла Велга, и возвратился къ жизни тотъ, кого она любила.

Онъ уплылъ на востокъ. Она долга вилась надъ водой, провожая Ирвальда. А когда онъ сокрылся вдали, закачалась она безпріютною чайкой по вѣтру. Такъ тоскуетъ она и донинѣ, вспоминая утесы въ туманѣ, гдѣ когда-то томился Ирвальдъ... Но въ степеніяхъ ея звучить радость...

Въ морѣ бури бушуютъ, скорби жизнь омрачаютъ, и гибнуть, какъ въ морѣ, въ страданіяхъ люди. Неприятливо грозное море, много въ жизни страданій, но великая радость—страданье за брата!

С К И Т Ъ.

Были свѣтлыя майскія сумерки, когда я подъѣзжалъ верхомъ къ караулкѣ. Лошадь легко и бодро шла по узкой дорогѣ среди березоваго и дубоваго лѣса, полнаго свѣжей поросли осинокъ и орѣшника, и въ полусумракѣ ясно раздавался трескъ каждаго сухого сучка подъ копытомъ. Въ старомъ „заказѣ“ все было молодо и зелено въ этотъ вечеръ, и соловьи нѣжно и отчетливо выщелкивали по сторонамъ, звонко перекликаясь съ эхо. Уже и солнце давно зашло, и алыя пятна заката слабѣли, сквозя по лѣсу, направо, но не было замѣтно, чтобы лѣсъ готовился ко спу. Горлилки журчали гдѣ-то поблизости, кукушка глухо и настойчиво куковала въ отдаленіи... Въ майскія ночи, когда, какъ говорить народъ, „заря зарю встрѣчаетъ“, сонъ слабъ и недологъ, и до утра брезжитъ надъ землей полусвѣтъ.

А на полянѣ было и совсѣмъ свѣтло. Въ лощинѣ зеркаломъ стоялъ большой, полный прудъ, лѣсъ окружалъ поляну высокій и живописный, и палѣво, какъ разъ напротивъ широкаго блѣдно-алаго заката, рисовался надъ столѣтними березами и дубами блѣдный и прозрачный щитъ мѣсяца. Старикъ сидѣлъ надъ самымъ прудомъ, на пнѣ, среди травы, и заботливо подбрасывалъ сухіе прутики въ жаркій и веселый костерчикъ разведенный въ земляной печкѣ подъ котелкомъ. Какъ и всегда, онъ былъ „прибранъ на случай смерти“, т. е.

одѣтъ въ чистыя, хотя и заплатанныя портки и рубаху, причѣмъ онучи надъ лаптями были аккуратно подвязаны оборочками. Николаевскій солдатъ еще сохранился въ немъ, но было уже что-то покорное и глубоко-старческое во всей его фигурѣ. Онъ сидѣлъ, поставивъ на колѣни руки и положивъ въ ладони голову, смотрѣлъ на огонь, а самъ напѣвалъ тихимъ и тонкимъ, совсѣмъ женскимъ голосомъ.

— Или карасиковъ наловилъ, Мелитонъ? — спросилъ я какъ можно веселѣе, соскакивая съ лошади.

Но тутъ произошло то же, что и всегда: мирное одиночество было прервано, и старикъ поднялся во весь ростъ, безпрекословно готовый къ услугамъ. Какъ и всегда, онъ мгновенно принялъ безстрастное выраженіе и такъ глубоко затаилъ свою постоянную печаль, что, казалось, никогда не узнаешь ея причины. Но печаль эта чувствовалась, и неловко было смотрѣть въ бирюзовые грустные глаза подъ сдвинутыми бровями и видѣть вмѣстѣ съ этимъ солдатскую подтянутость фигуры. Росту Мелитонъ былъ высокаго, фигура у него была худая и костлявая. Густыя сѣрыя брови и усы сходящіеся на щекахъ со щетинистыми бакенбардами, а больше всего пробритый подбородокъ — придавали ему солдатскій видъ; но лысина, бирюзовые глаза и чистая крестьянская одежда, свидѣтельствующая о готовности лечь „подъ святыне“ когда угодно, говорили о кроткой, отшельнической жизни.

Когда картошки въ чугуничкѣ стали сипѣть, Мелитонъ потыкалъ въ нихъ сухой щепочкой и снялъ чугуничкъ съ огня. Огонь сталъ потухать, и только красная грудка жара свѣтилась въ земляной печкѣ. Возлѣ нея пахло сгорѣвшими дубовыми листьями, а когда старикъ сталъ чистить картошки, запахло такъ вкусно, что я попросилъ и себѣ парочку. И мы молча стали ужинать возлѣ неподвижнаго, потемнѣвшаго пруда, въ

тишинѣ непогасавшей весенней зари. Закатъ алѣлъ нѣжно и прозрачно, и казалось, что за лѣсомъ разсвѣтаетъ.

— Мелитонъ,—спросилъ я съ юношеской простодушностью,—правда, тебя сквозь строй прогоняли?

— Правда-съ,—отвѣтилъ онъ просто и кратко.

И лицо у него осталось все такимъ же безстрастнымъ, только въ глазахъ и скорбно сдвинутыхъ бровяхъ глубоко таилась давнишняя, непроходящая печаль.

Онъ ушелъ въ избу, а я долго сидѣлъ одинъ, глядя на свѣтъ зари и на тлѣющіе, раскаленные уголья. Появился онъ изъ сумрака неслышно и принесъ съ собою большой ломоть ржаного хлѣба, ножикъ, сдѣланный изъ старой косы, и горсть соли. Когда онъ клалъ все это на траву, я опять спросилъ:

— А правда, ты умѣешь заговаривать и отворять кровь?

— Когда рука была поврежде, отворялъ,—отвѣтилъ онъ, съ трудомъ садясь на пенъ.

Нервно и ласково виляя хвостомъ, изъ сумрака появился и Крутикъ, маленькій, веселый, но отчаянно злой, несмотря на свою ласковость. Онъ тоже сѣлъ возлѣ огня, съ удовольствіемъ зѣвнулъ, облизнулся и сталъ слѣдить глазами за каждымъ движеніемъ Мелитона, чистившаго горячія разсыпчатая картошки. Соловьи пѣли попрежнему, страстно и отчетливо заливаясь нѣжно-удалой пѣсней.

— Жена-то у тебя давно померла?—спросилъ я еще разъ.

— Восьмой годъ-съ. Да вѣдь ихъ у меня двѣ были.

— А дѣти?

— Дѣтей у меня шесть человѣкъ было.

— Живы?

— Нѣтъ-съ, четверо померло, двое осталось. Одинъ на Ворглѣ у барина Нечаева служить, другой у лавошника на станціи.

И опять Мелитонъ замолчалъ, со старческой осторожностью прожевывая горячую картошку. Я вглядывался въ его лицо, пока онъ сидѣлъ съ опущенными глазами, и опять рѣшилъ, что никогда не проникнуть мнѣ въ тайну его печальной молчаливости... Онъ кротко и безпомощно взглянулъ на меня,—я отвернулся. И такъ какъ мнѣ было тогда девятнадцать лѣтъ, то, помню, меня умилила и эта тихая ночь въ лѣсу, и грустный старикъ, всегда „прибранный“ къ смерти, и его ужинъ. Лѣсъ, небо, дубовая караулка, пучки какихъ-то травъ и вѣничковъ въ сѣнцахъ подъ крышей между сухой листвою рѣшетника... На ногахъ старика лыковые лапти, на тѣлѣ—чистая замашная рубаха... Какъ хорошо и самому прожить такую же чистую и простую жизнь! .

— Для кого онъ собираетъ и вяжетъ эти вѣнички? думалъ я, внутренне улыбаясь. Вяжутъ ихъ изъ „перекати-поля“ и у старосвѣтскихъ помѣщиковъ еще до сихъ поръ чистятъ ими платье. Они очень душисты; въ дѣтствѣ я самъ собиралъ ихъ... Воспоминаніе объ этомъ и какая-то связь между воспоминавіями и Мелитономъ еще болѣе тронули меня, и я сказалъ, подымаясь:

— Совсѣмъ у тебя скитъ, Мелитонъ!

Старикъ улыбнулся.

— Въ скиту часовенки бываютъ-съ,—сказалъ онъ, бросая корки хлѣба Крутику, и залилъ водой изъ чугуничка уголья. Они зашипѣли и померкли. И тотчасъ же стало видно, что въ лѣсу воцарилась свѣтлая лунная ночь, что поляна освѣщена сіяющимъ мѣсяцемъ, а чащи почернѣли и отдѣлились отъ нея. И ночь казалась еще красивѣе и веселѣе отъ того, что къ сѣверу за лѣсомъ теплилась вечерняя заря. Крутикъ, какъ только поужинать, тотчасъ же принялся за свою ночную работу. Онъ со звонкимъ лаемъ хлопоталъ то тамъ, то здѣсь за караулкою, и было похоже, что весь лѣсъ полонъ злыми и неугомонными собачонками. Мелитонъ зажегъ лампочку въ избѣ, настилая мнѣ на коникѣ

сѣна,—окошечки подъ ея старой нахлобученной крышей засіяли, какъ два золотые глаза... Потомъ онъ вынесъ лампочку въ сѣни. Я вошелъ туда, и онъ опять улыбнулся мнѣ.

— А то вотъ-съ на мою коечку ложитесь,—сказалъ онъ, указывая глазами на свою кровать.

Подъ крышей мягко и фантастично переламливались наши большія тѣни; а въ углу, направо отъ входа, было устроено нѣчто въ родѣ паровой койки на высокихъ ножкахъ изъ бревенъ. На ней было постлано сѣно, прикрытое попоной и возвышавшееся къ изголовью.

— Да какой теперь сонъ,—сказалъ я,— скоро ужъ и разсвѣтаетъ станетъ.

— Скоро-съ,—согласился Мелитонъ безстрастно.

И дѣйствительно, мы только подремали. Въ темной избѣ было прохладно, въ окошечки виднѣлись зеленоватые кусочки лунной ночи. Но что-то не давало мнѣ спать; достаточно было тонкаго напѣва комара, чтобы сонъ исчезалъ куда-то. Я слушалъ Крутика, соловьевъ, думалъ о чемъ-то, чего не вспомнишь, какъ всегда въ безсонную ночь... Не спалъ и Мелитонъ. Его донимали блохи.

— Ну, ужъ погоди. окаянный, отучу я тебя спать подъ койкой!—бормоталъ онъ изрѣдка.

Потомъ онъ кашлялъ, вздыхалъ и что-то шепталъ... Наконецъ, я услышалъ его шаги подъ окнами. Я выпулся изъ окна на прохладу ночного воздуха. Мелитонъ меня не замѣчалъ. Онъ сидѣлъ на порогѣ, опустивъ голову, не спѣша растиралъ на ладони листовой табакъ и опять напѣвалъ грустнымъ, женскимъ голосомъ.

— Ахъ, Господи-Батюшка!—прошепталъ онъ съ глубокимъ вздохомъ, покачивая головой и высѣкая огонь. И закуривъ трубку, оперся на руку и заплѣлъ внятнѣе, хотя попрежнему мягко и задушевно.

Слышно было, что рассказывалъ онъ въ пѣснѣ про зеленые сады и напоминалъ кому-то съ добрымъ уко-

ромъ тѣ мѣста, гдѣ „скончалась—распрощалась, ахъ, да прежняя любовь“... А ночь такъ и сіяла. Все замерло, мѣсяцъ выбрался на середину неба надъ самымъ прудомъ. Изрѣдка по водѣ что-то струисто поблескивало, точно по водѣ скользилъ серебристый ужъ. У противоположнаго берега воды какъ-будто не было. Тамъ была свѣтлая бездна въ другое, подземное небо. Вѣковые дубы и березы стояли на берегу и казались теперь выше и стройнѣе, чѣмъ днемъ. Таинственно въ росистой и темной чащѣ лѣса ночью! Но еще таинственнѣе былъ тотъ лѣсъ, который, вверхъ корнями, темнѣлъ подъ берегомъ, уходя внизъ вершинами. А налѣво уже занималась утренняя заря; небо тамъ стало стекловидно-зеленое, за опушкой лѣса, далеко въ полѣ, начали свѣжо и отчетливо перекликаться перепела... Я закрылъ глаза... Когда же я очнулся, было уже свѣтло. Прудъ дымился, поляна посѣдѣла отъ холодной крупной росы, зеленый лѣсъ неподвижно стоялъ вокругъ пруда, и зелень его была теперь еще какъ будто пышнѣе и гуще, какъ бываетъ только въ маѣ... Все точно умылось къ утру и ждало его въ спокойной и ясной тишинѣ. А потомъ въ окна потянуло свѣжестью, въ прудѣ заквакали лягушки, и пѣтухъ, сильно и выпукло захлопавъ крыльями, заоралъ въ сѣнцахъ хриплымъ басомъ. Мелитонъ, покорно согнувшись, шелъ отъ пруда съ тяжелымъ, полнымъ ведромъ, изъ котораго плескалась вода, и оставлялъ за собой длинный, свѣже-зеленый слѣдъ по сѣдой полянѣ...

Въ тотъ же день я уѣхалъ на югъ, а потомъ за границу и совсѣмъ не замѣтилъ, какъ прошла осень. Изрѣдка только вспоминалась мнѣ Россія. И тогда она казалась мнѣ такой глухой страной, что въ голову приходили Гостомысль, древляне, татарщина... Какая темная, сырая осень! Тучи низко идутъ надъ полями и грязными поселками, въ туманномъ отъ мелкаго дождя полѣ одиноко сидить нахохлившись грачъ на пашнѣ, а на межахъ вѣтеръ качаетъ бурьянъ. Въ голомъ, рѣд-

комъ лѣсу почернѣла отъ дождя стѣна караулки, передъ порогомъ стоитъ огромная лужа, полная гнилыхъ листьевъ. Въ избѣ темно и сыро. А ночью бушуетъ въ лѣсу буря, и ночь длится чуть не двадцать часовъ. Какое нужно терпѣніе, чтобы покорно пережить эту безконечную осень!

Когда я вернулся въ Россію, все было уже подъ снѣгомъ. Двое сутокъ поѣздъ мчалъ меня по снѣжнымъ равнинамъ и лѣсамъ. Въ Россіи былъ голодъ; но почти весь декабрь стояли хмурые дни, и густой иней нарасталъ подъ сѣрымъ и низкимъ небомъ на деревьяхъ и телеграфныхъ проволокахъ: это предвѣщало урожай. И первое, что сказалъ мнѣ на станціи нашъ кучеръ, было слово „иней“. На меня пахнуло чѣмъ-то роднымъ, знакомымъ, и я весело вышелъ садиться въ сани.

Отъ инея посѣрѣли и стали кудрявыми шапки, бороды, лошади и тяжелая, холодная волчья полость въ саняхъ. Въ сумеркахъ сливались небо, воздухъ и глубокіе снѣга, завалившіе весь дворъ станціи. Я сѣлъ въ бѣгунки одинъ, послалъ впередъ троечныя сани съ вещами и приказалъ ѣхать веселѣе. Кучеръ, стоя въ саняхъ, перевалился за высокій сугробъ на выѣздъ въ поле и щибко погналъ по глубокой снѣжной дорогѣ. Я отсталъ.

Тогда мало-по-малу смѣшалось сѣрое небо съ сѣрыми полями. Морозило, иней на межахъ наслѣлъ на бурьяны такъ густо, что они, какъ огромные серебряные напоротники, лежали, пригнувшись къ землѣ. Потомъ уже ничего нельзя было разглядѣть въ сѣдой мглѣ ночи. Чувствуешь только запахъ снѣга и слышишь какой-то шопотъ: это шуршатъ полозья. И поминутно теряется представленіе о томъ, куда ѣдешь.

— Все-таки славно дома! — думалъ я, потрогивая лошадь.

Но вотъ во мглѣ на горизонтѣ стало свѣтлѣть. Пробиваясь сквозь нее огненно-малиновымъ шаромъ, сталъ

подыматься большой мѣсяцъ, еще мутный и перерѣзанный пополамъ лиловатой, длинной тучкой. Подымаясь онъ свѣтлѣлъ, оставивъ тучку ниже себя, а самъ становился все золотистѣе и прозрачнѣй, и, наконецъ, отъ лошади и саней обозначались направо тѣни. Когда же я подѣхалъ къ заказу, вѣхалъ въ сумракъ, лежавшій отъ него по полю и фантастично испещренный узорами свѣта,—вся снѣжная даль направо была озарена ярко и сіяла.

А въ лѣсу было сказочное мертвое царство. Деревья въ пушистомъ инеѣ казались огромными; они стояли, низко опустивъ свои тяжелыя, кудрявыя вершины, а мѣсяцъ, какъ электрическій свѣтъ въ оперной декорации, серебрилъ ихъ. Порою, на снѣжной полянѣ, онъ смотрѣлъ прямо на меня, порою я вѣзжалъ въ сумракъ, и мѣсяцъ таинственно сквозилъ за сказочными снѣжными деревьями... Но вотъ красновато-золотистой звѣздочкой засвѣтился огонекъ въ караулкѣ, и по всему чуткому, морозному лѣсу пошелъ звонкій, разбѣгающійся по чащамъ, лай Крутика.

У дубка передъ караулкой я привязалъ лошадь, причемъ съ дубка бенгальскимъ огнемъ сыпались искры снѣга, а Крутикъ извивался у меня подъ ногами. Потомъ я постоялъ и послушалъ глубокую тишину лѣса, осторожно подошелъ къ заваленкѣ и заглянулъ въ верхній кусочекъ полузамерзшаго окна... И глухая, отшельническая жизнь старика снова поразила меня своей мужицкой, древне-русской суровостью. Въ глубинѣ слабоосвѣщенной, закопченной избы онъ стоялъ передъ иконой и, закрывая глаза, кланялся ей въ поясъ, точно сокрушаемый великими грѣхами. Должно быть, онъ только что выкупался, — конечно, въ ледяныхъ сѣнцахъ, гдѣ рѣшетникъ въ инеѣ сверкалъ при лампочкѣ своею серебряною бахромою... Рѣдкіе волосы его были мокры и причесаны, подбородокъ чисто пробритъ, длинная бѣлая рубаха аккуратно подпоясана. И когда онъ закидывалъ

назадъ голову и долго стоялъ такъ съ закатившимися подъ лобъ глазами, я видѣлъ на его лицѣ такую старческую скорбь, такую восторженно-грустную готовность принять тихую, желанную смерть, какихъ я еще никогда не видалъ прежде.

Говорилъ онъ опять мало, хотя былъ ласковъ. Въ избѣ было тепло и сыро, какъ въ банѣ; я скинулъ шубу и сидѣлъ на лавкѣ у столика. А старикъ стоялъ передо мною, отвѣчалъ не спѣша и все прикрывалъ глаза. Наконецъ, уже собираясь уѣзжать, я какъ будто мимоходомъ спросилъ:

— Мелитонъ, отчего это ты такой скучный?

Онъ удивился.

— Я-съ?—спросилъ онъ растерянно. —Я ничего-съ... Известно, старость.

— Или горе у тебя какое?—сказалъ я, заглядывая ему въ глаза.

— Избави Богъ-съ!—сказалъ онъ поспѣшно.—Я караю-съ...

— Да нѣтъ, я не про то,—сказалъ я, смутившись.—Я такъ спросилъ...

Онъ понялъ, успокоился и нѣжно улыбнулся, прикрывая глаза.

— А я думалъ обида какая-съ,—сказалъ онъ ласково.—А что я невеселый, такъ какое же веселье? И грѣховъ много-съ...

Я перебилъ его:

— Какіе же у тебя грѣхи, Мелитонъ!

— Грѣхи-съ у всякаго-съ есть,—сказалъ онъ со вздохомъ, кротко и серьезно.—На то и живемъ-съ, чтобы за грѣхи каяться.

— Да ты и то какъ святой живешь,—сказалъ я, улыбаясь.—Ты вонъ постишься цѣлый вѣкъ...

Онъ опять удивился и даже слегка нахмурился.

— Ъмъ-съ, какъ всѣ,—сказалъ онъ скороговоркой.—Живутъ хуже моего-съ, всѣ такъ живутъ...

Я вздохнулъ и сталъ надѣвать шубу.

— Ну, прощай!—сказалъ я, отворяя дверь на морозный воздухъ лунной ночи.

Морозило крѣпко, и Большая Медвѣдица, какъ бриллиантовая, висѣла по небу надъ снѣжной поляной. Мелитонъ безъ шапки и въ одной рубахѣ стоялъ на порогѣ.

— Прощай, Мелитонъ!—сказалъ я, садясь въ сани.— Иди въ избу, простудишься!

— Ничего-съ,—смиренно отвѣтилъ Мелитонъ.—Счастливой дороги-съ!

Лошадь въ свѣтломъ полѣ бѣжала шибко и бодро, полозья пѣли и визжали по затвердѣвшему снѣгу, вѣтеръ съ сѣвера слегка обжигалъ лицо, сковывая усы и рѣсницы. Я отвертывался отъ него, прикрываясь воротникомъ, и невольно повторялъ:

— Всѣ такъ живутъ!

ТАРАНТЕЛЛА.

I.

Наканунѣ сочельника учитель земской школы въ Можаровкѣ, Николай Нилычъ Турбинъ, занимался очень неохотно. Классъ былъ на половину пустъ, но все-таки Турбинъ съ усиліемъ дотягивалъ занятія до половины второго. За послѣднее время во многихъ непріятностяхъ и въ утомительной работѣ онъ подкрѣплялъ себя, главнымъ образомъ, напряженнымъ ожиданіемъ праздника и надеждой съѣздить домой. Но ѣхать, оказалось, не на что. Турбинъ давно уже понималъ, что никуда не поѣдетъ, но сказать себѣ это опредѣленно—все оттягивалъ. Теперь больше всего хотѣлось остаться одному. „Обсудимъ, обсудимъ!“—думалъ онъ безпокойно, и уже по одному тому, что Николай Нилычъ прикрываетъ глаза, ребята видѣли, что онъ или сердить, или нездоровъ. И правда, къ концу занятій у него начало ломить въ лѣвой сторонѣ головы.

Когда же школа опустѣла, Турбинъ со злобой прихлопнулъ дверь въ передней и быстро пошелъ въ свою комнату. Тамъ онъ сѣлъ на сундучекъ и прислонился спиной къ стѣнѣ.

— Пусть будетъ такъ!—сказалъ онъ, наконецъ, медленно и, хмурясь, скинулъ съ себя пиджакъ. Потомъ лѣниво всталъ, повѣсилъ его подъ простыню на стѣну

и накинულъ на себя длинный тулупъ, крытый казинетомъ. Въ тулупѣ онъ легъ на кровать и закрылъ глаза. „Ночной зефиръ струить эфиръ“...—напѣвалъ онъ, покачиваясь. Въ головѣ стояло одно и то же: пусть будетъ такъ!—что собственно значило: „чортъ его побери, не ѣхать, такъ не ѣхать... Эка важность!“ А на душѣ было тоскливо. Тащиться къ дьячку обѣдать не хотѣлось. Лѣвая сторона головы продолжала болѣть. Онъ обмялъ плечомъ подушку поудобнѣе и старался не шевелиться.

Сквозь дремоту онъ слышалъ, какъ приходилъ сторожъ Павель, обивалъ отъ снѣга лапти, крикалъ съ мороза, сморкался и гремѣлъ ведрами; видѣлъ сквозь полузакрытыя вѣлки, что въ комнатѣ разливается отсвѣтъ заката; чувствовалъ, что отъ холода стынутъ ноги и кончикъ носа... И вдругъ очнулся и оглянулся безсознательнымъ взглядомъ: „а? что?“—невнятно спросилъ онъ; но тотчасъ ткнулъ голову въ подушку и заснулъ...

II.

Турбину шелъ двадцать четвертый годъ. Онъ былъ бѣлокуръ, очень высокъ ростомъ, худъ и отъ застѣячивости очень неловокъ; отпечатокъ нужды былъ замѣтенъ во всей его наружности. Онъ былъ сынъ сельскаго дьякона, учился въ семинаріи, но курса не кончилъ; по бѣдности пришлось вернуться домой; дома онъ все выписывалъ программы, думая приготовиться то въ юнкерскую, то въ межевую школу. Кончилъ, однако, экзаменомъ на сельскаго учителя, и радъ былъ этому. Жить дома было тяжело. Матери онъ и не помнилъ, а самъ дьяконъ отличался болѣзненно-угрюмымъ характеромъ; лицо у него было, какъ на старинныхъ иконахъ у схимниковъ,—темное и деревянное, фигура суровая—сухая, высокая, сутуловатая; говорилъ онъ глухимъ басомъ и

все кашлялъ, заправляя за ухо длинныя косицы сѣдыхъ волосъ. Даже тонъ его разговора былъ всегда одинъ—такой, словно онъ старался вразумить, растолковать, образумить.

Однако, проживши годъ одиноко, Николай Нилычъ сталъ вспоминать объ отцѣ съ тоской и нѣжностью, какъ о единственномъ близкомъ человѣкѣ, и дни и ночи мечталъ о поѣздкѣ домой. Какъ это всегда бываетъ, онъ все обманывалъ себя надеждами на будущее: вотъ, молъ, дай только это время пережить, а тамъ... все пойдетъ прекрасно. Лѣто онъ пробылъ на кондиціи—изъ-за одного содержанія—у богатаго купца-лѣсорубщика, и думалъ отправиться домой въ августѣ, хотя недѣльки на двѣ. Но нужно было справить къ зимѣ тулушъ. Осенью онъ надѣялся на святки. Со всѣми подробностями представлялъ онъ себѣ, какъ пріѣдетъ домой... напрімѣръ, къ вечеру... долго будетъ сидѣть съ отцомъ въ этотъ первый вечеръ за самоваромъ, въ знакомой чистой и теплой хатѣ, задушевно будетъ говорить съ нимъ до поздней ночи... А потомъ поѣдетъ въ большое торговое село къ двоюродной сестрѣ; у сестры будутъ каждый вечеръ гости, барышни и молодые люди съ фабрики, будетъ людно, свѣтло и весело. „Надо будетъ захватить съ собою туда гитару“,—думалъ Турбинъ.

Чтобы скопить денегъ, онъ отъ священника перешелъ обѣдать и ужинать къ дьячку. Но въ ноябрѣ отецъ написалъ ему, что онъ долженъ ѣхать въ губернской городъ лѣчиться, и просилъ денегъ. Чтобы предупредить отказъ, письмо было строго и властительно. Внизу же была приписка: „а послѣднее мое слово: имѣй Бога и сознаніе, пожалѣй мою старость“. И учитель отослалъ все свое сбереженіе. Осталась надежда заработать значительную сумму корреспонденціями. Онъ сталъ почти ежедневно посылать въ губернской городъ статьи подъ заглавіемъ „Родные отголоски“, за подписью: „Аріель“.

Но изъ нихъ взяли только пару замѣтокъ—о дождяхъ и о несчастномъ случаѣ на винокуренномъ заводѣ.

Турбинъ захандрилъ...

III.

Село было небольшое. Школа стояла одиночкой, на горѣ. Слѣва была церковь и кладбище, походившее на запущенный садъ, справа—косогоръ. Дорога по немъ шла изъ полей мимо училища влѣво подъ гору. Подъ горой, ниже кладбища, жили духовные; противъ нихъ, черезъ дорогу, стояла лавка и кабакъ Грибакина. На той сторонѣ, за рѣчкой, была усадьба Линтварева съ бѣлыми хоромами и скучно-синѣющими рядами елей передъ ними. Винокуренный заводъ вѣчно дымился въ сторонѣ отъ нея, надъ рѣчкой. Подлѣ него находились неуклюжія заводскія строенія — очистныя, подвальные — и домики на манеръ желѣзнодорожныхъ — для служащихъ. Село располагалось отъ имѣнія влѣво.

Съ завода приходили къ Грибакину гости—старый барскій поваръ, всѣми уважаемый за его поѣздку въ Іерусалимъ, о которой онъ постоянно со смирениемъ и важною разсказывалъ, и за его близкое знакомство съ интимной жизнью господъ; затѣмъ—конторщики, подвальные, дистилляторъ и мѣдникъ. Это былъ народъ лавочнику нужный; по вечерамъ они занимались у него стуколкой или играли на нѣмецкой гармоникѣ. Турбинъ избѣгалъ попадать на такіе вечера, потому что его усаживали за карты, а онъ не любилъ проигрывать деньги. Къ тому же, Грибакинъ обходился съ нимъ учтиво, но холодно. Весной онъ замѣтилъ, что у его жены, нахально-красивой молодой женщины, стали завязываться съ учителемъ какіе-то особенные разговоры, хотя, конечно, не подаль вида—„давалъ спервоначала ходу“: такой онъ былъ благообразный и вѣжливый старичекъ

въ опрятномъ сѣромъ тулупчикѣ. И, правда, учитель правился лавочницѣ. Первое время его самого, при видѣ ея молодого лица съ раздувающимися ноздрями и смѣющимися глазами подѣ завитой чолкой, охватывало сильное волненіе. Но что-то въ ней было и непріятно ему. Онъ старался отдѣлываться семинарскими шуточками. Анна Сергѣевна сперва покрикивала на него—„это еще что за новости?“—а потомъ начала звать гулять къ кладбищу и все чаще напѣвать сдержанно-страстно, прикрывая, какъ бы въ изнеможеніи, глаза:

Вотъ скоро, скоро я уѣду,
Забудь всѣ пылкія мечты,
Забудь, какъ я тебя любила,
Забудь мой ростъ, мои черты!..

Тогда Турбинъ сталъ пропадать по вечерамъ въ полѣ. Кромѣ невольнаго чувства, возстававшаго противъ этой любви, его сдерживала еще боязнь „исторіи“. „Пойдутъ сплетни,—думалъ онъ,—различныя непріятности... немислимо!“ Замѣтивъ это, Анна Сергѣевна стала говорить ему при встрѣчахъ дерзости и преувеличенно ругать его передъ мужемъ.

— Ага,—думалъ Грибакинъ,—перековала язычекъ!

Въ гостяхъ на заводской сторонѣ учитель бывалъ раза три-четыре за всю зиму и весну у дистиллятора Таубкина. Таубкинъ, молодой еврей, рыжій и золотушный, въ золотыхъ очкахъ для близорукихъ, былъ чловѣкъ очень радушный и у него собиралась большая компанія. Но между нею и учителемъ отношенія тоже какъ-то не завязывались. Учитель дичился, а заводскіе всѣ были другъ съ другомъ за панибрата,—всѣ жили между собою дружно, одними интересами. У всѣхъ было много дѣла; и они дѣлали его, но въ то же время всегда казались праздными: часто бывали другъ у друга въ гостяхъ, пили портвейнъ и закусывали сардина-

ми, танцевали подъ аристонъ, а послѣ играли въ „шестьдесятъ шесть“, не исключая и дамъ. Старшіе рабочіе на заводѣ и въ „очистной“, здоровые мужики въ фартукахъ, отличались во всемъ грубой рѣшительностью, циничными разговорами и собственнымъ достоинствомъ. Учитель нѣкоторыхъ изъ нихъ отчасти побаивался даже,—напримѣръ, посыльнаго на почту. Когда тотъ привозилъ учителю письма, учитель говорилъ ему „вы“, давалъ на водку, но посыльный все-таки поражалъ его своимъ презрительнымъ спокойствіемъ.

IV.

Осень началась солнечными днями, свѣжими и веселыми.

По воскресеньямъ Турбинъ съ утра уходилъ въ поле, туда, гдѣ видны были на горизонтѣ станція и одинъ за другимъ уходящіе въ даль телеграфные столбы. Его тянуло туда, потому что въ ту сторону поѣздъ долженъ унести его на родину.

Съ утра было особенно свѣжо, свѣтло и тихо. Низкое солнце блесѣло ослѣпительно. Бѣлый, холодный туманъ затоплялъ рѣку. Бѣлый дымъ таялъ въ солнечныхъ лучахъ надъ крышами избъ и уходилъ въ бирюзовое небо. Въ барскомъ паркѣ, прохваченномъ ночью сыростью, на низахъ, стояли холодныя синія тѣни и пахло прѣлымъ листомъ и яблоками; на полянахъ, въ солнечномъ блескѣ, сверкали паутины и неподвижно рдѣли свѣтло-золотые клены. Рѣзкій крикъ дроздовъ иногда нарушалъ эту тишину. Листья, пригрѣтые солнцемъ, слабо колеблясь, падали на темныя, сырыя дорожки. Садъ пустѣлъ и дичалъ; далеко былъ виденъ въ немъ полураскрытый, покинутый шалашъ садовника.

Не снѣша, учитель всходилъ на гору. Село живописно лежало въ широкой котловинѣ. Ровно и медленно

тянулся въ высь дымъ завода; въ ясной синевѣ осенняго неба кружились и сверкали бѣлые голуби. На деревнѣ всюду рѣзко желтѣла новая солома, слышался говоръ, съ громомъ неслись черезъ мостъ порожнія телѣги.

А въ открытомъ полѣ—особенно подъ солнцемъ, къ югу—все блестѣло и сіяло, между тѣмъ какъ къ сѣверу горизонтъ былъ темень и тяжелъ и рѣзко отдѣлялся грифельнымъ цвѣтомъ отъ желтой скатерти жнивья. Издалека можно было различать фигуры женщинъ, работающихъ на картофельныхъ полосахъ, медленно ѣдущаго по полю мужика. Золотистыми кострами пылали въ лощинахъ лѣсочки. Виднѣлись кирпичнаго цвѣта крыши помѣщичьихъ хуторовъ. Учителю напряженно смотрѣлъ на нихъ. Имъ овладѣвало безпокойство одиночества, тянуло въ эту неизвѣстную ему среду, въ новую обстановку, гдѣ жизнь проходитъ свободно, легко и весело. И за думами о помѣщичьей жизни онъ совсѣмъ не видалъ красоты, которая была вокругъ. Такъ было просторно и тихо въ поляхъ! Даже срубленный лѣсъ не производилъ грустнаго впечатлѣнія. Теперь на мѣстѣ лѣса бѣлѣла щепка, стояли „сажни“ дровъ среди обрубленныхъ сучьевъ и поблекшихъ листьевъ, да вышались три длинныя, тонкія березки съ уцѣлѣвшими макушками. Ихъ очертанія такъ хорошо гармонировали съ открытыми далями!

Турбинъ, при видѣ этихъ березокъ, всегда вспоминалъ, что здѣсь онъ встрѣтилъ жену Линтварева. Съ нею и ея мужемъ онъ познакомился и встрѣчался нѣсколько разъ на станціи. Они держали себя съ нимъ просто и даже ласково, особенно мужъ; кромѣ того, про Линтварева было слышно, что онъ окончилъ курсъ въ университетѣ, увлеченъ земскими дѣлами и, главнымъ образомъ, профессиональнымъ образованіемъ. Все это, съ придачей богатства и знатности, внушало Турбину большое уваженіе къ Линтваревымъ. При встрѣчѣ съ нимъ

около срубленного лѣса, жена Линтварева такъ ласково улыбнулась ему и показалась ему такъ изящна и аристократична въ своемъ черномъ платьѣ и шляпѣ въ видѣ цилиндра, что учитель покраснѣлъ отъ радости и тутъ же рѣшилъ непремѣнно побывать у нихъ въ гостяхъ, завязать прочное знакомство. Онъ долго глядѣлъ вслѣдъ ея англійскому шарабану, запряженному парой небольшихъ темныхъ лошадей, которыми она сама правила, между тѣмъ, какъ кучеръ, тоже весь въ черномъ, сидѣлъ сзади нея съ длиннымъ бичемъ въ рукѣ. Учитель не видѣлъ, куда идетъ, съ наслажденіемъ рисуя себѣ, какъ онъ будетъ сидѣть у Линтварева на балконѣ, какъ равный всѣмъ остальнымъ гостямъ, вести интересный, живой разговоръ, пить прекрасный чай, курить дорогую сигару... и даже когда-нибудь, въ весенній вечеръ, ѣхать верхомъ около молодой, стройной гостьи Линтваревыхъ за деревню, въ поле, въ темнѣющую даль...

V.

Къ концу сентября погода рѣзко измѣнилась. Дожди лили съ утра до ночи. Линтваревы уѣхали. Садъ ихъ почернѣлъ, сталъ какъ будто ниже и меньше. Деревня приняла темный, жалкій видъ. Холодный вѣтеръ затягивалъ окрестности туманной сѣткой дождя. Въ училищѣ запахло кислымъ запахомъ печной сырости, стало холодно, темно и неуютно.

Турбинъ вставалъ еще при огнѣ, въ ту непріязненную пору, когда послѣ мрачной дождливой ночи надъ грязными полями, надъ колеями дорогъ, полными водою, недовольно начиналъ дымиться блѣдный разсвѣтъ. Съ разсвѣтомъ становилось еще неуютнѣе и холоднѣе. Учителя будили стукъ дверей. Ребята натаскивали на лаптяхъ въ переднюю грязи, сморкались, возились, топали и кричали. Въ открывающіяся двери несло ледя-

ною сыростью. Съ дрожью подходилъ учитель къ умывальнику. Потомъ спѣшно пилъ горячій, жидкій чай въ прикуску и тушилъ лампочку. Послѣ ея желтаго свѣта въ комнатѣ синѣлъ холодный утренній сумракъ. Въ этомъ сумракѣ учитель входилъ въ классъ и, завернувшись въ тулупъ, натягивая его на холодющія колѣни, садился за свой столъ. Начиналась упорная работа. Сперва онъ горячился, напрягалъ всѣ усилія говорить понятнѣе и сдержаннѣе; потомъ только смотрѣлъ, какъ сѣчетъ въ окна косою дождь и тянутся обозы къ заводу; мужики шлепали по грязи, накрывшись рогожами; отъ потныхъ, потемнѣвшихъ лошадей валилъ паръ. И все представлялъ учитель самого себя ѣдущимъ на вокзалъ въ телѣгѣ: телѣга медленно качается, хлюпаетъ по дорогѣ, залитой грязной водою, сѣчетъ дождь и заливается-стонетъ вѣтеръ, гнетъ въ полѣ одинокую, голую березку...

Оживлялся онъ при говорѣ и толкотнѣ уходившихъ учениковъ.

— Здорово льетъ?—спрашивалъ онъ Павла, засовывая ноги въ старыя, большія калоши.

— Кажись, перестаетъ,—каждый день отвѣчалъ на это Павелъ.

— По морю, яко по суху,—каждый день говорилъ ему и лавочникъ, стоя подъ навѣсомъ кабака, и снисходительно смѣялся.

Турбинъ, всегда въ этотъ моментъ перебиравшійся отъ лавки на другую, менѣе грязную сторону дороги, махалъ съ отвѣтнымъ смѣхомъ рукой и вдругъ дѣлалъ со всѣхъ своихъ длинныхъ ногъ гигантскій, отчаянный шагъ. Шлепнувъ калошей въ лужу и видя, что надъ этимъ прыжкомъ покатывается со смѣху сидящая за шитьемъ подъ окномъ лавочница, онъ, съ кривой улыбкой, неловко пробирался подъ плетнемъ дальше.

— Писемъ, Иванъ Филимоновичъ, нѣту?—кричалъ онъ издалека лавочнику.

— Пишутъ-съ!

— То-то несуразный-то!—говорила лавочница, какъ бы съ сожалѣнiемъ, качая головою и откусывая нитку...

Дьячекъ Скрябинъ былъ самый убогiй человѣкъ въ селѣ. Трудно было встрѣтить мужчину болѣе недалекаго и некрасиваго. Унылый, поблекшiй носъ, жидкая коса, слезящiеся глаза—все въ немъ напоминало старуху. Тяжело было глядѣть, какъ онъ весной, въ полую воду, или осенью, подъ дождемъ, брелъ по выгону въ огромныхъ растрепанныхъ валенкахъ, внутри которыхъ была подложена солома! На клиросѣ онъ читалъ и подпѣвалъ разбитымъ голосомъ такъ, словно онъ былъ выпивши, или бредилъ. Въ избѣ у него, какъ и у большинства духовныхъ, было довольно чисто и уютно, но толклося человѣкъ семь дѣтей. Никто не обращалъ на нихъ вниманiя. Несмотря на свое нищенство, какъ самъ Скрябинъ, такъ и жена его только и думали съ утра до ночи, что объ ѣдѣ. Скрябинъ ѣлъ походя: то лазилъ въ печку за картофелемъ, то пѣкъ себѣ яйца, то наливалъ черезъ полчаса послѣ обѣда чашку похлебки, то жевалъ хлѣбъ. Раза три или четыре въ день онъ возился съ самоваромъ, собиралъ щепки, раздувалъ его то губами, то старымъ голенищемъ. У жены Скрябина было очень привѣтливое, открытое и покорное лицо. Но, кажется, въ душѣ ея и въ умѣ что-то было не въ порядкѣ. И жалка, и непрiятна была ея нѣжность, съ которой она, измученная дѣтьми и заботой по дому, ухаживала за лѣнтяемъ дьячкомъ и все устраивала ему сюрпризы,—мастерила какое-нибудь замысловатое кушанье. Но сюрпризъ зачастую не удавался и дьячиха съ вивоватой, злѣткой улыбкой убирала кушанье куда-нибудь подъ лавку.

— Ну, что же это такое... что это такое?—говорилъ Скрябинъ дребезжающимъ злобнымъ голосомъ. —Что же это такое, ей-Богу!...

— Я тебѣ, Алеша, лучше ветчинки принесу...

— Я издохну съ голоду,—продолжалъ бормотать дьячекъ, чуть не плача.

Это даже на учителя, привыкшаго къ бѣдности и убожеству, производило угнетающее впечатлѣніе...

А когда, въ октябрѣ, дьячиха умерла передъ концомъ беременности, онъ долго не могъ безъ содроганія видѣть ея несчастной хибарки...

Чаще всего послѣ обѣда Турбинъ бывалъ въ гостяхъ у священника, о. Ѳеодора Рокотова. Священникъ выходилъ изъ задней комнаты заспанный, съ свѣтлыми, слезящимися отъ сна глазами и красными полосами на вискѣхъ отъ рубцовъ подушки. Онъ улыбался и говорилъ съ благодушнымъ снисхожденіемъ къ своей слабости:

— А я прилегъ на минуту да и задремалъ, какъ сурокъ...

Вечеромъ затѣвдалась игра въ преферансъ на орѣхѣхъ. Иногда учитель игралъ съ поповной на двухъ гитарахъ „Въ глубокой тѣснинѣ Дарьяла“, „Раздумье Вольтера“ или на мотивъ малороссійскаго казачка „Прибѣжали въ избу дѣти“... Томной меланхоліей звучали струны гитаръ и всѣхъ мотивовъ. Священникъ острилъ на счетъ худобы и роста Турбина. И хотя Турбинъ всегда при этомъ смѣялся, прикрывая, по своей манерѣ, ротъ рукою, но остроты батюшки плохо разгоняли скуку.

VI.

По мѣрѣ того, какъ деревня все болѣе утопала въ сырыхъ сумеркахъ, зажигались на заводѣхъ огни и тянуло дымомъ самоваровъ, который вѣетъ всегда семейнымъ, долгимъ вечеромъ, теплымъ угломъ,—учитель скользилъ по липкой грязи, мучился медленнымъ восхожденіемъ на гору. Темъ, холодъ, запахъ угарной печки и одиночество встрѣчали его въ безмолвномъ училищѣ. Но первое время это не смущало Турбина. Первый годъ въ школѣ прошелъ какъ-то удивительно быстро. Думать

было некогда. Молодымъ, скрытнымъ семинаромъ онъ мечталъ о многомъ—думалъ стать миссіонеромъ, городскимъ священникомъ—словомъ, выбиться къ свободной, лучшей жизни. Удивительно ярко представлялъ онъ себя въ губернскомъ городѣ, о. Николаемъ, въ шелковой лиловой рясѣ, на которую падаютъ выхоленные кудри, даже почему-то въ золотыхъ очкахъ, какъ протоіерей въ Вознесенскомъ соборѣ, мечталъ о жизни съ достаткомъ, думалъ вести хорошее знакомство, быть человѣкомъ просвѣщеннымъ, слѣдящимъ за наукой, за политикой. Эти мечты погибли окончательно. Ъдучи въ школу, онъ весь былъ переполненъ рвеніемъ поскорѣе начать работать, сразу сдѣлать свою школу образцовой, стать выдающимся учителемъ, пописывать статьи по народному образованію, приняться за составленіе учебниковъ. День за днемъ тускнѣли и эти мечты. Въ Можаровкѣ близость завода наводила его на мысль попасть на службу по акцизу, да такъ, чтобы годиковъ черезъ десять получать тысячи три, а то и четыре,—бывали примѣры. Но это въ будущемъ. Пока же хотѣлось поскорѣе хоть какъ-нибудь обновить, поднять свое житье-бытье, томила горячая, хотя и неопредѣленная жажда счастья.

— Необходимо прежде всего заяться самообразованіемъ,—рѣшалъ онъ,—это прежде всего; завести знакомство, почувствовать себя человѣкомъ. Вотъ только пройдетъ эта осень! Съѣзжу домой, а вернусь—буду ходить къ Линтвареву, буду, Богъ дастъ, съ живыми, настоящими людьми общаться...

И, покачиваясь, Николай Нилычъ расхаживалъ по своей комнатѣ, взволнованный, переполненный думами о лучшемъ будущемъ... Потомъ рѣшительно бралъ въ руки выпрошенную еще въ семинаріи у товарища книжку „Современника“ и принимался за статью: „Взглядъ на русское судоустройство и судопроизводство“. Но статья была невеселая. Осилить нѣсколько страницъ, Турбинъ

опускалъ книгу, закрывалъ глаза и опять отдавался думамъ... То рисовались ему сцены знакомства съ Линтваревымъ, и въ душѣ подымались и радость, и смущеніе, то поскорѣй-поскорѣй хотѣлось домой, отдохнуть, освѣжиться. Иногда поздней ночью, растроганный нѣжностью къ отцу, воспоминаніями и надеждами, Турбинъ долго-долго писалъ къ нему длинныя лирическія письма; но на утро они казались ему витіеватыми и невыразительными и онъ не посылалъ ихъ...

Когда же обнаружилось, что ѣхать не на что, вечера измѣнились. Онъ сталъ проводить ихъ въ безпокойной тоскѣ и безплодныхъ придумываніяхъ, какъ устроить эту поѣздку. Иногда онъ рѣшался даже на послѣднее средство—занять денегъ. Но тотчасъ же и отказывался отъ него. „Немыслимо! Долги—погибель!“ Въ голову шли безконечной вереницей самыя невеселыя мысли, но высказать хоть одну изъ нихъ было совершенно некому. Проклиная въ душѣ и себя, и темноту, и училище, онъ рѣшительно шагаль къ дьячку ужинать. Возвратясь, тотчасъ же завертывался въ тулупъ и ложился въ постель. Вся тоска и холодъ осеннихъ дней охватывала его тогда. Черная ночь глядѣла въ окна. На деревнѣ во мракѣ зіялъ огнями заводъ; огненными искрами роились его высокія трубы. А когда тяжелымъ взмахомъ налеталъ вѣтеръ, чаще и гуще стрекалъ косой дождь въ стекла оконъ и еще жалобнѣе завывало въ печкѣ...

Словно отдаленными-отдаленными, протяжными стопами доносилась съ села перекличка пѣтуховъ на разсвѣтѣ; медленно-медленно послѣ долгой ночи пробуждалась жизнь. Дождь стихалъ, холодѣло; вѣтеръ гналъ въ утреннемъ холодномъ небѣ бѣлесыя космы тучъ. Надъ деревней, надъ голыми, пустынными полями занимался новый скучный день...

А потомъ пошли метели, засыпали снѣгомъ избы, слѣпили окна. Побѣлѣвшая деревня еще болѣе опустѣла и затихла—даже собаки забивались въ сѣпцы.

...и
... ..
... ..

II

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..

... ..

На душой у него было виль-то пусто. Онъ спустиль
длинные ноги съ земли и собиралъ идти или нѣтъ
къ дыячку. Тьтъ хотѣлось, — надо было идти.

На селѣ было темно и тихо. Морозило; на черномъ
небѣ сверкали крупныя звѣзды. Лай собаченки съ того
боку деревни звонко отдавался въ чистомъ воздухѣ.
Свѣжесть зимней ночи ободрила Турбина.

О. Алексѣю почтеніе! — сказалъ онъ шутиливо
громко и съ удареніемъ на „о“, нагибаясь и входя въ
дверь дыячка. Съ предверіемъ!

Дѣлаешь чинить хомуль, сири на лавкѣ около коп-
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

—

... ..
... ..

полу, собрала на столъ. Турбинъ молча принялся хлебать щи.

— Попробую и я съ вами... — сказалъ дьячекъ, откладывая хомутъ въ сторону, подоцелъ къ лейкѣ надъ лоханью, плеснулъ водой на руки и принялся за щи.

Косенькая дѣвочка молча стояла у печки. Дьячекъ посмотрѣлъ на нее и опустилъ голову. Но, немного погодя, онъ опять взялся за ложку и сказалъ:

— Еже во плоти Рождество Господа нашего Іисуса Христа... Да... воспоминаніе избавленія церкви и державы... А тамъ и отданіе праздника и новый годъ... Что-то я забылъ, когда восходъ солнца? Заходъ знаю — з ч. 44 м., а вотъ восходъ?... Вы не помните?

Турбинъ захохоталъ, откинувшись къ стѣнѣ и закрывъ ротъ рукою.

— А на что онъ вамъ, о. Алексѣй?

Дѣвочка подошла къ столу и серьезно стала убирать ложки. Турбинъ смолкъ и поскорѣе выбрался на улицу.

— Эхе-хе-хе-хе!..—говорилъ онъ, шагая въ гору и грустно качая головой.

На полугорѣ онъ остановился и глубоко вздохнулъ свѣжимъ и чистымъ воздухомъ... и потомъ оглядѣлся кругомъ такъ, словно попалъ въ село въ первый разъ въ жизни. Бываетъ, что умъ и чувство, долго подчиняясь извѣстному ходу обстоятельствъ, вдругъ какъ бы отдѣляются отъ нихъ и сразу получаютъ возможность взглянуть на протекшій періодъ времени критически, почувствовать себя выше ихъ. Невольно учитель сопоставилъ жизнь дьячка и свою. И настроеніе поднялось, просвѣтлѣло. Онъ теперь могъ взглянуть на всю прошлую осень, на свои непріятности спокойнѣе, почувствовать себя по отношенію къ нимъ болѣе сильнымъ.

— Какой же собственно смыслъ въ тоскѣ?

Онъ постоялъ, прикрывши глаза, и сказалъ твердо:

— Никакого.

И, улыбаясь этому разговору съ самимъ собою, пошелъ къ училищу.

Къ удивленію его, въ училищѣ свѣтился огонь. Не отецъ ли пріѣхалъ? Или кто-нибудь изъ забытыхъ товарищей? Но тогда у крыльца были бы лошади. „Навѣрняка, Слѣпушкинъ или Кондрать Семенычъ“. Турбинъ поморщился и замедлилъ шаги.

VIII.

Кондрать Семенычъ былъ сынъ обѣднявшаго, безпутнаго помѣщика Кривцова, воспитывался въ гимназіи, но дотянулъ только до 5-го класса. Этому, впрочемъ, помогло и то, что на охотѣ съ борзыми онъ сломалъ себѣ ногу. Въ ту же осень умеръ Кривцовъ. У матери Кондрата Семеныча осталось только десятинъ 30 земли, небольшой флигелекъ при ней на выѣздѣ Можаровки, шерстяной чулокъ съ двугривенными и изломанными серебряными ложками, шитье отъ дворянскаго мундира, портретъ Николая I, два бронзовые шандала и дорожный ларчикъ краснаго дерева, изъ затѣйливыхъ ящиковъ котораго пахло старинными кислыми духами. Кондрать Семенычъ высыпалъ изъ чулка двугривенные, сдалъ исполу мужикамъ землю и первымъ дѣломъ „залился“ на ярмарку—подобрать троечку „киргизовъ“, верхового мерина донской породы и удивительно неуклюжей худобы подарилъ ему еще самъ Кривцовъ. Тамъ же нанялъ онъ и кучера, записного охотника и пьяницу Ваську и уже не разлучался съ нимъ.

Кондрату Семенычу было лѣтъ 25. Онъ былъ широкоплечъ и небольшого роста, особенно тогда, когда осѣдалъ на лѣвый бокъ, на хромую ногу; черные волосы его кудрявились, а симпатичное, загорѣлое, кирпичнаго цвѣта лицо оживлялось маленькими, веселыми, глазками; нижняя челюсть выдавалась у него, но это придавало ему только добродушное выраженіе; концы чер-

ныхъ усиковъ на короткой верхней губѣ лихо завивались кверху. Онъ такъ добродушно болталъ своимъ хриплымъ, пріятнымъ голосомъ и такъ заливался веселымъ смѣхомъ, что даже всегда неловкій при новомъ человѣкѣ Турбинъ сразу почувствовалъ себя съ нимъ свободно и просто.

И правда, душа у Кондрата Семеныча была добрая и открытая. Все у него выходило добродушно и непосредственно: онъ велъ очень распущенную жизнь, пилъ и въ кабакахъ, и въ гостяхъ, и на охотѣ, лгалъ вообще и хвастался относительно женщинъ отчаянно, но какъ-то машинально, по веселости нрава, и не скрывалъ этого: „а я тебѣ, братъ, чертовски брехалъ вчера“; сплетничалъ безъ всякой предвзятой цѣли—просто подъ вліяніемъ расположенія къ другу, а друзьями у него на селѣ были почти всѣ. И съ господами, и съ мужиками онъ держался совершенно одинаково. Колтыхая по деревенской улицѣ, онъ также дружески встрѣчался и съ помѣщикомъ, какъ и ставилъ ногу на втулокъ колеса къ мужику и изъ одного кисета завертывалъ съ нимъ по цыгаркѣ махорки. Одѣвался онъ, впрочемъ, какъ и всѣ мелкобѣстные—въ длинные сапоги, шаровары, картузь и поддевку, которая, кстати сказать, издавала какой-то особенный запахъ—запахъ пороха и лошади; какъ и они, любилъ хвастнуть своей рыженькой троечкой, которая, когда неслась по селу, походила на букву „Ж“ прописью—такъ лихо завивались пристяжныя въ разныя стороны.

Турбинъ былъ у него раза два. Онъ надѣялся черезъ Кондрата Семеныча познакомиться со многими помѣщиками. Но тотъ только силился напоить его оба раза. Къ тому же и обстановка у него была не такая, какую думалъ встрѣтить Турбинъ: крыльцо передъ домомъ было разрушено; въ „лакейской“ полъ былъ какъ въ свиной закутѣ—такъ онъ былъ унавоженъ жившими здѣсь и зиму и лѣто турманами, которые, при входѣ людей, под-

нимались тучей, съ шумомъ и съ свистомъ крыльевъ, и совсѣмъ затемняли свѣтъ, пропикавшій въ лакейскую сквозь радужныя отъ времени стекла. Въ углу зала былъ насыпанъ ворохъ овса; тутъ же, на соломѣ, повизгивали, ползали и тыкались слѣпыми мордами гончіе щенята: большая красивая сука, спавшая возлѣ нихъ, подняла голову съ лапъ и наполнила весь залъ музыкальнымъ лаемъ... Голыя стѣны кабинета были темны отъ табаку и мухъ; надъ турецкимъ диваномъ висѣли пагайки, кинжалы и желтыя заскорузлыя шкурки лисицъ. Подъ окномъ, на разломанномъ письменномъ столѣ, кучей была насыпана махорка, стояла коробка колесной мази, лежала шлея и куски сырой, кисловолючей кожи; изъ-подъ стола зеленѣла четверть водки. Турбинъ чувствовалъ себя непріятно. Не нравилось ему и то, что Кондрать Семенычъ говорилъ ему „ты“ и называлъ его циркулемъ, весело хромая, напѣвая и рассказывая про свои походы...

Слѣпушкинъ служилъ на заводѣ у Линтварева подкурщикомъ; лицо у него было толстое, обрюзглое и темное, какъ у заправскаго алкоголика, голосъ тяжелый, фигура медвѣженка, пиджакъ—изъ мохнатаго драпа и штаны изъ верблюжьей шерсти. Пилъ Слѣпушкинъ, главнымъ образомъ, пиво и водку, смѣшанную съ пивомъ: такой составъ назывался „ершомъ“, вѣроятно, по трудности проглотить его сразу. Въ гостяхъ у Турбина онъ засиживался до трехъ часовъ ночи и часто просилъ писать къ лавочнику записки, чтобы тотъ прислалъ ему „дюжину“.

— Не понимаю,—говорилъ онъ сонно и съ презрѣніемъ, облокотясь на столъ и глядя на учителя свинцовымъ взглядомъ,—не понимаю этихъ нѣжностей: вѣдь мнѣ онъ не повѣритъ... а я, надѣюсь, въ состояніи заплатить вамъ этотъ несчастный цѣлковый.

— Само собой,—говорилъ Турбинъ, расхаживая по

комнатъ и смущенно вертя въ рукахъ бумажку,—я не сомнѣваюсь, но право же...

— Само собой, само собой!—дразнилъ Слѣпушкинъ, дѣлая еще болѣе мутные глаза.

— Пусть будетъ такъ... — начиналъ Турбинъ, — но главная вещь...

Тогда Слѣпушкинъ подымался.

— А ужъ этого „пустъ будетъ такъ“ я совсѣмъ не выношу!—говорилъ онъ съ искреннимъ презрѣніемъ.— Вѣроятно, мы теперь не скоро увидимся...

IX.

Съ неудовольствіемъ вспоминая такія подробности, Турбинъ подошелъ къ училищу и заглянулъ въ окно.

Кондратъ Семенычъ лежалъ съ сапогами на кровати. Таубкинъ, выгнувъ сутулую спину и запустивъ руки въ карманы модныхъ узкихъ брюкъ, молча сверкалъ очками, Слѣпушкинъ сосредоточенно игралъ на гитарѣ, опустивъ голову и покачиваясь. Ему вторилъ на „ливенской“ гармоникѣ одинъ изъ подвальныхъ, Митька Лызловъ, бѣлобрысый и безусый, походившій на приказчика. Турбинъ видѣлъ его только разъ у Таубкина. Онъ весь вечеръ грызъ подсолнухи, „приставалъ“ къ барышнямъ, потомъ плясалъ, щеголевато перебирая тонкими ногами въ расчищенныхъ сапогахъ, разстегнувъ поддевку и началъ въ концѣ-концовъ изо всей силы шлепать Турбина ладонью по колѣну: треснетъ, зажметъ и потрясетъ съ лѣниво-сладкой улыбкой. Теперь онъ игралъ „страдательную“ и съ своей блаженной усмѣшкой тянулъ фальцетомъ:

А всѣмъ барышнямъ-модисткамъ
По поклончику по низкомъ!

Но кто-то былъ еще; какой-то благообразный господинъ съ лысиной во всю голову, съ длинными черными

баками сидѣлъ задомъ къ окну. Осторожно Турбинъ пробрался къ противоположному окну, и даже руки у него похолодѣли отъ злобы: это былъ Прохоръ Матвѣичъ, Линтваревскій лакей.

— Значить, Линтваревъ пріѣхалъ, — думалъ Турбинъ. — Но какова это будетъ штука, если я пойду къ нему, буду сидѣть въ залѣ, и вдругъ входитъ Прохоръ Матвѣевичъ?..

Вдругъ стукъ двери и голоса послышались на крыльцѣ. Турбинъ прижался за уголъ. По стѣгъ заскрипѣли шаги, Лызловъ звонко заигралъ на гармоникѣ. Турбинъ осторожно пробрался въ школу. Дверь на крыльцо осталась открытой; въ комнатѣ пахло табакомъ и свѣжестью морознаго воздуха. Турбинъ поморщился. Но вдругъ взглядъ его упалъ на столъ: конвертъ изъ плотной англійской бумаги! Турбинъ смѣшался, покраснѣлъ, неловко металлическимъ гребешкомъ рванулъ его...

„Многоуважаемый Николай Нилычъ, — стояло въ письмѣ. — простите за поздній отвѣтъ. Въ тотъ пріѣздъ, какъ получилъ ваше письмо, я не успѣлъ отвѣтить, а теперь хотѣлось бы поговорить съ вами лично по поводу вашей просьбы, почему надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ удовольствіи видѣть васъ у себя на второй день праздника вечеромъ. Преданный вамъ П. Линтваревъ“.

Это былъ отвѣтъ на просьбу Турбина помочь школѣ учебниками. Но теперь Турбину было не до учебниковъ: онъ ходилъ по комнатѣ и бормоталъ съ сіяющимъ лицомъ:

— Преданный! Гм... Вотъ, ей-Богу, чудакъ!..

А внутри у него все дрожало отъ радостнаго смущенія...

X.

Два слѣдующіе дня прошли почти въ непрерывныхъ, безпокойныхъ рѣшеніяхъ вопроса: идти или нѣтъ? Самые различные отвѣты на него Турбинъ давалъ себѣ поминутно.

Къ утру сочельника комната его сильно настудилась. Вода въ умывальникѣ замерзла. Стекла обоихъ оконъ были сверху до низу запушены инеемъ и зарисованы морозомъ серебряными пальмовыми листьями, узорчатыми папоротниками. Но Турбинъ спалъ глубокимъ сномъ, а проснулся веселымъ и крѣпкимъ, съ пріятнымъ ощущеніемъ какой-то хорошей цѣли. Онъ вскочилъ и отдернулъ примерзшую форточку. Рѣзкій скрипъ саней стоялъ надъ всѣмъ выгономъ: изъ-подъ горы тянулся длинный обозъ, весь завѣянный ночной поземкой въ полѣ: морды лошадей были въ кудрявомъ инеѣ, мужики шагали бѣлыми фигурами... Картина села поражала бѣлоснѣжной красотою. Все тонуло въ яркихъ, но удивительно нѣжныхъ и чистыхъ краскахъ сѣвернаго утра. Выгоны, лозины и вся деревня казались снѣговыми изваяніями. И на всемъ уже сіялъ огнистый блескъ восходящаго солнца. Турбинъ заглянулъ изъ форточки влѣво и увидалъ его за церковью во всемъ ослѣпительномъ великолѣпіи; морозное кольцо, съ двумя другими отраженными солнцами, еще болѣе увеличивало это великолѣпіе.

— Поразительно! — воскликнулъ Турбинъ и, торопливо захлопнувъ форточку, юркнулъ подъ одѣяло. Ему было пріятно согрѣваться, задремывать и думать.

— Уши!—сказалъ онъ громко и засмѣялся, вспоминая, что мужики называютъ эти отраженные солнца „ушами“.

Веселое настроеніе не покинуло его и тогда, когда онъ проснулся. Передняя, куда онъ вышелъ умывать-

ся, вся была озярена солнцемъ. Самоваръ застылъ и притихъ; Павла, по обыкновенію, не было, но Турбинъ не обратилъ на это вниманія. Онъ долго и особенно тщательно мылся борно-тимоловымъ мыломъ, потомъ заглянулъ въ классную, и тамъ было теперь весело отъ солнца и тишины предпраздничнаго утра. „Не шуми ты, рожь“... затанулъ онъ во все горло... Голосъ гулко отдался въ пустой комнатѣ, и это напомнило ему его одиночество. Онъ замолкъ и пошелъ въ переднюю пить чай на окнѣ, при солнцѣ. Сообразивши же, что онъ опоздалъ къ обѣднѣ, онъ даже немного обрадовался. Его тянуло куда-то идти, обдумать, получше обдумать что-то. Но, подавляя внутреннюю торопливость, онъ убралъ чашки и самоваръ, а затѣмъ надѣлъ свое новое „городское“ пальто и вышелъ.

Щурясь отъ ослѣпительнаго сверканья солнца на парчѣ снѣга отъ блестящихъ, отшлифованныхъ, какъ слоновая кость, ухабовъ дороги, глубоко дыша холоднымъ воздухомъ, онъ шелъ тихо и все любовался деревней, синими рѣзкими тѣнями около строеній и горизонтомъ зеленоватаго неба надъ далекимъ лѣсочкомъ въ снѣжномъ полѣ: туда, къ горизонту, небо было особенно нѣжно и ясно. Иней пріятно садился на вѣки, паръ шелъ отъ дыханья, а солнце пригрѣвало щеку. Турбинъ думалъ, что хорошо теперь полежать на солнцѣ въ затишьи гумна, пригрѣться въ ометѣ, на пахнувшей зимней свѣжестью соломѣ. А еще лучше откинуться въ задокъ саней, полузакрѣть глаза и только покачиваться и слышать, какъ заливается колокольчикъ надъ тройкой, запряженной „впротязку“...

Мужикъ съ подводой догналъ Турбина въ полѣ. На розвальняхъ дымилась бочка, вся облитая пахучей бардой и заткнутая соломой.

— Ты съ завода, хлопецъ?—спросилъ Турбинъ.

— Съ завода.

— Баринъ-то давно пріѣхалъ?

— Мы этих дѣловъ не знаемъ. А вы сами-то ай дальніе?

— Изъ тридевятаго государства, — засмѣялся Турбинъ.

Мужикъ долго съ удивленіемъ оглядывался на его высокую фигуру.

А Турбинъ уже забылъ о немъ и старался начать обдумывать.

— Ну, такъ какъ же? Иду, значить? Или нѣтъ—не стѣить?

Въ душѣ Турбинъ еще вчера рѣшилъ, что пойдетъ, но чего-то боялся и волновался. „Да, такъ, лучше,—говорилъ онъ себѣ,—пойду на третій день, утромъ, по дѣлу, не надолго. Немыслимо сразу въ гости придти... это онъ для приличія... Поговорю и уйду. А тамъ, на новый годъ, примѣрно, ужъ и вечеркомъ можно. Обязательно такъ, вѣрно, какъ въ аптекѣ“.

Но, незамѣтно, онъ уходилъ въ поле все дальше и, говоря одно, повторялъ въ то же время другое: „ну, такъ какъ же?..“ Представивъ себѣ неловкость и непріятность этого посѣщенія, онъ тотчасъ же начиналъ разубѣждать себя въ этомъ, говорилъ, что „глупо рисовать все въ дурномъ смыслѣ“, что онъ не хуже другихъ... Въ концѣ концовъ эта путаница мысли испортила ему настроеніе, утомила его и стала раздражать. Онъ поспѣшно пошелъ обѣдать.

Вернувшись и увидя свою бѣдную комнатку вымытой и прибранной къ празднику, онъ почувствовалъ себя совсѣмъ одинокимъ и сталъ думать спокойнѣе, серьезнѣе. Онъ долго сидѣлъ, положивъ на столъ подъ лицо ладони, и когда поднялъ голову, лицо его было хмуро, но спокойно. Эти думы о посѣщеніи Линтварева теперь казались ему жалкими пустяками. „Еще успеется“...

Весь вечеръ онъ писалъ письма, читалъ, и ему было жалко себя.

— Видно, надо жить, какъ живетъ!..—думалъ онъ серьезно.

XI.

Наступилъ праздникъ.

На первый день Турбинъ чувствовалъ себя какъ-то особенно, какъ привыкъ чувствовать себя съ дѣтства въ большіе праздники, чинно стоялъ въ церкви, чинно разговлялся у батюшки. Дома, не зная, за что приняться, онъ безцѣльно походилъ по классу, заглянулъ въ окно... Въ безлюдьи села чувствовалось начало праздника: всѣ дождались чего-то, одѣлись получше и не знаютъ, что дѣлать. Съ утра было сѣро и вѣтрено. Послѣ полудня воздухъ прояснился, облачное небо посинѣло, блѣдно-желтымъ пятномъ обозначилось солнце; снѣгъ сталъ ярче и желтѣе, поземка струйками закурилась на гребняхъ сугробовъ, подхватываясь и развѣваясь бѣлой пылью, криво понеслись по вѣтру галки. Проѣзжій мужикъ повязалъ уши платкомъ, сталъ на колѣни и погналъ лошадей. Розвальни бѣжали, разрывая переносы сухого снѣга на обмерзлой дорогѣ, постукивая и раскатываясь...

Скука съ новой силой охватила учителя.

Но вечеромъ, когда онъ пошелъ на заводскую сторону, онъ неожиданно столкнулся съ Линтваревымъ и совершенно потерялся отъ смущенія.

— Съ праздникомъ!—сказалъ онъ не то галантно, не то въ шутку, неестественно изгибаясь.

Линтваревъ былъ средняго роста, лѣтъ 35-ти, съ простымъ, пріятнымъ лицомъ, съ русою бородкой и ласковыми глазами. На немъ былъ полушубокъ и валенки, на головѣ—барашковая шапка.

— Ахъ, Николай Нилычъ!—сказалъ отъ, встрепенувшись, ласково, какъ будто даже заискивающе.—Здравствуйте, здравствуйте!.. Благодарю васъ... Ну что, какъ вы,—не соскучились?

— Пока еще нѣтъ,—отвѣтилъ Турбинъ, краснѣя и сисясь вложить въ каждое слово не то что-то особенное, не то—ироническое.

— Да, да...

Постояли, помялись.

— Ну, такъ увидимся? До завтра?

Турбинъ опять не то галантно, не то комически раскланялся.

Домой онъ шелъ очень быстро. Какъ быть, гдѣ взять крахмальную рубашку? Въ вышитой положительно невозможно!..

А вечеромъ онъ долго зашивалъ съ великимъ трудомъ задникъ сапога нитками и замазывалъ ихъ чернилами, и лицо его въ этотъ вечеръ было такое доброе, открытое и веселое. Праздникъ уже рисовался ему вереницей шумныхъ вечеровъ, въ обществѣ умныхъ и живыхъ людей, въ новой, свѣтлой обстановкѣ.

XII.

Но настало утро, и начались хлопоты!

Все утро онъ быстро ходилъ по комнатамъ въ одномъ бѣльѣ, умывался, нѣсколько разъ принимался чистить сапоги, пачкалъ и опять мылъ руки и все думалъ о рубашкѣ.

— Ничего не придумаешь!—говорилъ онъ, останавливаясь среди комнаты.—Послать къ Слѣпушкину? Немыслимо! Начнуть судить, рядить... дойдетъ до Линтварева... Гадость!

Но нѣчто подобное случилось.

Около полудня къ крыльцу школы подлетѣла рыженькая тройка Кондрата Семеныча. Съ мороза его лицо было особенно свѣжо и темно-красно. Подбородокъ былъ выбритъ, усы чернѣли ярко и лихо. На немъ была сюртучная пара; въ передней онъ сбросилъ енотовую шубу. Коренастый, приземистый, — обѣ дорогу

не расшибешь, что называется,—бойко прихрамывая, онъ быстро вошелъ къ Турбину, крѣпко поцѣловался съ нимъ, причемъ на Турбина пахнуло морозной свѣжестью и запахомъ закуски, и тотчасъ принялъ живѣйшее участіе въ заботахъ о его нарядѣ.

— Валяй, братъ, валяй смѣлѣй!

Турбинъ, хотя и относился къ Кондрату Семенычу, какъ къ человѣку пустому, однако, зналъ, что Кондрать Семенычъ „бывалъ въ обществѣ“ и можетъ подать много совѣтовъ.

— Какъ валять-то?—говорилъ онъ, сдерживая улыбку.—Тутъ такая непріятная исторія! Рубашки крахмальной нѣтъ!

Кондрать Семенычъ качнулъ головой.

— Это, братъ, скверно. Въ вышитой явиться въ первый разъ въ домъ—нахальство!

— Ну, такъ какъ же?—говорилъ Турбинъ растерянно.

— Ни черта, — сказалъ Кондрать Семенычъ. — Не робѣй!

И, отворивъ форточку, онъ своимъ хриплымъ, охотничьимъ голосомъ гаркнулъ:

— Васька! Домой валяй! Духомъ доставь рубашку крахмальную... въ сундукъ подъ лѣтней поддевкой...

Пока Василій ѣздилъ за рубашкой, Кондрать Семенычъ рассказывалъ, гдѣ онъ успѣлъ уже побывать, и съ улыбкой сатира, отъ которой заблестѣли его маленькіе каріе глаза, вытащилъ изъ рукава шубы бутылку водки.

— Хвати для храбрости! Хочешь?—говорилъ онъ, обивая сюргучъ съ горлышка.

— Ну ужъ нѣтъ!

— Что?—думаешь, пахнуть будетъ? Ни капельки. Только чаемъ зажуй. А, впрочемъ,—чортъ съ тобой. Нѣтъ ли чашечки?

Выпивши и закусивши кренделемъ, Кондрать Семенычъ заговорилъ совершенно серьезно:

— Ты, братъ, себя поразвязнѣй держи, посвободиѣ. А то вѣдь будешь сидѣть, какъ кнутъ проглотилъ.

— А какъ брюки—ничего?—спрашивалъ Турбинъ.

Кондрать Семенычъ оглядѣлъ ихъ съ полной добро-совѣстностью и подумалъ.

— Сойдетъ!—сказалъ онъ рѣшительно,—за милую душу сойдетъ. Только вотъ—смяты немного. Снимай, давай разгладимъ.

— Нѣтъ, пѣтъ, пустякъ,—бормоталъ Турбинъ, густо краснѣя.

— Ну, какъ знаешь.

Кондрать Семенычъ легъ на постель и вполголоса запѣлъ:

Вода—для рыбы, раковъ,
Вино—для женщинъ и мужчинъ,
А мы, герои, водку пьемъ!

Въ это время Васька внесъ рубашку. Но едва Турбинъ надѣлъ ее, Кондрать Семенычъ такъ и покатился со смѣху.

— Нѣтъ... Не срамись!—хрипѣлъ онъ, задирая ее на голову Турбина,—не годится!

Правда, рубашка не годилась. Накрахмалена она была плохо—вся была грязно-синяя,—и воротъ былъ слишкомъ широкъ для Турбина.

— Декольтэ!—повторялъ Кондрать Семенычъ сквозь смѣхъ.

Турбинъ снова покраснѣлъ и даже запотѣлъ отъ злобы.

— Я вамъ не шутъ гороховый!—крикнулъ онъ бѣшено.

Тогда, въ свою очередь, почувствовалъ себя неловко Кондрать Семенычъ.

— Да за что жъ серчаешь-то? — заговорилъ онъ растерянно.—Самъ тонокъ, какъ шесть... хоть грачей доставать, а на меня серчаешь... Да я, наконецъ, ей-Богу отъ души сказалъ... Ну, хочешь—достану?

— Не понимаю—гдѣ?—глядя въ сторону, пробормоталъ Турбинъ.

— Да ужъ это мое дѣло. Ну, хочешь?

И, не дожидаясь отвѣта, хлопнулъ дверью, накинулъ шубу и выскочилъ на крыльцо.

— Пошелъ!

Рыженькая троечка подхватила подъ гору. Турбинъ бросился къ дверямъ.

— Кондрать Семенычъ! Кондрать Семенычъ!— вопилъ онъ отчаянно.

Кондрать Семенычъ только рукой махнулъ.

— Это Богъ знаетъ что такое!—сказалъ Турбинъ, входя въ комнату.— Это значить, всему заводу будетъ извѣстно!.. Ахъ, ты, Господи! Что тутъ дѣлать прикажете?..

Однако, когда Кондрать Семенычъ черезъ десять минутъ явился обратно и привезъ съ собой Таубкина и его крахмальную рубашку, когда Таубкинъ самымъ задушевнымъ тономъ сталъ просить „не беспокоиться“ и когда рубашка оказалась какъ разъ впору, Турбинъ, весь красный отъ волненія, началъ улыбаться.

— Что вы беспокоитесь?—говорилъ Таубкинъ фальцетомъ.— Зачѣмъ? Что такое? Развѣ я не понимаю? Конечно, это останется между нами. Хотите мои часы?

Турбинъ отказывался. Кондрать Семёнычъ преувеличенно расхваливалъ его костюмъ. Однако всѣ трое почему-то ни слова не говорили о Линтваревѣ.

Уже въ сумерки Турбинъ былъ готовъ. Онъ повеселѣлъ, хотя и чувствовалъ себя наряженнымъ и точно связаннымъ. Въ ожиданіи онъ садился то на одинъ, то на другой стулъ.

— Вы къ самому Линтвареву?—вдругъ спросилъ Таубкинъ, какъ будто вскользь.

— Да, то-есть, такъ... по дѣлу отчасти.

— Такъ вамъ, пожалуй, пора.

Турбинъ уже давно думалъ про это. „Пожалуй, что и правда пора,—соображалъ онъ,—что же, къ шалочному

разбору-то придти? Только хозяевъ въ неловкое положеніе поставишь“...

— А который часть?

— Четверть седьмого.

— Ну, братъ, вали!—подхватилъ и Кондрать Семенычъ.

— Пожалуй,—согласился Турбинъ, медленно подымаясь.

Напѣвая, Кондрать Семенычъ накинулъ на себя свою енотовую шубу и осмотрѣлъ пальто Турбина.

— Молодецъ!—сказалъ онъ, смѣясь одними глазами.— Хочешь, подвезу?

Турбинъ заторопился отказаться.

— Ну, чортъ съ тобой! Ёдемъ.

Снѣ сунулся лицомъ къ лицу Турбина для поцѣлуя, ввалился въ сани рядомъ съ Таубкинымъ и крикнулъ:

— Обрати посерьезнѣй вниманіе на Линтвариху. Хороша, анаема!

XIII.

Уже подходя къ аллеѣ передъ Линтваревскимъ домомъ, Турбинъ вдругъ оробѣлъ, оглянулся и поспѣшно зашагалъ опять подъ гору. „Рано, рано, невысмыслимо такъ рано!..“

Волпуясь, онъ поспѣшно, словно по дѣлу, дошелъ до моста и опять оглянулся. Вотъ будетъ скверно, если видѣли, что онъ приходилъ! Но никого не было кругомъ. Только на деревнѣ горланили на „улицѣ“ дѣвки. Изъ дома черезъ аллею загадочно свѣтились окна. Что тамъ, въ домѣ? Начался вечеръ или нѣтъ? И кто тамъ, и что дѣлаютъ? А обстановка? „Небось, люстры, паркетъ, бархаты, фамилные портреты“...—думалъ Николай Нилицъ, дѣлая важное лицо. —И въ то же время въ головѣ его мелькало: „вотъ отсчитаю сто... нѣтъ, двѣсти и тогда пойду“.

Вдругъ на мосту послышался скрипъ шаговъ. Турбинъ быстро повернулся и, не оглядываясь, почти побѣжалъ по аллеѣ. Не думая, онъ быстро растворилъ дверь, шагнулъ черезъ три ступеньки въ сѣняхъ и сталъ шарить по притолкѣ звонка. Но въ дверяхъ щелкнулъ замокъ. и горничная, красивая и нарядная, появилась на порогѣ.

— Павелъ Андреевичъ дома?—спросилъ учитель, снимая шапку.

— Пожалуйте-съ.

Горничная помогла ему снять пальто и торопливо пошла по комнатамъ. Какъ въ туманѣ, Турбинъ увидалъ большой свѣтлый залъ, открытый, блестящій чернымъ деревомъ рояль, тонкіе, тоже чернаго дерева, стулья, тропическія растенія... Поразили его только ширмочки около нихъ изъ матоваго стекла, расписанныя странной китайской живописью; все остальное показалось ему черезчуръ просто. Залъ выглядывалъ вовсе не парадной, торжественной комнатою; царилъ въ немъ даже безпорядокъ жилой комнаты: стулья стояли вразбросъ, на одномъ столикѣ лежала какая-то женская работа. Цапаясь когтями по паркету, изъ столовой выбѣжала щеголевато-тонкая собачка, а за нею быстро вышелъ Линтваревъ.

— Имѣю честь поздравить!—сказалъ Турбинъ и въ смущеніи вынулъ посовой платокъ.

Предупредительно-ласково Линтваревъ пожалъ ему руку.

— Милости просимъ, милости просимъ!..

И, пропуская Турбина впередъ, онъ повелъ его въ столовую.

— А, Николай Нилычъ!—сказала Надежда Константиновна такъ, словно давно ждала его.

Турбинъ расшаркался, оглянулся.

— Николай Нилычъ Турбинъ... Г-нъ Турбинъ...—почти шепотомъ говорилъ хозяинъ.

Молодой, свѣжій и красивый флотскій офицеръ всталъ быстро и поклонился съ преувеличенной вѣжливостью. Невысокій, худощаво-широкоплечій, съ обвѣтреннымъ, инородческаго типа лицомъ докторъ пожалъ ему руку просто и безъ улыбки. Пожилой солидный господинъ, не вставая, сдержанно-вѣжливо наклонилъ голову.

— Присаживайтесь-ка! — сказала хозяйка опять такъ, словно хотѣла сказать: „ну, наконецъ-то, вотъ теперь все пойдетъ прекрасно“.

Турбинъ сѣлъ, вытеръ платкомъ лобъ, все еще глядя словно черезъ воду. То, что одинъ изъ гостей не подалъ ему руки, заставило его ощутить почти физическую боль въ сердцѣ. Теперь онъ выглядывалъ человѣкомъ, который пробѣжался подъ горячимъ, удушливымъ зноемъ.

— Николай Нилычъ, вамъ сколько кусковъ сахару, — обратилась къ нему хозяйка снова съ предупредительной улыбкой.

Турбинъ встрепнулся.

— Я бы попросилъ безъ сахару, — сказалъ онъ.

И онъ взялъ стаканъ, замирая отъ страху повалить его на скатерть или прикоснуться руками къ рукамъ Надежды Константиновны. Такъ какъ общій разговоръ на минуту прервался, то она продолжала:

— Ну, что, какъ ваша школа?

— Ничего, прекрасно, — отвѣтилъ Турбинъ, и его голосъ ему показался чужимъ и слишкомъ громкимъ.

— А въ Можаровкѣ вы на всѣ святки остались? — заботливо прибавилъ хозяинъ.

— Да, ужъ нынѣшній годъ думаю... рѣшилъ такъ, что не ѣздить лучше.

— Да?

Линтваревъ наклонилъ голову, словно пріятно изумился. Затѣмъ торопливо, съ виноватой улыбкой — по необходимости, молъ — обернулся къ сосѣду:

— И вы въ Вѣнѣ пробыли, значить, только дней десять?

И улыбкой пригласилъ учителя къ общему разговору.

Разговоръ оживился. Стараясь держаться свободнѣе, Турбинъ сталъ осматриваться.

XIV.

Тотъ, что не подалъ руки Турбину, Константинъ Павловичъ Беклемишевъ, былъ богатый помѣщикъ, членъ правленія N—скаго частнаго банка и видный человѣкъ въ земствѣ. Линтваревъ часто за глаза подшучивалъ надъ Беклемишевымъ, какъ и надъ всѣми знакомыми, но въ сущности чувствовалъ къ нему большое уваженіе: Беклемишевъ умѣлъ производить впечатлѣніе. Онъ былъ невысокаго роста, плотенъ, но изященъ, родовитъ, съ матовымъ цвѣтомъ моложаваго лица, хотя уже сѣдъ. Держался онъ всегда съ удивительнымъ хладнокровіемъ. Въ собраніяхъ, пока остальные гласные, какъ перепела, перебивали другъ друга, одни стараясь говорить чрезвычайно просто, по-домашнему, „практически-съ“, а другіе съ претензіями на литературную рѣчь въ приподнятомъ тонѣ, — Беклемишевъ спокойно курилъ, а когда говорилъ, — всегда послѣ всѣхъ, — то говорилъ очень сдержанно, дѣльно и серьезно, и эта дѣловитость всѣхъ побѣждала. И теперь такъ же просто и спокойно онъ сидѣлъ у Линтварева и, покуривая, рассказывалъ... Турбинъ старался не глядѣть на него.

Земскій докторъ держался тоже съ достоинствомъ, но просто, и его черемисское лицо и взгляды сквозь очки между быстрыми глотками чая не страшили учителя. Родственницы хозяйки, княжны Трипольскія, часто вставляли свои замѣчанія въ рассказъ Беклемишева лѣниво-красивымъ тономъ. Ихъ Турбинъ уже видѣлъ нѣсколько разъ осенью, когда онѣ амазонками проѣзжали по селу кататься. И у священника, и у лавочника заводились

тогда безконечные разговоры о нихъ. Отъ стараго повара всѣ знали, что княжны очень богаты, живутъ то въ Петербургѣ, то въ своемъ имѣніи, то гостятъ у Линтварева, а больше всего—за границей.

— Что же имъ? Катайся въ свое удовольствіе да и только!—говорилъ про нихъ лавочникъ съ умиленіемъ.

Но, кажется, удовольствія княжны особеннаго не испытывали. Старшая, изящная, но некрасивая, поблекшая, жила на свѣтѣ почти машинально, хотя и безъ скуки: жизнь наполнялась переѣздами. Младшая была молода, красива, но скучала и граціозничала своей скукой; улыбалась она такъ, какъ будто гримасничала, но гримаса выходила красивой и милой. Обѣ уже побывали на курсахъ и держали себя не какъ княжны.

Когда о Турбинѣ забыли, онъ успокоился и только чувствовалъ себя какъ-то странно хорошо въ этой новой обстановкѣ, среди легко развивающагося разговора, сидя около хозяйки, похожей на англійскую леди: такихъ изящныхъ чертъ лица, такой чистоты и нѣжности матовой кожи онъ еще никогда не видывалъ. А когда онъ вставалъ, такъ было легко и пріятно отодвигать тонкій красивый стулъ, ходить по паркету въ этой просторной столовой, ярко озаренной большой лампой надъ столомъ, видѣть блескъ серебрянаго самовара и посуды изъ тончайшаго стекла. Было, правда, одно очень непріятное обстоятельство: во время разказа Беклемишева Турбинъ, не зная, что дѣлать, наклонился и поймалъ собачку; но та, какъ стальная, выскочила изъ рукъ и при этомъ такъ пронзительно взвизгнула, что хозяйка схватилась за високъ и всѣ встрепенулись, обратили на него глаза, и Турбинъ готовъ былъ провалиться сквозь землю отъ смущенія. Но сама же хозяйка и сумѣла замаять эту исторію и такъ непринужденно, словно ничего и не было, обратилась къ нему: „Николай Нилычъ, вы позволите еще чаю?“ что онъ ободрился и смогъ очень ловко отвѣтить: „нѣтъ, mercі... достаточно уже“.

Онъ выпилъ два стакана, наслаждаясь ароматомъ рома, который съ тихой лаской подливалъ ему въ чай хозяинъ, и отъ рому оживился, почувствовалъ смѣлость и вѣрную упругость въ ногахъ. Онъ даже не смутился, когда пріѣхало еще нѣсколько человѣкъ гостей: красивая, полная вдова-помѣщица съ завитой головой, съ горящими отъ мороза ушками, старикъ-помѣщикъ, который немножко рисовался простотой, но котораго всѣ любили за эту простоту и тотчасъ окружили съ веселыми улыбками, еврей-инженеръ, сухой, черненькій, подвижной, въ родѣ той собачки, которую поймалъ Турбинъ, и, наконецъ, членъ суда, такой чистый, какъ всѣ судейскіе, свободный и веселый острякъ, дѣлавшій умные, насмѣшливые глаза. Онъ, какъ дома, прошелъ по всѣмъ комнатамъ и, сѣвши за рояль, началъ брать бурные аккорды.

Говорили о театрѣ. Трипольскія съ восторгомъ рассказывали объ игрѣ Заньковецкой въ Петербургѣ, объ оперѣ „Карменъ“, бранили Мазини, хвалили Фигнера... рассказывали про своихъ знакомыхъ, про Толстого, про поэта Надсона. Какъ будто желая описать, какой онъ милый и больной человѣкъ, княжны рассказали, что онъ у нихъ былъ въ гостяхъ, а потомъ онъ его навѣстили въ Ниццѣ. Членъ суда декламировалъ пародіи Буренина на Надсоновскіе стихи. Потомъ разговоръ разбился—въ одномъ мѣстѣ слышались имена знакомыхъ, въ другомъ все еще Мазини и Фигнера. Учитель, изгибаясь и покачиваясь, подходилъ то къ одной, то къ другой группѣ и все время былъ въ напряженномъ состояніи отъ желанія хоть что-нибудь сказать. Но все разговоръ шелъ о неизвѣстномъ, и онъ молчалъ или смѣялся сдержанно и не искренно, когда смѣялись другіе.

— А вы все о своемъ профессиональномъ образованіи?—сказалъ онъ, наконецъ, подходя къ разговаривавшимъ въ столовой Лянтвареву и Беклемишеву.

Беклемишевъ тихо поднялъ на него глаза.

— Нѣтъ, почему же...—сказалъ Линтваревъ, улыбаясь.

Турбинъ, тоже улыбаясь, поднялся на носки, отчего сталъ еще выше, опустилсѣ и продолжалъ:

— Вы хотите, какъ я слышалъ, такъ серьезно имъ заняться?

Отъ неловкости Турбинъ подчеркивалъ слова, и ихъ можно было принять за насмѣшку. Особенно нехорошо ему было отъ пристальнаго и спокойнаго взгляда Беклемишева. Но все-таки онъ присѣлъ къ столу, предварительно посмотрѣвъ на стулъ и, раздвинувъ полы сюртука, разставилъ острыми углами свои тонкія ноги и, поставивъ локоть на колѣно, сталъ пощипывать кончики своихъ жидкихъ бѣлесыхъ усовъ.

— Меня, по правдѣ сказать, очень интересуеъ этотъ вопросъ,—сказалъ онъ, помолчавъ, какъ-то внезапно.— Я, конечно, говорю искренно...

— Съ какой же именно стороны васъ интересуеъ?—спросилъ Беклемишевъ.

— Т. е. какъ съ какой стороны? Вообще... въ примѣненіи его въ жизни.

Беклемишевъ поставилъ руки на столъ и, соединяя ладони, смотрѣлъ, ровно ли приходятся пальцы одинъ къ другому. Линтваревъ старательно набивалъ машинкой папирсы.

— Я читалъ,—продолжалъ Турбинъ уже съ усиленіемъ,—недавно въ одной газеткѣ про книжицу какого-то Весселя о профессиональномъ образованіи... Меня собственно удивило, что къ его мыслямъ, очевидно, многіе относятся враждебно: напримѣръ, директоръ ремесленнаго училища Цесаревича Николая... Мнѣ кажется, что тутъ есть несправедливость... Онъ говоритъ, напримѣръ, что школа собственно несовмѣстима съ мастерской...

— Т. е. это,—мягко перебилъ Линтваревъ,—Песталлоци мнѣніе, а Вессель, хотя и...

— Ну, да, и Песталлоци,—перебилъ, въ свою очередь, Турбинъ, и уже въ немъ загорѣлось желаніе спора.—Только, по моему мнѣнію, это и понятно... Когда мнѣ, позвольте спросить, обучать своего какого-либо мальчика мастерить разныя бездѣлушки, когда онъ самъ, въ своемъ быту, такъ сказать...

— Зачѣмъ же непременно бездѣлушки?

Турбинъ весело и ласково улыбулся.

— Мнѣ собственно это все представляется какъ бы игрушками... Мнѣ трудно это объяснить, но всѣ эти затѣи... говорятъ, подспорье хозяйству... но вѣдь смѣшно подпирать то, что разваливается окончательно... да и не соответствуетъ это все духу нашего народа, истого земледѣльца... А учить его, напримѣръ, дѣлать плетушки...

— Ну, да, ученаго учить только портить,—насмѣшливо сказалъ Беклемишевъ.

Турбинъ взглянулъ на него и хотѣлъ продолжать, чтобы сказать, что онъ думаетъ, болѣе ясно и связно. Но Беклемишевъ, какъ бы забывъ о его присутствіи, тихо и спокойно промолвилъ Линтвареву:

— Да, такъ я думаю, что это еще гадательно: князь слишкомъ глупъ для этого, а Гарницкій—юнъ.

Линтваревъ виновато посмотрѣлъ на Турбина. Турбинъ смолкъ. Теперь ему хотѣлось одного—поскорѣе уйти изъ столовой. Но встать сразу было неловко.

— А я все хотѣлъ попросить у васъ какой-либо книжицы изъ вашей библіотеки,—сказалъ онъ, наконецъ, подымаясь.

— Съ величайшимъ удовольствіемъ,—поспѣшилъ отвѣтить Линтваревъ.

Турбинъ всталъ и медленно прошелся по столовой. Онъ долго стоялъ передъ каминомъ, а потомъ разсматривалъ большой портретъ Толстого, писанный масляными красками. Но ему уже было не по себѣ. Музыка въ залѣ ударила ему по сердцу какъ-то болѣзненно.

И, пользуясь предложеньемъ, что онъ идетъ слушать, онъ поспѣшно вышелъ въ залу.

XV.

Взволнованный, онъ долго сидѣлъ, не понимая, что играютъ. Игралъ членъ суда.

— Что это? — спросилъ сидѣвшій около него старикъ-помѣщикъ, обращаясь къ хозяйкѣ.

— Соната Грига. Вы не знаете?

— Десять лѣтъ не игралъ, — сказалъ помѣщикъ со вздохомъ, — а хорошо!

— Чудно! — подтвердила хозяйка.

Музыка Грига рѣшительно не нравилась Турбину. Звуки лились вычурно, быстро и не трогали его сердца. Онъ чувствовалъ, что она такъ же чужда ему, какъ все общество, окружавшее его. Съ начала вечера онъ все ждалъ чего-то, напряженно ждалъ, что будетъ что-то хорошее. Теперь это чувство ослабѣло. Онъ думалъ, что надо идти домой, что никому онъ не нуженъ. Никто даже и не поинтересовался имъ, не поговорилъ, чтобы узнать, что онъ за человѣкъ. Даже хозяинъ только предупредительно, безпокойно вѣжливъ съ нимъ... И по мѣрѣ того, какъ переливались и возрастали звуки сонаты Грига, на душѣ у него становилось все скучнѣе и холоднѣе.

Но музыка смолкла. „Посижу еще, послушаю немного и уйду“, рѣшилъ Турбинъ. Но поднялся разговоръ о Григѣ. Старикъ-помѣщикъ добродушно-насмѣшливо покачивалъ головой. „Хорошо, а не забирючиваетъ“, говорилъ онъ. Членъ суда горячился, доказывая, что „Григъ великолѣпенъ“.

— А его симфоніи? — кричалъ онъ въ восхищеніи, — а Peer Gynt? Это чудо искусства!

— Кто такой этотъ Peer Gynt? — спросилъ старикъ.

— Полноте, Сергѣй Львовичъ! — сказалъ членъ суда.

— Что? Богъ свидѣтель, не знаю.

— Музыка къ драматической поэмѣ Ибсена...

— А что это за штука Peer Gynt-то? — повторилъ Сергѣй Львовичъ.

Членъ суда смутился.

— Имя героя, — сказалъ онъ и сейчасъ же поспѣшилъ заиграть. Раздумчиво улыбаясь, онъ тихо началъ „Бѣлыя ночи“ Чайковского:

Какая ночь! На всемъ какая нѣга!
Благодарю, родной, полночный край!

Турбинъ не зналъ ни этихъ словъ, ни Чайковского; но, при первыхъ же чистыхъ, поэтическихъ звукахъ мелодіи, у него дрогнуло сердце; что-то нѣжно-призывающее было въ нихъ; а когда эти зовущіе звуки опредѣлились въ томительно-грустные, Турбину захотѣлось заплакать отъ сладкой боли въ душѣ. Мысленно онъ сидѣлъ теперь въ своей комнатѣ, и что-то воскрешало всѣ лучшія его воспоминанія, раскрывало и призывало его сердце къ чему-то давно забытому и хорошему, какъ первая любовь. Такъ жалко ему стало самого себя, такимъ просвѣтленнымъ чувствовалъ онъ себя въ эти минуты!

Когда рояль стихъ, всѣ помолчали. Турбинъ всталъ и подошелъ къ нему. Ему хотѣлось еще музыки, но онъ не зналъ, что назвать. Онъ подумалъ о „Молитвѣ дѣвы“... но это было какъ-то неловко сказать.

— Будьте добры, сыграйте еще что-нибудь, — обратился онъ, наконецъ, застѣнчиво къ члену суда.

— Что же? — спросилъ тотъ, перебирая ноты.

— Что-нибудь Бетховена.

— А Григъ вамъ не нравится?

— Нѣтъ.

Членъ суда посмотрѣлъ на него внимательно и сдѣлалъ насмѣшливые глаза.

— Сонату? — спросилъ онъ.

Турбинъ въ смущеніи качнулъ станомъ.

— Да, сонату...

— Какую же?

— Все равно... — пробормоталъ Турбинъ, чувствуя, что надъ нимъ смѣются.

— Неужели все равно?

— Ну, да эту матерію можно оставить! — перебилъ старикъ-помѣщикъ, беря Турбина подъ руку, и такъ просто и мягко началъ разговоръ, что Турбинъ повеселѣлъ и отвѣчалъ уже безъ всякаго стѣсненія. Улыбаясь своими добрыми сѣрыми глазами, Сергѣй Львовичъ говорилъ про все съ удивительно своеобразнымъ и милымъ юморомъ и очень заинтересовался, узнавъ, что Турбинъ играетъ на гитарѣ.

— Вы, пожалуйста, ко мнѣ пріѣзжайте, — говорилъ онъ, — я за вами лошадей пришлю подъ новый годъ. Идетъ?

— Идетъ, — отвѣчалъ Турбинъ весело.

Но тутъ позвали къ закускѣ. Турбинъ настроилъ себя чинно и шелъ къ столу медленнѣе всѣхъ.

Хозяинъ особенно хвалилъ и предлагалъ селедку. Членъ суда, съ видомъ знатока, попробовалъ ее и нашелъ „геніальной“. Сергѣй Львовичъ переглянулся съ Турбинымъ. И отъ этого Турбину стало еще веселѣе.

— Николай Нилычъ! Водки? — сказалъ хозяинъ.

— Можно.

— Хинной или простой?

— Хинной, такъ хинной.

— Такъ будьте добры — распоряжайтесь сами.

— Не безпокойтесь, не безпокойтесь, пожалуйста!

Около стола тѣснились, оживленно переговаривались. Съ тарелкою въ рукахъ Турбинъ долго стоялъ въ концѣ всѣхъ. Онъ не обѣдалъ и поэтому съ удовольствіемъ выпилъ рюмку водки, погонялся вилокъ за ускользящимъ грибомъ и ограничился на первое время пирогомъ. Послѣ первой же рюмки онъ почувствовалъ легкій хмѣль, очень захотѣлъ ѣсть и долго,

поглядывая искоса и стараясь не торопиться, ѣлъ однихъ омаровъ. Членъ суда уже дружески предлагалъ ему выпить съ нимъ, и учитель выпилъ еще рюмку простой водки. И водка, и дружескій тонъ члена суда совсѣмъ размягчили его.

Первыя минуты опьянѣнія онъ чувствовалъ себя такъ же, какъ въ самомъ началѣ вечера: какъ сквозь воду видѣлъ блескъ огней и посуды, лица гостей, слышалъ говоръ и смѣхъ, чувствовалъ, что теряетъ способность управлять словами и движеніями тѣла, хотя сознавалъ еще все ясно. Раскраснѣвшееся, потное лицо затягивало словно паутиной; въ головѣ слегка шумѣло. Но все-таки онъ старался оглядываться смѣло и весело своими томными глазами. Вмѣстѣ съ тѣмъ, ему было жарко. Когда же Линтваревъ (Турбину казалось, что и Линтваревъ запьянѣлъ) взялъ его подъ руку и повелъ къ столу ужинать, онъ почувствовалъ себя такимъ большимъ и неловкимъ.

— Не выпьемъ ли еще по единой передъ ситомъ?— сказалъ ему членъ суда.

— Блаженный Теодоритъ велитъ повторить,—отвѣчалъ Турбинъ со смѣхомъ.

— Repeticio est mater studiorum. Не такъ ли? — промолвилъ съ другого конца стола флотскій офицеръ, явно поддѣływаясь подъ семинарскую рѣчь.

Турбинъ понялъ это и вызывающе поглядѣлъ на офицера.—Ну, и чортъ съ тобой! — подумалъ онъ и, усмѣхаясь, крикнулъ:

— Optime!

Членъ суда поспѣшилъ налить. Хозяйка какъ будто вскользъ, но значительно поглядѣла на него. И это Турбинъ замѣтилъ, но никакъ не могъ обидѣться: такъ просто и тепло стало у него на душѣ.

— Да и послѣдняя!—сказалъ онъ, вышивая рюмку и махая рукой.—Я и такъ мокрый, какъ мышь.

Удерживаясь отъ смѣха, младшая княжна зажала

ротъ платкомъ. Турбинъ поглядѣлъ на тонкій профиль ея молодого личика, на смѣющіеся глаза, и сердце его такъ и запрыгало. Такою молодостью вѣяло отъ нея, такъ были хороши темныя кудри надъ ея матовымъ лбомъ.

Ужинъ, какъ показалось Турбину, прошелъ чрезвычайно быстро. Онъ запомнилъ только, что ѣлъ горячій ростбифъ, при чемъ сои огнемъ охватили ему ротъ, съѣлъ кусокъ тетерки, пилъ мадеру и лафитъ и плохо соображалъ, о чемъ идетъ говоръ. На его счастье Беклемишевъ куда-то скрылся. „Вѣрно, въ карты дуется“, — думалъ Турбинъ.

За масседуаномъ подали шампанское (былъ день рожденія хозяйки), и, дождавшись своего бокала, Турбинъ быстро всталъ и оглушительно крикнулъ „ура!“ Но за оживленіемъ на это не обратили особеннаго вниманія. Всѣ столпились въ кучу, поздравляя хозяйку и самого Линтварева. Линтваревъ, съ бокаломъ въ одной рукѣ, прижималъ другую къ сердцу и старался казаться и тронутымъ, и шутливымъ.

— Ура! — крикнулъ еще разъ Турбинъ, но уже потише и улыбнулся слабой, жалкой улыбкой.

— Не стойтъ! — шепнулъ докторъ, сжимая ему локоть.

— Ну, не надо...

И улыбаясь, Турбинъ медленно пошелъ въ залъ. Теперь онъ уже освоился съ тѣмъ, что не можетъ управлять собою.

XVI.

Послѣ ужина оживились всѣ. Лакей разносилъ чай, предложенный хозяиномъ. „Люблю, грѣшный чело-вѣкъ!“ — говорилъ онъ. — „Господа, кто желаетъ китайскаго зелья?“ Всѣ приняли это предложеніе съ шумными

одобреніями, какъ на земскихъ собраніяхъ: „Просимъ, просимъ!..“

— Отклонить!—крикнулъ Сергѣй Львовичъ среди общаго смѣха.

— Сергѣя Львовича сыграть просимъ!—крикнулъ хозяинъ.

— Благодарю, господа, я чувствую себя слишкомъ утомленнымъ,—отнѣкивался Сергѣй Львовичъ, продолжая пародировать гласныхъ. Но тутъ поднялся такой шумъ и крикъ, что отказываться стало невозможно.

— Просимъ!—весело крикнулъ Турбинъ уже послѣ всѣхъ.

— Давненько я не бралъ въ руки шашекъ!—говорилъ Сергѣй Львовичъ, кряхтя и усаживаясь за рояль.

Когда же онъ заигралъ, всѣ затаили дыханіе. Онъ игралъ сильно, чисто и чрезвычайно мягко. Лицо его стало молодо, задумчиво; играя Шопена, онъ опустилъ голову и только по той порывистой нѣжности и силѣ, съ которой онъ бралъ каждую ноту, можно было видѣть, что онъ взволнованъ.

— Сергѣй Львовичъ! Вебера!—сказалъ членъ суда во время перерыва.

Сергѣй Львовичъ поднялъ брови и подумалъ.

— Нѣтъ,—сказалъ онъ съ улыбкой,—попробуемъ блеснуть техникой. Ну-ка... нѣтъ... вотъ! Да, да, такъ...

— Тарантелла...—шепнулъ флотскій офицеръ.—Николая Рубинштейна?

Членъ суда утвердительно кивнулъ головой.

Изъ медленныхъ, въ которыхъ сказывалась хитрая, сдержанная удаля, звуки уже превратились въ шумные, быстрые и затрепетали въ какомъ-то дикомъ восторгѣ.

— Что это такое, что?—шепталь Турбинъ, хватая доктора за руку.

Но тутъ возгласы одобренія заглушили послѣдніе аккорды „Тарантеллы“. Казалось, что если бы танецъ

не кончился, можно было бы задохнуться отъ напряженія... Турбинъ хохоталъ нервнымъ смѣхомъ.

— Вотъ это такъ, такъ!—бормоталъ онъ въ восторгѣ.

— А теперь—угодно кадрили?—крикнулъ Сергѣй Львовичъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, --подхватилъ Линтваревъ, —гроссъ-фатеръ!

Подъ церемонные звуки старинной музыки дамы во главѣ съ хозяиномъ и членомъ суда начали комически двигаться, раскланиваться, но спутались, перемѣшались и со смѣхомъ остановились.

— Ну, лянсье!—взывалъ хозяинъ.

— Не выйдетъ!

— Выйдетъ!

— Кадриль!

Турбинъ тоже порывался танцовать и, сверкая веселыми глазами, быстро оглядывался кругомъ, ища дамы. Когда же раздались звуки кадрили и флотскій офицеръ подаль руку старшей княжнѣ, Турбинъ расшаркался передъ полной вдовой-помѣщицей, которая весь вечеръ сидѣла молча. Она поглядѣла на него и покачала головой. „Ну, не надо... все равно!“ --подумалъ Турбинъ отчаянно и, повернувшись, лихо поклонился младшей княжнѣ.

— А визави?

— Къ вашимъ услугамъ, —сказалъ членъ суда подаль руку съ хозяйкой.

Торопясь и наталкиваясь на танцующихъ, Турбинъ почти побѣждалъ впередъ съ княжной. Музыка становилась все веселѣе; пары шаркали по полу; запотѣвшій, улыбающійся флотскій офицеръ кричалъ сдержанно-бойко и торопливо:

— *Chaine de dames!.. chaine de messieurs!.. en avant!..*

И, увлекая за собой дамъ и самъ растянутый ими за руки въ разныя стороны, едва успѣвалъ движеніями головы командовать танцующими. Но все-таки въ третьей

фигурѣ всѣ перемѣшались и спутались, какъ въ гроссъ-фатерѣ. Отъ этого Турбину стало еще веселье. Звуки четвертой фигуры раздались вдругъ такъ вызывающе, что онъ, уже не слушая криковъ офицера, понесся впередъ съ отчаянной рѣшимостью. Старшая княжна пугливо сторонилась отъ его неловко размахивающейся фигуры. А онъ уже не могъ удержаться: музыка, потребность движенія, веселья, блескъ глазъ княжны, вся ея фигурка въ его большихъ рукахъ—пьянили его все болѣе и болѣе.

— Пятую!—возгласилъ флотскій офицеръ и захлопалъ въ ладоши.

— Русскую!—крикнулъ членъ суда.

Сергѣй Львовичъ обернулся, кивнулъ головой и ударилъ по клавишамъ.

— Русскую!—повторилъ членъ суда и Турбину.

Турбинъ тотчасъ же бросилъ свою даму, отбѣжалъ назадъ, постоялъ мгновенье и вдругъ такъ рванулся впередъ, что кругомъ послышался хохотъ. Это ударило ему въ голову горячими парами.

— Сергѣй Львовичъ!—завопилъ онъ,—пожалуйста!.. ту, веселую...

— Тарантеллу?

— Да, да!

И, уже не слушая музыки, безъ всякаго такта, Турбинъ зашаркалъ ногами впередъ, потомъ все быстрѣе, быстрѣе пошелъ мелкой дробью и вдругъ стукнулъ ногами въ паркетъ, подпрыгнулъ и пустилъ руки между ногами, словно разрубилъ что-то со всего размаха.

— Ёще!—крикнулъ кто-то насмѣшливо.

Подъ разрастающіеся звуки „Тарантеллы“ Турбинъ охотно побѣжалъ назадъ, заплетая и размахивая ногами, какъ веслами.

Но—о, ужасъ!—въ двухъ шагахъ отъ него стоялъ отецъ Линтварева: шаркая старческими ногами и подаваясь впередъ, онъ поторопился изъ маленькой го-

стиной, гдѣ игралъ въ карты, на шумъ въ залѣ. Увидавъ пляску, онъ въ изумленіи поднялъ свою сѣдую, большую голову и, приложивъ къ переносицѣ пенснэ, глядѣлъ прямо въ лицо Турбину удивленными, остановившимися глазами.

Турбинъ качнулся въ сторону и съ жалкой улыбкой махнулъ рукой. Докторъ быстро подошелъ къ нему.

— Поѣдьте, батенька, домой, — сказалъ онъ ему строго.

— Нѣтъ, чего же?.. — съ принужденной улыбкой отвѣтилъ Турбинъ. — Я еще не хочу.

Лицо его было блѣдно, холодный потъ крупными каплями покрывалъ лобъ...

— Нельзя, нельзя, — повторилъ докторъ еще строже и, взявъ его подъ руку, повелъ въ переднюю.

Турбинъ, приплясывая, покорно пошелъ...

XVII.

Трудно было опредѣлить — спалъ или не спалъ онъ, добравшись домой: до того живы и безпокойны были сновидѣнія. Казалось, что онъ все еще въ гостяхъ: вся обстановка, всѣ лица гостей окружали его; люди двигались, перетасовывались, проходили передъ нимъ какъ въ пантомимѣ, и онъ самъ во всемъ участвовалъ и чувствовалъ, что все выходитъ хорошо и ловко, хотя и безпокоить что-то, спутываетъ все. Турбинъ старался вспомнить, что же это мѣшаетъ и никакъ не могъ, и сновидѣнія возобновлялись, картины, какъ въ панорамахъ появлялись снова. Утомленный этимъ безпокойнымъ сномъ до послѣдней степени, Турбинъ былъ радъ, когда, наконецъ, открылъ глаза. Дневной свѣтъ совершенно отрезвилъ его, и первое ощущеніе, испытанное Турбинымъ, было удивленіе передъ всѣмъ совершившимся вчера. Да, вѣдь онъ на самомъ дѣлѣ былъ, этотъ ве-

черъ! То, что такъ долго ожидалось, уже сбылось и кончилось... А подробности этого вечера...

Стыдъ, жгучій стыдъ до слезъ, до боли пронялъ всю душу Турбина. Онъ стиснулъ зубы, крѣпко прижалъ голову къ подушкѣ. Все внутри трепетало у него отъ возрастающаго горькаго чувства.

Вдругъ онъ вскочилъ. Онъ рѣшился переломить себя, задавить всѣ эти воспоминанія. Онъ поспѣшно одѣвался, убиралъ комнату. Въ ногахъ была слабость, но голова не болѣла. Онъ старался дѣлать все какъ можно правильнѣе и серьезнѣе. И въ то же время спокойно выискивалъ оправданія прошлому вечеру.

— Да что, въ самомъ дѣлѣ?—сказалъ онъ, наконецъ, громко,—что случилось особеннаго-то?.. Да и не увижу я, можетъ быть, больше никогда этого барина...

Отворилась дверь. Увидавъ Павла, Турбинъ сдѣлалъ серьезное и будничное лицо.

— Самоваръ-то ставить, что ль?—спросилъ Павелъ.

— А почему же не ставить?

— Да то-то, молъ, надо ли?..

Турбинъ отвернулся и старательно разстилалъ одѣяло. Павелъ помолчалъ, потомъ вдругъ лукаво заглянулъ Турбину въ глаза и, съ просіявшимъ лицомъ, быстрымъ шопотомъ спросилъ:

— Ай слетать къ Ивану Филимонычу?

— Это зачѣмъ?

— За похмѣлочкой?.. а?

— Убирайся ты отъ меня къ шуту съ своими бессмысленными глупостями!—закричалъ вдругъ Турбинъ, багровѣя отъ злобы.

Послѣ чая онъ лежалъ на кровати. Въ головѣ машинально проходили разныя успокоительныя мысли; иногда мгновенное яркое воспоминаніе о пляскѣ острой болью отзывалось въ сердцѣ. Тогда онъ почти съ яростью начиналъ придумывать самыя оскорбительныя фразы, которыя, вѣроятно, посыпались по его адресу, какъ

только онъ вышелъ, въ домъ Линтварева. А на селѣ!.. Съ какими глазами показаться теперь на село?

Однако, онъ заставилъ себя одѣться, и какъ ни въ чемъ не бывало, пошелъ къ дьячку обѣдать. „Знаютъ или нѣтъ?“ думалъ онъ, боязливо глядя на заводскую сторону.

Около лавки онъ постарался идти какъ можно медленнѣе.

— Съ праздникомъ, Иванъ Филимонычъ!—сказалъ онъ, увидя лавочника, стоявшаго около саней съ ящикомъ водки.

Лавочникъ считалъ бутылки, передавая ихъ въ лавку мальчику, но отвѣтилъ Турбину учтиво и поспѣшно:

— И васъ также! Милости просимъ.

— Постараюсь.

— Николай Нилычъ теперь загордѣлъ,—вдругъ раздался голосъ лавочницы съ крыльца.

Она стояла въ шубѣ, накинутой на плечи, и смотрѣла на Турбина насмѣшливо-пристально. Лавочникъ вдругъ обернулся къ ней съ строгимъ взглядомъ, и по одному этому взгляду Турбинъ понялъ, что все извѣстно, все... и съ замирающимъ сердцемъ поспѣшилъ скрыться въ избѣ дьячка.

Обѣдъ прошелъ спокойно. Но когда Турбинъ уже поднялся изъ-за стола, дьячекъ, глядя въ сторону, сказалъ такъ, словно продолжалъ начатый разговоръ:

— И совсѣмъ не стоило туда ходить. И батюшка тоже говорить, и Иванъ Филимонычъ.

Турбина словно ударили чѣмъ-нибудь по головѣ.

— Куда это?—черезъ силу спросилъ онъ.

— Если, гыртъ,—продолжалъ дьячекъ уныло-невозмутимымъ тономъ,—если, гыртъ, съѣсть-спить, такъ и у меня былъ бы сытъ, не попрекнулъ бы кускомъ... Да и правда: не намъ съ вами бывать у такихъ персонъ!

— Ну, да я... я, о. Алексѣй, кажется, самъ не маленькій...

Дьячекъ только вздохнулъ. Дрожащими руками Турбинъ нашелъ скобку и хлопнулъ дверью.

— И прекрасно! И прекрасно!—съ злобной радостью похохатывалъ онъ, почти бѣгомъ взбираясь на гору.

XVIII.

— Дома?—раздался въ передней голосъ Слѣпушкина уже въ сумерки.

Павелъ отвѣчалъ что-то торопливымъ шопотомъ.

— Ну, ну, не надо; не буди... Богъ съ нимъ.

Дверь хлопнула, все стихло. Турбинъ лежалъ безъ движенія...

— Очнись!—кричалъ черезъ полчаса Кондрать Семенычъ, со смѣхомъ вваливаясь въ комнату.—Ты, говорятъ, чортъ знаетъ, какихъ штукъ тамъ натворилъ? Какой это ты танецъ своего изобрѣтенія плясалъ?

— Оставьте, пожалуйста, меня въ покоѣ!

— Да нѣтъ, какъ же, братъ,--говорять, вдребезги насадился?

Ухмыляясь, Кондрать Семенычъ присѣлъ на кровать и продолжалъ уже съ искреннимъ участіемъ, но обращаясь къ Турбину, какъ къ завѣдомому пьявицѣ:

— Гм, братъ, пожалуй, неловко; свинство! Ты бы хоть на первый-то разъ поддержался немного... Надо сходить извиниться. Еще, пожалуй, съ мѣста попрутъ... Непременно попрутъ!

А еще черезъ полчаса на столѣ стояла бутылка водки. Турбинъ, уже захмѣлѣвшій, облокотившись на столъ и положивъ голову на руки, сидѣлъ молча.

— Чортъ знаетъ что!—говорилъ Кондрать Семенычъ,--говорять, тебя за крыльцо выкинули?

— Кто это?

— Что?

— Говорить-то?

— Слѣпушкинъ.

Турбинъ злорадно засмѣялся.

А Кондратъ Семенычъ съ серьезнымъ лицомъ грустно продолжалъ:

— Онъ, братъ, Линтваревъ-то этотъ, глумился надъ тобой, сукинъ сынъ. Я бы на твоёмъ мѣстѣ ему морду разбилъ. Оплевать, воспользоваться твоей необразованностью!.. Подло, братъ! Мнѣ тебя отъ души жаль.

Турбинъ вдругъ сморщился, захлюпалъ, хотѣлъ что-то сказать, но захлебнулся слезами и только зубами скрипнулъ.

— Ну, вотъ и опять готовъ!—сказалъ Кондратъ Семенычъ съ сожалѣніемъ. — Тебѣ, братъ, стоитъ бросить пить.

— Да не пьянъ я!—закричалъ Турбинъ бѣшено, съ красными, полными слезъ глазами и треснулъ кулакомъ по столу..

XIX.

— Передущу! — крикнулъ Васька, когда рыженькая троечка что есть духу разнеслась въ темнотѣ подъ гору и толпа ребятъ и дѣвокъ, какъ стадо овецъ, шарахнулась въ сторону.

Взрывъ хохота и криковъ на время покрылъ звонъ колокольчиковъ; мелькнули огни кабака, раздались пѣсни... Турбина охватило отчаянное чувство смѣлости и веселья.

— Пошелъ!—крикнулъ онъ Васькѣ.

На полугорѣ сани налетѣли на водовозку, сбили ее въ сторону. Около завода какая-то фигура вынырнула изъ темноты и ввалилась въ сани, на ноги Турбина.

— Митька? Ты? — крикнулъ Кондратъ Семенычъ.

— Ребята гнались, — молчи!

И, на поворотѣ въ село, фигура выпрыгнула изъ саней и опять скрылась въ темнотѣ.

Село все больше и больше оживлялось. Въ избахъ

вездѣ свѣтились огни, попадались кучки народа на улицѣ, слышался гамъ, горластыя пѣсни и толкотня пляски. Тамъ и тутъ въ разные тоны „драли“ гармоники, и звуки съ бѣшенствомъ перебивали другъ друга. Стономъ стояла и развивалась протяжная „страдательная“, и вдругъ ее покрывалъ азартный трепакъ, топотъ ногъ и взвизгиванія...

Турбинъ сидѣлъ какъ во снѣ..

Сперва попали въ какую-то избу, биткомъ набитую народомъ. Съ непривычки, Турбину показалось даже страшно въ ней: такъ было жарко, низко и людно. Шла оживленная игра въ „короли“. Неиграющіе, лежа съ другъ къ другу на плечи и почти доставая головами до потолка, покрытаго отъ черной топки словно чернымъ густымъ лакомъ, тѣснились къ столу. За столомъ тоже тѣснились ребята въ разстегнутыхъ полушубкахъ и чистыхъ рубахахъ, дѣвки въ красныхъ ситцахъ, сильно пахнущихъ краскою. У всѣхъ были сжаты корабликомъ карты въ рукахъ и напряженно-веселыя лица. Ребятишки шмыгали по ногамъ, лѣзли изъ сѣнецъ въ избу. „Выстудили избу, окаянные!“ кричала на нихъ хозяйка и громко спрашивала Кондрата Семеныча:

— А это чей же будетъ?

— Свой, тетка!—отвѣтилъ Турбинъ съ хохотомъ и, сѣвши на лавку, не удержался, завалился за сидящихъ и задралъ ноги.

А Кондратъ Семенычъ суетился и поминутно исчезалъ въ сѣнцахъ. Выбравшись изъ душной избы, Турбинъ вдругъ услышалъ, что въ углу кто-то шепчетъ:

— Да ко мнѣ-то нельзя.

— Ну, куда же?

— Къ печнику. Хочешь?

— Ёдемъ.

И черезъ минуту Турбинъ былъ въ саняхъ, а Кондратъ Семенычъ втащилъ въ нихъ хохочущую солдатку

(съ ней-то и велись переговоры) и, стоя, закричалъ Васькѣ:

— Дѣлай!

— Поѣхали!—закричалъ Турбинъ тонкимъ голосомъ.

— Попала шлея подъ хвостъ, когда такое дѣло!—подхватилъ Кондрать Семенычъ.

XX.

Дальнѣйшія событія еще болѣе тонули въ хаотическомъ безпорядкѣ.

Отъ посѣщенія печника болѣе всего осталось въ памяти его пѣніе. И самъ печникъ, волосатый, пожилой мужикъ, и жена его, всегда веселая и разбитная баба, больше всего на свѣтѣ любили водку и пѣсни. Гости за посѣщеніе ихъ избы напаявали ихъ, и безпутные супруги бывали очень довольны такими вечерами. И теперь тотчасъ же въ печкѣ запылалъ огонь, зашипѣла и затрещала яичница съ ветчиной, загудѣла труба на самоварѣ. Запьянѣвшая, раскраснѣвшаяся хозяйка весело поддувала пламя подъ таганчикомъ и съ ласковой улыбкой останавливалась, рассматривая Турбина... Затѣмъ начался пиръ. За каждымъ кускомъ слѣдовала водка; ошалѣвшій Турбинъ не отставалъ отъ другихъ, хотя уже чувствовалъ, что съ великимъ трудомъ слышитъ говоръ и пѣсни вокругъ себя. Пѣсни началъ печникъ... и дикое же впечатлѣніе осталось отъ этихъ пѣсень! Положивъ голову на волосатую руку, печникъ что ни есть мочи разливался такимъ неистовымъ крикомъ, что на шеѣ у него вздувались синія жилы.

— Ышьте, что ль, ветчину-то --кричала въ то же время хозяйка.

Турбинъ машинально кусокъ за кускомъ ѣлъ страшно соленую ветчину, и челюсти у него ломило отъ безплодныхъ усилій разжевать эти жареные брусочки.

— Не урвешь!—кричалъ и Кондрать Семенычъ.-- Хряковину, подлецъ, отпустилъ!

На печника уже не обращалъ никто вниманія. Перебивая его пѣсни, Кондрать Семенычъ съ Васькой лихо играли на двухъ гармоникахъ барыню. а бабы, обѣ раскраснѣвшіяся, съ полчаса, съ прибаутками и съ серьезными, неподвижными лицами выхаживали другъ передъ другомъ, постукивая каблуками:

Посылала меня мать
Караулить гусака,
А я вышла за ворота—
Задавала плясакъ!

вычитывала хозяйка.

Ужъ я ее кнутомъ,
И кнутомъ, и прутомъ...

бойко покрикивала въ отвѣтъ солдатка, то прихлопывая въ ладоши, то упирая руки въ бока.

— Дѣлай! Ощипись!—повторялъ Васька, потрясая гармоникой надъ головою и пускаясь въ самыя отчаянныя варьяціи „барыни“. Въ чаду безпричинной, напряженной веселости сознаніе учителя иногда прояснялось. „Гдѣ это я? что такое?“ спрашивалъ онъ себя, но тотчасъ начиналъ хлопать въ ладоши и въ тактъ „барыни“ стучать сапогами въ полъ.

А за окномъ, которое завѣсили попоной, галдѣлъ народъ, порываясь въ избу. Горькій пьяница, рабочій съ завода, „Бубень“, огромный, худой мужикъ, съ лошадинымъ лицомъ, съ растрепанными пьяными губами, нѣсколько разъ отворялъ дверь.

— Не пускай, ну его къ чорту!—говорилъ Кондрать Семенычъ.

— Ну, что ты? Кого тебѣ?—спрашивала хозяйка, загораживая порогъ.

Улыбаясь и качаясь, „Бубень“ придерживался за притолку и говорилъ:

— Да чего? Да ничего! Зайти закурить только.

— Никого тутъ нѣтути. Иди.

— Буде, буде толковать-то!

— Вотъ домовой-то,—какъ носомъ учуять!

Кондрать Семенычъ рѣшительно подошелъ къ двери.

— Да кто это тамъ?

— Это я, Кондрать Семенычъ,—сдергивая шапку и улыбаясь пьяной, мутной улыбкой, отвѣчалъ „Бубень“.— Я ничего плохого... Закурить только...

— Ну, ну... съ Богомъ!

У Турбина уже нестерпимо ломило въ темени отъ жары и водки. Но онъ все еще не отставалъ отъ другихъ и когда раздались крики, что съ лошадей сняли возжи и черезсѣдельникъ, онъ даже выскочилъ вмѣстѣ съ Васькой на улицу, готовый на отчаянную драку. Но никого уже не было... На морозѣ водка еще болѣе разобрала его, и съ этого момента воспоминанія его совершенно путаются.

Запомнилъ онъ только, что онъ долго бродилъ по сѣнцамъ, а когда Кондрать Семенычъ выпихнулъ къ нему бабу, онъ вытащилъ ее на скотный дворъ, а она вырывалась и торопливо шептала:

— Что ты, что ты? Ай подѣялось?.. Ай очумѣлъ?.. Охъ, батюшки, пусти, пусти-и!.. Тутъ погребница!..

И, взволнованный этой борьбой, Турбинъ съ трудомъ отыскалъ дверь въ избу и очутился въ полномъ мракѣ, и эта темнота, и шопоть, и возня на соломѣ еще болѣе взбудоражили его кровь. Онъ долго шарилъ по соломѣ трясущимися руками, наткнулся на печника, который сидѣлъ на полу и бормоталъ что-то, повалилъ кочергу... потомъ потерялъ всякое представленіе о томъ, гдѣ онъ и что было дальше.

Чувствовалъ только во снѣ, что откуда-то по ногамъ несло холодомъ. Онъ тщетно пряталъ ихъ подъ солому. Потомъ началась страшная жажда. Все внутри у него горѣло, и онъ чувствовалъ это сквозь сонъ и никакъ

не могъ проснуться и все шепталъ горячечнымъ шопотомъ:

— Пить... Бога ради, пить!..

Казалось еще, что какая-то толпа растеть вокругъ него, а онъ пляшетъ подь „Тарантеллу“, пляшетъ-пляшетъ безъ конца и вдругъ слышитъ надъ своей головой рукоплесканія и крики, отчаянный крикъ. Онъ вскочилъ: пѣтухъ еще разъ крикнулъ на всю избу и затрепыхалъ крыльями.

Холодъ плыть по ногамъ. Еле-еле разсвѣтало. Въ сумтномъ сумракѣ было видно нѣсколько человѣкъ спящихъ на соломѣ. Шатаясь, Турбинъ началъ шарить по печуркамъ спичекъ: въ печуркахъ были только какія-то сырыя, теплыя перья; на группѣ лежала деревянная спичечница, но она была пуста. Турбинъ задыхался отъ жажды.

— Бога ради, напиться!—сказать онъ громко.

— Охъ, чтобъ тебѣ совсѣмъ! Вотъ напужать-то!

Солдатка вскочила и, заспанная, торопливо и неловко стала завязывать юбку и завертывать подъ платокъ сбитые волосы.

— Пить нѣтъ ли? Душа запеклась!

— Посмотри въ углѣ, въ щербатомъ чугунчикѣ.

Турбинъ съ жадностью припалъ къ чугунчику. Но квасъ былъ такъ кисель и холоденъ, что Турбина съ первыхъ глотковъ подхватила лихорадка и, не попадая зубъ на зубъ, онъ бросился по нарамъ, черезъ Кондрата Семеныча, на печку; Кондратъ Семенычъ только замычалъ и заскрипѣлъ во снѣ зубами.

Какей-то тяжелый запахъ и тепло охватили Турбина на печкѣ, и онъ заснулъ, какъ убитый. Но и этотъ сонъ продолжался какъ будто мгновеніе. Затопили печку „по черному“, и дымъ, несеной потянувшійся подъ потолкомъ въ дверь, завышенную козловой, буквально сталъ душить Турбина. Онъ зарывалъ голову въ солому и соръ, но ничто не помогало. Тогда онъ

свѣсилъ голову съ печки, кое-какъ приладилъ ее къ кирпичамъ и такъ и проспалъ до самыхъ завтраковъ.

Въ завтраки Кондрать Семенычъ съ опухшимъ лицомъ, но уже въ спокойномъ, будничномъ настроеніи, сидѣлъ за столомъ противъ печника, похмѣлялся и, вертя цыгарку, поглядывалъ на сонное лицо Турбина. Оно было какъ мертвое: истомленное, страдальческое и кроткое.

— Вотъ те и педагогъ!—сказалъ онъ, наконецъ, съ сожалѣніемъ.—Пропалъ малый!

— Сирота, небось!—задумчиво произнесъ печникъ.

КОСТЕРЪ.

У поворота съ большой дороги, у высокаго столба, указывающаго путь на проселокъ, горѣлъ въ темнотѣ костеръ. Я ѣхалъ въ тарантасѣ тройкой, слушалъ звонъ поддужныхъ колокольчиковъ и вдыхалъ свѣжесть степной ночи. Костеръ разгорался ярко и, чѣмъ ближе я подъѣзжалъ къ нему, тѣмъ все рѣзче отдѣлялось пламя отъ нависавшаго надъ нимъ мрака. А вскорѣ стало можно различить и самый столбъ, озаренный изъ-подъ низу, и черныя фигуры людей, сидѣвшихъ на землѣ. Казалось, что они, точно заговорщики, проводятъ ночь въ какомъ-то хмуромъ подземельи и что темные своды этого подземелья мягко дрожать отъ переплетающихся языковъ пламени.

Когда его отблескъ коснулся головъ тройки, люди, сидѣвшіе у костра, повернулись къ намъ и стали вслушиваться. Позы у нихъ были внимательныя, лица красныя. Собака, которая до тѣхъ поръ незамѣтно лежала въ темнотѣ, вдругъ вырѣзалась на огненномъ фонѣ и сидя залаяла. Тревожно, не спуская съ насъ взгляда, поднялся съ земли и одинъ изъ сидѣвшихъ. Въ низкомъ пространствѣ, озаренномъ костромъ, фигура его была огромна.

— Гирла-а!—гортанно и глухо крикнулъ онъ на собаку.

Отчего меня потянуло къ костру? Было что-то стран-

ное и красивое въ его пламени среди мрака и что-то родное чувствовалось въ присутствіи на степи людей, ночевавшихъ у дороги. Когда долго ѣдешь проселкомъ, видишь только звѣздное небо и сумракъ надъ сливающимися равнинами, грусть одиночества становится безнадежна, какъ степная ночь, но отъ этого еще болѣе манить каждый огонекъ вдали. И такъ какъ у меня нечего было сказать этимъ людямъ, то, остановивъ лошадей, я только поклонился и попросилъ спичекъ:

— Добрый вечеръ! Нельзя ли закурить у васъ?

За лаемъ собаки, человѣкъ, который выжидательно всталъ передо мною, крѣпкій, широкогрудый старикъ въ бараньей шапкѣ и накинутомъ на плечи кожухѣ, не разслышалъ меня и злобно топнулъ ногою.

— Атъ, каторжна!—крикнулъ онъ на овчарку и, не спуская съ меня подозрительнаго взгляда, громко прибавилъ гортаннымъ, цыганскимъ говоромъ:—Добрый вечеръ пану! А що милости его-завгодно будэ?

Ноздри у него были вырѣзаны рѣзко и характерно, борода доходила почти до самыхъ глазъ. И въ этихъ черныхъ расширенныхъ глазахъ, въ черныхъ жесткихъ волосахъ, густо вьющихся изъ-подъ шапки, и въ жесткой, кудрявой бородѣ—во всемъ почувствовалась мнѣ дикость и внимательность степного человѣка, у котораго совѣсть не спокойна въ этотъ вечеръ.

— Да вотъ закурить нечѣмъ,—повторилъ я притворно-просто.—Дайте, пожалуйста, пару спичекъ.

— А хйба жъ есть спички у цыганъ?—спросилъ старикъ, улыбаясь, и на минуту обернулся къ двумъ другимъ, сидѣвшимъ у костра, которые тоже осматривали и лошадей, и тарантасъ.—Може, панъ, отъ костра запалить?

— Ну, пожалуйста...—сказалъ я, вынимая папиросу.

Старикъ отошелъ къ костру, наклонился и спокойно кинулъ на ладонь лѣвой руки раскаленный уголь. Я поспѣшилъ приставить къ нему папиросу и кинулъ

два-три быстрыхъ взгляда на маленькій таборъ. Одинъ изъ сидѣвшихъ былъ рыжій, оборванный мужикъ, по-видимому, бродяга-работій съ низовъ, другой—молодой цыганъ изъ тѣхъ, которые часто встрѣчаются на большихъ южныхъ ярмаркахъ. Онъ сидѣлъ, горделиво откинувъ голову назадъ, и, охвативъ руками поднятыя колѣни худыхъ ногъ, искоса смотрѣлъ на меня. Синевато-смуглое лицо было у него изящно, какъ у восточнаго принца, фигура—высока и стройна, какъ у бедуина. Бѣлки глазъ странно выдѣлялись на этомъ лицѣ, а глаза казались поэтому изумленными. И одѣтъ онъ былъ щеголемъ: тонкіе сапоги, новый картузь, городской пиджакъ, шелковая лиловая рубаша и длинная серебряная цѣпочка на шеѣ.

— Може, панъ, блукае?—спросилъ старикъ, кидая уголь въ костеръ.

— Нѣтъ,—пробормоталъ я машинально и еще разъ глянулъ за костеръ, который слѣпилъ меня своимъ яркимъ мерцаніемъ. И тогда изъ темноты выдѣлились сѣрыя полы большого разлатаго шатра, брошенная дуга и оглобли телѣги, а возлѣ нихъ—самоваръ, горшки и большая перина, на которой лежала толстая цыганка въ лохмотьяхъ, кормившая грудью полуголаго ребенка. Надо всѣмъ же этимъ стояла дѣвушка лѣтъ пятнадцати и пристально смотрѣла на меня меланхолично-призывными глазами необыкновенной красоты. Она выдѣлилась изъ сумрака внезапно, но достаточно было мгновенья: я мгновенно увидалъ грубые смоляные волосы, страстную нѣжность глазъ, губъ и всего древне-египетскаго овала лица, однимъ взглядомъ охватилъ всѣ формы стройнаго дѣвичьяго тѣла подъ лиловымъ тонкимъ платьемъ, изъ котораго она выросла... Что-то дрогнуло у меня въ сердцѣ, но столько было вопросительнаго ожиданія во всѣхъ лицахъ, а въ глазахъ и лохмотьяхъ бродяги столько дерзости, что я смутился и тронулъ за рукавъ кучера.

— Може, проводить пана?—повторил старик живо.

— Нѣтъ, спасибо,—поспѣшилъ я отвѣтить и, еще разъ жадно взглянувъ за костеръ, откинулся въ задокъ тарантаса.

— Пошелъ!—крикнулъ я рѣшительно.

Лошади тронули, копыта дружно застучали, а колокольчикъ такъ и залился жалобнымъ звономъ, перебивая лай бросившейся за нами собаки. Я едва успѣлъ кивнуть головой табору...

Не было больше тепла и запаха горящаго бурьяна отъ костра, въ лицо вѣяло свѣжестью ночи и опять, темнѣя въ сумракъ, бѣжали навстрѣчу мнѣ поля. Черная дуга высоко вырѣзывалась на небѣ и, качаясь, задѣвала звѣзды. Но все уже ушло въ красоту дѣвичьяго образа, который внезапно всталъ передо мною. Еще ярче, чѣмъ у костра, я видѣлъ теперь черные волосы, нѣжно-страстные глаза и старое серебрянное монисто на шеѣ... И въ запахъ росистыхъ травъ и одинокомъ звонѣ колокольчика, въ звѣздахъ и въ небѣ было уже новое чувство,—томящее, непонятное и отъ этого еще болѣе сладостное. И казалось, что я поступилъ непоправимо, безразсудно, покинувъ что-то близкое, созданное именно для меня, и только по какой-то роковой случайности уходящее отъ меня все дальше и дальше...

НА КРАЙ СВѢТА.

I.

То, что такъ долго всѣхъ волновало и тревожило, наконецъ разрѣшилось: „Великій Перевозъ“ сразу опустѣлъ на половину.

Много бѣлыхъ и голубыхъ хатъ осиротѣло въ этотъ лѣтній вечеръ. Много народу навѣкъ покинуло родимое село—его зеленые переулки между садами, пыльный базарный выгонъ, гдѣ такъ весело въ солнечное воскресное утро, когда кругомъ стоитъ оживленный говоръ, гудить бранью и спорами корчма, выкрикиваютъ торговки, поютъ нишіе, пиликаетъ скрипка, меланхолично жужжить тихой музыкой лира, а важные волы, прикрывая отъ солнца глаза, сонно жуютъ сѣно подъ эти нестройные звуки; покинуло разноцвѣтные огороды и густыя верболозы съ матово-блѣдной, длинной листвою надъ „криницею“, при спускѣ къ затону рѣки, гдѣ въ тихіе вечера въ водѣ что-то стонетъ—глухо и однотонно, словно дуетъ въ пустую бочку; навсегда покинуло родину для далекихъ Уссурійскихъ земель и ушло „на край свѣта“...

Когда на село, расположенное въ долинѣ, легла широкая, прохладная тѣнь отъ горы, закрывающей западъ, а въ долинѣ, къ горизонту, все зарумянилось

отблескомъ заката, зардѣлись рощи, вспыхнули алымъ глянцемъ изгибы рѣки и за рѣкой, какъ золото, засверкали равнины песковъ,—на селѣ прекратилась суматоха, скрипъ телѣгъ, торопливый, отрывистый говоръ,—и народъ, пестрѣющій яркими, праздничными нарядами, собрался на зеленую леваду, къ бѣлой, старинной церковкѣ, гдѣ молились еще казаки и чумаки передъ своими далекими походами.

Тамъ подъ открытымъ небомъ, между нагруженныхъ телѣгъ, въ многолюдной толпѣ, начался молебенъ, и въ толпѣ воцарилась мертвая тишина. Голосъ священника звучалъ внятно и раздѣльно, и каждое слово молитвы, казалось, проникало до глубины каждого сердца...

Много слезъ упало на этомъ мѣстѣ и въ былые дни. Также молча стояли здѣсь когда-то снаряженные въ далекій путь „лыцари“. Они тоже прощались, какъ передъ кончиной, и съ дѣтьми, и съ женами, и не въ одномъ сердцѣ заранѣе звучала тогда величаво-грустная „дума“ о томъ, „якъ на Чорному морю, на білому камені сидить ясенъ сокілъ—білозірець“, и „жалібненько квилить—проквилеє“, предвѣщая бѣды и невзгоды путникамъ. Многихъ изъ нихъ ожидали „кайданы турецкіі, каторга бусурманьская“, и „сиви туманы“ въ дорогѣ, и одинокая смерть подъ степнымъ курганомъ, и стаи орловъ сизокрылыхъ, что будутъ „на чорній кудри наступати, зъ лоба очи козацькіі видирати“... Но тогда надо всѣмъ витала гордая казацкая воля. А теперь стоитъ сѣрая толпа, забитая нуждою, которую навсегда выгоняетъ на край свѣта не прихоть казацкая, а будничная, горькая бѣдность, эти желтые пески, что сверкають за рѣкою. И какъ на великой панихидѣ, заказанной по самомъ себѣ, тихо стоялъ народъ на молебнѣ съ поникшими, обнаженными головами. Только ласточки звонко щебетали надъ ними, проносясь и утопая въ вечернемъ воздухѣ, въ голубомъ, глубокомъ небѣ...

А потомъ поднялись вопли...

И среди смутнаго гортаннаго говора, нестройнаго плача и криковъ двинулся этотъ странный, словно похоронный, обозъ по дорогѣ въ гору. Въ послѣдній разъ показался „Великій Перевозъ“ въ родной долинь—и скрылся... И самъ обозъ скрылся, наконецъ, за хлѣбами, въ поляхъ, въ блескѣ низкаго вечерняго солнца...

„Великій Перевозъ“ опустѣлъ...

II.

Но говоръ и плачъ еще не затихли совсѣмъ. Провожавшіе возвращались домой.

Взволнованный народъ толпами валилъ подъ гору, къ хатамъ. Были и такіе, что только вздохнули и пошли домой торопливо и безпечно... Но такихъ было мало.

Молча, покорно согнувшись, шли старики и старухи; хмурились суровые, хозяйственные мужики; плакали дѣти, которыхъ тащили за маленькія руки отцы и матери; громко кричали молодая бабы и дивчата.

Вотъ онѣ двѣ спускаются подъ гору, по бѣлой каменистой дорогѣ. Одна, крѣпкая, невысокая, хмурить брови и разсѣянно смотреть своими черными серьезными глазами куда-то въ даль, по долинь. Другая высокая, худенькая тихо плачетъ... И онѣ наряжены по праздничному, но ужъ праздникъ кончился, и еще грустнѣе глядѣтъ теперь на этотъ нарядъ похоронъ!

И какъ горько плачетъ дѣвушка, прижимая къ глазамъ рукава сорочки! Она почти не идетъ—каждую минуту спотыкаются на камни сафьянные сапоги, на которые такъ красиво падаетъ изъ-подъ плахты бѣлоснѣжный подоль.

— Зинька, слухай же!..—говоритъ ей подруга быстрымъ, умоляющимъ шопотомъ,—хай ему чортъ, чого ты плачешь?..

Но и у нея сжимается сердце отъ боли; она никого не

проводжала—ни родныхъ, ни близкихъ, но и она крѣпко сдвигаетъ черныя брови, чтобы не расплакаться; сердце ея тоскуетъ тою непонятною грустью, которую испытываешь въ молодости при отлетѣ птицъ въ тихія, ясныя зори.

— Та слухай!..—повторяетъ она.

— Отчепись!—почти вскрикиваетъ Зинька злобно. Но плечи ея вздрагиваютъ и сквозь слезы она прибавляетъ совсѣмъ по-дѣтски:

— Охъ, хоба жъ я чаяла!

Развѣ она чаяла, что скоро, какъ въ могилу, проводить Юхыма? Какъ звонко и съ какой неудержимой радостью пѣла она до глубокой ночи, бѣгая съ рѣки и на рѣку съ ведрами, когда отецъ Юхыма твердо сказалъ, что не пойдетъ на новыя мѣста! А потомъ...

— Прокинулись сю нічъ,—говорилъ Юхымъ растерянно,—прокинулись воны, Зинька, та й кажутъ: „Идемо на переселеніе!“—„Якъ же такъ, тату, вы жъ казали“...—„Ні, кажутъ, я сонъ бачивъ“...

И сонъ все погубилъ—всѣ молодыя мечты и надежды!..

А вотъ на горѣ, около мельницъ, стоитъ въ толпѣ стариковъ старый Василь Шкутъ. Онъ высокъ, широкоплечъ и сутулъ. Отъ всей фигуры его еще вѣетъ прежней степной мощью, но какое у него кроткое и грустное лицо! Ему вотъ-вотъ собираться въ могилу, а онъ уже никогда больше не услышитъ родного слова и помретъ въ чужой хатѣ, одинокій на старости, и некому будетъ ему глаза закрыть. Передъ смертью оторвало его отъ семьи, отъ дѣтей и внучатъ это переселеніе. Онъ бы дошелъ, онъ еще крѣпокъ, но гдѣ же взять эти 70 рублей, которыхъ не хватило для разрѣшенія идти на новыя земли?

Старики, разсѣянно переговариваясь, каждый съ своей думой стоятъ на горѣ. Они все глядятъ въ ту сторону, куда отбыли земляки.

Ужъ давно не стало видно и послѣдней телѣги. Опустѣла и степь.

Но какая это чудная степь! Даже въ этотъ вечеръ весело въ ней! Весело и кротко распѣвають, сыплютъ трели жаворонки. Мирно и спокойно догораетъ ясный день. Привольно зелепѣють кругомъ хлѣба и травы, далеко, далеко темнѣють курганы; а за курганами необъятнымъ полукругомъ простерся горизонтъ и между землею и небомъ охватываетъ степи полоса голубоватой воздушной бездны, какъ полоса далекаго моря.

— Що воно таке, сей Уссурійскій край?—думаютъ старики, прикрывая глаза отъ солнца, и напрягаютъ воображеніе представить себѣ эту сказочную страну на концѣ свѣта и то громадное пространство, что залегаетъ между ней и „Великимъ Перевозомъ“.

— Чи далеко одѣхали?—соображаютъ другіе и представляютъ себѣ, какъ это медленно тянется длинный обозъ, нагруженный добромъ, бабами и дѣтьми, медленно скрипятъ колеса, бѣгутъ собаки и шагаютъ за обозомъ по мягкой пыльной дорогѣ, пригрѣтой догорающимъ солнцемъ, „дядьки“ въ широкихъ шароварахъ.

Небось и они все глядятъ въ эту загадочную, голубоватую даль:

— Що воно таке, сей Уссурійскій край?

А старый Шкутъ, опершись на палку, надвинувъ на лобъ шапку, представляетъ себѣ среди этихъ возовъ возъ сына и съ покорной улыбкой, отъ которой выступаютъ слезы, бормочетъ все то же:

— Я ему, бачите, і пилу, і фуганокъ давъ... І якъ хату стропть вінъ теперь знає... Не пропаде!

— Богато людей загинуло!—говорять, не слушая его, другіе.—Богато, багато!..

III.

Темнѣть, и какая-то новая, непонятная тишина воцаряется на селѣ.

Теплыя южныя сумерки неясной дымкой смягчаютъ вечернюю синеву глубокой долины; онѣ медленно затуманиваютъ эту огромную картину широкой низменности съ темными кущами прибрежныхъ рощъ, съ тускло блестящими изгибами рѣчки, съ одинокими тополями, что чернѣютъ, выдѣляясь колоннами, надъ долиной. Старинный „Великій Перевозъ“ сѣрѣетъ своими скученными хатами въ котловинѣ у подошвы каменистой горы. Смутно, какъ полосы спѣлыхъ ржей, желтѣютъ за рѣкою пески. За песками опять, уже совсѣмъ неясно, темнѣютъ лѣса. И даль становится дымчато-лиловой и сливается съ сумеречными небесами.

Все какъ всегда бывало въ этой мирной долинѣ въ лѣтнія сумерки...

Но нѣтъ, не все! Много хатъ стоитъ темными, забытыми и нѣмыми...

Уже почти всѣ разбрелись по домамъ. Пустѣетъ дорога...

Медленно бредетъ по ней нѣсколько человѣкъ, провожавшихъ переселенцевъ до ближняго перекрестка.

Они чувствуютъ ту внезапную пустоту въ сердцѣ и непонятную тишину вокругъ себя, которая всегда охватываетъ человѣка послѣ тревоги проводовъ, при возвращеніи въ опустѣвшій домъ. Спускаясь подъ гору, они глядятъ на село другими глазами, чѣмъ прежде,—точно послѣ долгой отлучки...

Вотъ разстилается пахучій дымокъ надъ чьей-то хатой... покойно и по будничному...

Вотъ красной звѣздочкой, среди темныхъ садовъ среди скученныхъ дворовъ, загорѣлся огонекъ на селѣ...

Глядя на огоньки и въ долину, медленно расходятся старики, и на горѣ, близъ дороги, остаются одни темные и глухіе вѣтряки съ неподвижно распростертыми крыльями.

Молча идетъ подъ гору, улыбаясь своей странной улыбкой старческаго горя, Василь Шкутъ. Медленно отложилъ онъ калитку плетня, медленно прошелъ черезъ дворикъ и скрылся въ хатѣ.

Хата родная. Но Шкутъ больше въ ней не хозяинъ. Ее купили чужіе люди и позволили ему только „дожить“ въ ней. Должно быть, это надо сдѣлать поскорѣе...

Въ тепломъ и душномъ мракѣ хаты выжидательно трюкается сверчокъ изъ-за печки... Словно прислушивается... Сонныя мухи гудятъ по потолку... Старикъ, опершись обѣими руками на лавку, согнувшись, сидитъ одинъ-одинешенекъ въ темнотѣ и безмолвіи.

Что-то онъ теперь думаетъ? Можетъ быть, про то, какъ гдѣ-то тамъ, по смутно бѣлѣющей дорогѣ тихо поскрипываетъ обозъ?

— Э, да что про то и думать!

— Что же дѣлать? Что дѣлать завтра, послѣ-завтра?..

На блѣдно-свинцовомъ фонѣ маленькаго окошечка, выходящаго въ садъ, чернѣютъ силуэты двухъ-трехъ покосившихся намогильныхъ крестовъ. Въ саду, возлѣ хаты, давнымъ-давно почиваютъ вѣчнымъ сномъ почти всѣ его родные... Онъ остался съ ними, Надо поскорѣе къ нимъ, въ ихъ „домовину“, въ дубовую „труну“. Пора на покой, на вѣчный и безмятежный отдыхъ!..

А вдали уже слышны пѣсни.

Звонкій дѣвическій голосъ звенить и замираетъ надъ селомъ за рѣкою:

Ой, зійди зійди,
Ясенъ місяцю!—

плачетъ грустная пѣсня, обрывается и замолкаетъ надолго-надолго.

Ночь давно наступила. И вотъ въ тишинѣ приближается та роковая въ каждомъ горѣ минута, когда послѣ слезъ, послѣ перваго потрясенія, затихаетъ на мгновенье сердце и вдругъ съ новой, поразительной силой и ясностью сознаетъ свою потерю, свое утраченное счастье и безумно рвется къ нему, и страшно дѣлается человѣку за самого себя.

И въ разлукѣ—что мучительнѣе и больнѣе той минуты, когда вдругъ ясно сознаешь, что разлука эта непоправима и что жизнь бы отдалъ за то только, чтобъ хоть еще разъ увидать, чудомъ увидать возлѣ себя близкаго человѣка!..

Но кругомъ глубокое молчаніе. Южное ночное небо въ крупныхъ жемчужныхъ звѣздахъ. Темный силуэтъ неподвижнаго тополя рисуется на фонѣ ночного неба. Подъ нимъ чернѣетъ крыша, бѣлѣютъ стѣны хаты. Звѣзды сіяютъ сквозь листья и вѣтви...

IV.

А они еще недалеко.

Они ночуютъ въ степи, подъ роднымъ небомъ, но имъ уже кажется, что они за тысячи верстъ отъ всего привычнаго, родного и покинутаго. Это послѣдняя ночь на степи.

Какъ цыганскій таборъ, расположились они у дороги. Распрягли лошадей, сварили ужинъ; то вели безпокойные разговоры, то угрюмо молчали и сторонились другъ отъ друга...

Наконецъ, все стихло.

Въ звѣздномъ свѣтѣ темнѣли беспорядочно скученные возы, виднѣлись фигуры лежащихъ людей и наклоненныхъ къ травѣ лошадей. Сторожевые, поставленные на ночь, съ кнутами въ рукахъ, сонно ёжились возлѣ телѣгъ, зѣвали и съ тоскою глядѣли въ темную степь...

Но съ какой радостью встрепенулись они, когда услышали скрипъ проѣзжей телѣги! Землякъ!.. Они окружили его, улыбались и жали ему руку, словно не видались много-много лѣтъ.

Разбуженные разговоромъ, подымались съ земли и другіе, и, застынчиво скрывая свою радость, тоже толпились у телѣги проѣзжаго, закуривали трубки и были готовы говорить хоть до самаго свѣта...

Потомъ опять все затихло.

Взволнованные встрѣчей, засыпали они, закрывая головы свитками, и все думали объ одномъ,— о далекой неизвѣстной странѣ на краю свѣта, о дорогахъ и большихъ рѣкахъ въ пути, о покинутомъ селѣ. И казалось, что ихъ сердца незримо звучать въ ладъ съ сердцемъ cadaго, кто остался въ селѣ, трепещеть одной грустью и одними желаніями, братской близостью и братскимъ горемъ...

Холоднѣло.

Глубокая ночь царила надъ степью. Все спало крѣпкимъ сномъ—и люди, и дороги, и межи, и росистые, наклонившіеся хлѣба.

Съ отдаленнаго хутора чуть слышно донесся крикъ пѣтуха. Серпъ мѣсяца, мутно-красный и поникшій на одну сторону, показался на краю неба. Онъ почти не свѣтилъ. Только небо около него приняло зеленоватый оттѣнокъ, почернѣла степь отъ горизонта, да на горизонтѣ показалось что-то темное. Это были курганы. И только звѣзды и курганы слушали эту мертвую тишину на степи и дыханіе людей, позабывшихъ во снѣ свое горе и далекія дороги.

Но что имъ, этимъ вѣковымъ молчаливымъ курганамъ, до горя или радости какихъ-то существъ, которыя проживутъ мгновеніе и уступятъ мѣсто другимъ такимъ же снова волноваться и радоваться и также безслѣдно исчезнуть съ лица земли? Много ночевав-

шихъ въ степи обозовъ и становъ, много людей, много горя и радостей видѣли эти курганы.

Однѣ звѣзды мерцаютъ, можетъ быть, не безстрастно Онѣ, должно быть, знаютъ, какъ свято человѣческое горе!

КАСТРЮКЪ.

I.

Внезапно выскочивъ изъ-за крайней избы, съ полевой дороги, во всю прыть маленькихъ лошадокъ, летѣли по деревенской улицѣ барчуки изъ Залѣснаго. Подпрыгивая и хватаясь за холки, они гнались на перегонки, и вѣтеръ пузырями надувалъ на ихъ спинахъ ситцевыя рубашки. Теленокъ шарахнулся отъ нихъ въ сѣнцы, куры и впереди нихъ пѣтухъ, присѣдая къ землѣ, неслись куда глаза глядятъ. Но отчаяннѣе всѣхъ улепетывала по деревенской улицѣ маленькая, бѣлоголовая дѣвочка въ одной рубашенкѣ. Обезумѣвъ отъ страха, она вскочила на огороды, нѣсколько разъ съ размаху упала по дорогѣ, и вдругъ увидала въ воротахъ риги дѣдушку. Съ звонкимъ крикомъ бросилась она въ его колѣни.

— Что ты, что ты, дурочка?—закричалъ и дѣдъ, ловя ее за рубашку.

— Барчуки... на жеребцахъ!..—захлебываясь отъ слезъ едва могла выговорить внучка.

Дѣдъ усадилъ ее на колѣни, началъ уговаривать...

Внучка скоро затихла и, изрѣдка всхлипывая, обиженнымъ, вздрагивающимъ голосомъ начала рассказывать, какъ было дѣло.

Поглаживая ее по головѣ, дѣдъ задумчиво улыбался.

Въ ригѣ было прохладно и уютно. Въ мягкую темноту ея изъ глубины яснаго весенняго неба влетали ласточки и съ чиликаньемъ садились на переметы и на сани, сложенные другъ на друга въ уголь риги. Все было ясно и мирно кругомъ—и на деревнѣ, и въ далекихъ зазеленѣвшихъ поляхъ. Утреннее солнце мягко пригрѣло землю и по весеннему дрожало вдали тонкій паръ отъ нея. Тамъ, въ поляхъ, подымалась пашня и блестящіе черные грачи перелетали около сохъ. Здѣсь, на деревнѣ, въ холодкѣ избѣ, только дѣвочки тоненькими голосками напѣвали пѣсни, сидя на травѣ за коклюшками. Кромѣ ребятишекъ и стариковъ, всѣ были въ полѣ—даже всѣ Орелки, Буянки и Шарики.

Дѣдъ сегодня первый разъ за всю жизнь остался дома на стариковскомъ положеніи. Старуха померла мясоѣдомъ. Самъ онъ пролежалъ всю раннюю весну и не видалъ даже, какъ деревня уѣхала на первыя полевые работы. Къ концу Оминой онъ сталъ выходить, но еще и теперь не поправился какъ слѣдуетъ. И послѣдствіемъ всего этого было то, что сегодня всѣми обстоятельствами деревенской жизни онъ принужденъ былъ проводить самое веселое, погожее и дорогое для работы утро дома.

— Ну, Кастрюкъ (дѣда всѣ такъ звали на деревнѣ, потому что, выпивши, онъ любилъ пѣть про Кастрюка старинныя веселыя прибаутки),—ну, Кастрюкъ,—говорилъ ему на зарѣ сынъ, выравнивая гужи на сохѣ, между тѣмъ какъ его баба зашпиливала веретье на возу съ картошками,—не тужи тутъ, поглядывай обаполь дому да за Дашкой-то... Кабы ее телушка не забрухала...

Старикъ, безъ шапки и засунувъ руки въ рукава полушубка, стоялъ около него и старался отшучиваться.

— Кому Кастрюкъ—тебѣ дяденька,—говорилъ онъ съ разсѣянной улыбкой.

Сынъ, не слушая, затягивалъ зубами веревку и продолжалъ дѣловымъ тономъ:

— Твое дѣло, братъ, теперь стариковское. Да и горевать-то почестъ непочемъ: оно только съ виду сладко хрипъ-то гнуть.

— Да ужъ чего лучше!—отвѣчалъ старикъ машинально.

Онъ старался „не думать“ и, когда сынъ уѣхалъ, сходилъ зачѣмъ-то въ пуньку, потомъ передвинулъ въ тѣнь водовозку—все искалъ себѣ дѣла. То онъ бережливо, согнувъ старую спину, сметалъ муку въ закромѣ, то тамъ, то здѣсь тюкалъ топоромъ, но все не могъ разсѣять грустнаго, неотвязнаго чувства. Въ ригѣ онъ сѣлъ и пристально и долго чистилъ трубку мѣдной „копаушкой“. Иногда онъ ворчалъ на кого-то.

— Долго ли пролежалъ, — бормоталъ онъ, — глядь, ужъ вездѣ безпорядокъ. А умри—и все прахомъ поидетъ!

Иногда старался подбодрить себя... „Небось!“ говорилъ онъ кому-то съ задоромъ и значительно; иногда подергивалъ плечами и съ ожесточеніемъ выговаривалъ: „эхъ, мать твою не замать, отца твоего не трогать! Былъ конь да уѣздили...“ Но чаще всего опускалъ голову и задумывался.

Закипѣли въ колодезяхъ воды,
Заболѣло во молодца сердце...

мурлыкалъ онъ, и ему вспоминалось что-то хорошее, прежнее, и мысли тянулись къ тому времени, когда онъ былъ самъ хозяиномъ, работникомъ, молодымъ и выносливымъ... Глядя внучку по головѣ, онъ съ любовью перебиралъ далекія воспоминанія, что въ такой-то годъ, въ эту пору онъ сѣялъ, и съ кѣмъ выходилъ въ поле и какая была у него тогда кобыла...

Внучка успокоилась и шопотомъ предложила пойти наломать вѣничковъ, про которые мать уже давно тол-

ковала. Старикъ обрадовался хоть какому-нибудь развлеченію, легкомысленно забылъ про пустую избу и, взявъ за руку внучку, повелъ ее за деревню. Идя по мягкой, давнымъ-давно неѣзженной полевой дорогѣ, они незамѣтно отошли отъ деревни съ версту и принялись ломать полынъ.

Вдругъ Дашка встрепенулась.

— Дѣдушка, глянь-ка!—заговорила она и быстро и нараспѣвъ,—глянь-ка! Ахъ, ма-а-тушки!

Старикъ глянулъ и увидалъ бѣгущій вдали поѣздъ. Онъ торопливо подхватилъ внучку на руки и вынесъ ее на бугорокъ, между тѣмъ какъ она тянулася у него съ рукъ и радостно твердила:

— Дѣдушка! Глянь-ка! Рысью, рысью!

Поѣздъ разростался и подъ уклонъ работалъ все быстрѣе и быстрѣе, весь блестя на солнцѣ. Долго и напряженно глядѣла Дашка на бѣгущіе вагоны.

— Должно, къ завтраму пріѣдетъ,—сказала она въ глубокомъ раздумьи.

Сверкая цилиндрами и мелькающимъ поршнемъ, поѣздъ тяжелымъ взмахомъ урагана пронесся мимо, завернулъ къ югу и, мелькнувъ заднимъ вагономъ, дрожащей точкой сталъ сокращаться и пропадать вдали.

— Видѣла?—спросилъ дѣдъ.

— Видѣла... нѣгути больше.

— Хороша?

— Неужли жъ нѣтъ!.. Ужъ такая-то хорошая...—лепетала Дашка про себя.—Мать-то сказывала, она безъ лошади, а я себѣ на умѣ: ахъ, она съ лошадыю!.. Думается, къ ней оглобли привязаны...

— Да куда жъ они привязаны-то?

— Да за машину-то...

Долго съ внучкой на рукахъ стоялъ дѣдъ въ полѣ и глядѣлъ кругомъ.

Жаворонки пѣли въ тепломъ прозрачномъ воздухѣ... Весело и важно кагакали грачи... Мирно зацвѣтали

цвѣты въ травѣ около линіи... Спутанный меренокъ, пофыркивая, щипаль подорожникъ, и дѣдъ чувствовалъ, какъ даже мерину хорошо и привольно на весеннемъ корму, въ это ясное утро.

Но вдругъ дѣдъ оживился.

— Здорово, сударушка,—закричалъ онъ, завидѣвъ идущаго по рельсамъ сторожа-солдата.—„Здравія желаемъ, ваше благородіе!“—прибавилъ онъ, чтобы поддѣлаться къ солдату и поболтать немного.

— Здравствуй,—сказалъ солдатъ сухо, не вынимая изъ рта трубки.

— Иди, сударушка, покуримъ,—продолжалъ дѣдъ,—поговорю съ Кастрюкомъ. Я, братъ, нонѣ тоже замѣсть часового приставленъ.

— Я путь долженъ обревизовать къ прибытію второго номера,—отвѣтилъ сторожъ, и, наклонившись, тюкнулъ по рельсѣ и пошелъ дальше.

Дѣду стало неловко.

Онъ застѣнчиво улынулся и крикнулъ солдату въ догонку:

— А то погодилъ бы!..

Солдатъ не обернулся.

По дорогѣ назадъ дѣдъ поболталъ съ пастухами и полюбовался на стадо.

— Дуже хорошо нонѣ корма будутъ!—сказалъ онъ.

— Хороши,—отвѣтилъ подпасокъ и вдругъ съ крикомъ: азадъ, смѣртныя,—бросился за свиньями.

Стадо привольно разбрелось по пару. Жеманно и въ разные тона, тонкими голосками перекликались ягнята. Одинъ изъ нихъ, упавъ на колѣни, засовалъ мордочкой подъ пахъ матери и такъ торопливо, дрожа хвостикомъ и подталкивая ее носкомъ, сталъ сосать, что дѣдъ засмѣялся отъ удовольствія...

II.

Поспѣшно подходя къ своей избѣ, онъ увидалъ, что по выгону, прямо къ ней, ѣдетъ молодой баринъ изъ Залѣснаго. Старикъ бросился отгонять подъ гору молодую кобылу, потому что, увидавъ ее, вороной барскій жеребецъ заигралъ и заплясалъ, выгибая шею.

Сдерживая его и сгибая подъ своею тяжестью дрожки, баринъ въѣхалъ въ тѣнь избы и остановился. Старикъ почтительно стоялъ у порога.

— Здравствуй, Кастрюкъ,—сказалъ баринъ ласково и, отирая красное лицо съ рыжей бородой, досталъ папиросы.

— Жарко!—прибавилъ онъ и протянулъ папироску и дѣду.

— Непривычны, Миколай Петровичъ,—захихикалъ тотъ.—Трубочку вотъ... а то шкаликъ-другой красненькаго—это мы, старики, любимъ!

— А я было къ вамъ по дѣльцу,—началъ Николай Петровичъ, отдуваясь.—Ѣздилъ повѣщать на Мажаровку... надѣвай шапку-то, Семень!.. да вотъ, кстати, и къ вамъ. Дѣвокъ своихъ не пошлете ли ко мнѣ?

— Аль еще не сажали?—спросилъ дѣдъ участливо.

— Запоздали нынче... не я одинъ.

— Запоздали, Миколай Петровичъ, запоздали...

— Да... такъ вотъ...—продолжалъ баринъ и вдругъ такъ зычно крикнуть на жеребца: „балуй!“, что дѣдъ со всѣхъ ногъ бросился держать недоуздокъ.

— Немножко-то посадить,—опять началъ Николай Петровичъ спокойно,—да хочу поскорѣй управиться. Дѣвчонокъ-то своихъ и турили бы ко мнѣ!

— Разя одинъ совладаешь, Миколай Петровичъ?

— Да ты скажи своимъ-то...

— Солдатка-то дома, что ль?—спросилъ дѣдъ дѣло-

вымъ тономъ у подошедшей старухи и, получивъ отрицательный отвѣтъ, замялся.

— Кабы солдатка была, она бы сбила,—сказалъ онъ, какъ бы оправдываясь.—А я, сударушка, дома нонѣ сижу... Мнѣ и отойти нельзя... Кабы прежнее мое дѣло, покоситься тамъ али подѣ паринку,—я бы единымъ духомъ...

— Жалко,—сказалъ баринъ задумчиво.—Видно, вечеромъ заверну,—прибавилъ онъ и взялся за возжи.

Чтобы какъ-нибудь задержать его, и повинуюсь какому-то горькому внутреннему голосу, старикъ вдругъ сказалъ, шутя:

— Ты вотъ, сударушка, найми меня въ работники... вотъ бы дѣло!

— Что жъ, нанимайся,—сказалъ баринъ, разсѣянно улыбаясь.

— А когда заступать?

Баринъ пристально поглядѣлъ на него и качнулъ головою.

— Заступать когда?.. Эка ты—шустрый какой!

Старикъ оживился еще болѣе.

— Я-то, сударушка? Да я ихъ всѣхъ, молоденькихъ, за поясъ заткну! Я еще жениться хочу! Да на свадьбѣ еще плясать буду!

— Да ужъ ты!—перебилъ баринъ, усмѣхаясь, ударилъ возжей жеребца и покатилъ по выгону.

Дѣдъ постоялъ, подумалъ...

Все говорило ему, что онъ теперь отжившій чело-вѣкъ. Такъ только, для дому нуженъ, пока еще ноги ходять... „Ишь покатилъ!“ подумалъ онъ съ сердцемъ, глядя вслѣдъ убѣгающимъ дрожкамъ, махнулъ рукой и пошелъ вынимать изъ печки похлебку.

Пообѣдавъ, внучка съ двумя старостиными ребятишками ушла въ лужокъ за баранчиками. Всѣ они такъ жалобно просились пустить ихъ, что дѣдъ не могъ устоять.

— Не найдете, ребята,—говорилъ онъ имъ.—Развѣ снытку только...

— Ну, мы снытки плинесемъ,—возражала на это внучка.

Въ избѣ дѣдъ отъ нечего дѣлать снова принялся за обѣдъ. Онъ натеръ себѣ картошекъ, налилъ въ нихъ немного молока (онъ боялся, что и за это сноха будетъ ругаться) и долго ѣлъ мѣсиво.

Въ пустой избѣ стоялъ горячій, спертый воздухъ. Солнце сквозь маленькія, склеенныя изъ кусочковъ, мутныя стекла било жаркими лучами на покоробленную доску стола, которую, вмѣстѣ съ крошками хлѣба и большой ложкой, чернымъ роемъ облѣпили мухи.

Вдругъ дѣдъ почти съ радостью вспомнилъ, что есть еще дѣло—достать изъ-подъ крыши пачку листовой махорки, раскрошить ее и набить трубку. Влѣзая въ сѣнцахъ по каменной стѣнѣ подъ застрѣху, онъ едва не сорвался—голова у него закружилась, въ спинѣ заломило... Онъ опять съ горестью подумалъ о своей старости и, уже лѣниво дотавившись до порога избы, на который еще падала тѣнь отъ пуньки, медленно занялся дѣломъ.

Въ полдень деревня вся точно вымерла. Тишина весенняго знойнаго дня очаровала ее...

Старухи-сосѣдки долго „искались“ подъ старой лозинкой на выгонѣ, потомъ легли, накрыли головы занавѣсками и заснули. Самые маленькіе ребятишки хлопотливо, но тихо лѣпили изъ глины ульи, собравшись въ размытомъ спускѣ около пруда. Изрѣдка мычалъ теленокъ, привязанный за колъ около спящихъ бабъ. Изрѣдка доносился крикъ пѣтуха и еще болѣе нагонялъ на деревню тихую дрему...

А въ поляхъ по прежнему заливались жаворонки, зеленѣли всходы и по горизонтамъ, какъ расплавленное стекло, дрожалъ и струился паръ.

Старикъ легъ около пуньки и старался заснуть. Для этого онъ старался представить себѣ, какъ шумить лѣсъ

и ходить волнами рожь на буграхъ по вѣтру и шуршить и переливается, и слегка покачивался самъ.

Но, противъ обыкновенія, сонъ не приходилъ.

Лежа съ закрытыми глазами, дѣдъ все думалъ о своей старости.

Теперь, небось, Андрей крѣпко спитъ подъ телѣгою. Дѣду же, можетъ быть, до самой смерти не придется больше заснуть въ полѣ. Въ рабочую пору онъ будетъ проводить долгіе, долгіе, знойные дни наединѣ съ внучкою... А вѣдь было время—лучше его не косилъ никто во всей округѣ. Бывало, когда всей деревней косили у барина, онъ всѣхъ велъ за собою. Да никто не могъ и выпить больше его, когда, вернувшись гурьбой съ поля на господскій дворъ, мужики усаживались около амбара за ведромъ водки и начиналась „Веселая бесѣдушка“...

Никогда, однако, не пропивалъ онъ ума и разума. Все у него было всегда въ порядкѣ: и изба каждую осень крылась новой соломой, и кобыла была всегда въ тѣлѣ („печка!—говорили мужики,—хоть спать ложись на спинѣ!“), и свадьбу сына онъ справилъ всѣмъ на удивленіе. Вся деревня собралась смотрѣть, когда на первый, послѣ княжого пира, престольный праздникъ Андрей поѣхалъ къ тестю. Рядомъ со своей разряженной бабой сѣлъ онъ въ новыя „козырьки“, покрытыя цвѣтной попоной, выставилъ за грядку одну ногу въ валенкѣ и покатилъ по выгону...

Дѣдъ надѣялся тогда, что подъ старость у него будетъ самая настоящая въ деревнѣ семья, что никому не позволить онъ ссориться и заводить дѣлежи...

— Пирогі ситные въ обмочку, думалъ, буду ѣсть,—пробормоталъ старикъ.

Анъ все вышло не по гаданному.

Младшій сынъ отдѣлился, а старшій хотя и остался съ нимъ, да немного вышло изъ того проку... Главное же—старуха всѣхъ подрѣзала. Умерла въ самое плохое голодное время. Да ослабѣли и его ноженьки, и при-

дется ему до смерти сидѣть съ ребятишками вродѣ караульщика.

— Ишь ровесникъ-то мой,—подумалъ старикъ съ озлобленіемъ,—Салтанъ-то—и то убѣгъ со двора!

И чего онъ, дѣдъ, маялся на свѣтѣ и на что надѣялся—Богъ его знаетъ!

— Ни почету не дождался,—думалъ старикъ, вспоминая сына, посадившаго его караульщикомъ,—ни богатства—ничего! И помрешь вотъ-вотъ и ни одинъ кобель по тебѣ не вззоетъ!

Старикъ чувствовалъ, что онъ не правъ въ своихъ сѣтованіяхъ, но не могъ побороть раздраженія и спокойно ворочался съ боку на бокъ и съ сердцемъ отгонялъ назойливыхъ мухъ.

Все скучнѣе и скучнѣе становилось ему...

Вдругъ вдали задребезжала телѣга. Стоя въ ней на колѣняхъ, мужикъ усердно хлесталъ свою кобыленку веревочными возжами.

Дѣдъ вскочилъ и замахалъ рукой.

Мужикъ дернулъ за возжи и даже назадъ отвалился и на ноги сѣлъ.

— Куда-й-то, сударушка?

— Тпру... тпру! А что?

— Да такъ. Молъ, куда это разскакался дядя Максимъ?

— Въ тое... въ Чичерину.

— Ай къ земскому?

— Къ нему самому. Поспѣшаю, прощевай покуда!

Дѣдъ махнулъ рукой...

III.

Дологъ этотъ день показался ему!

Дашка воротилась изъ лужка и присоединилась къ ребятамъ, игравшимъ въ спускъ.

— Ай ужъ и мнѣ пойтить къ нимъ свистульки лѣ-

пить?—думать дѣдъ съ горькой улыбкой и, наконецъ, не выдержалъ.

— Посмотри, сударушка, за избой, — сказалъ онъ старухѣ сосѣдкѣ, которая около пуньки медленно скатывала холсты.

— Ай соскучился?—спросила та жалобно.

— Соскучился, сударушка! И какъ только это вы, бабы, дома сидите!..

— А ты на-долго, небось?

— Нѣтъ, я сичасъ, въ одну минутую...

До заката было еще далеко. Но Андрей долженъ былъ, по расчетамъ дѣда, управиться раньше вечера. Онъ поглядывалъ на солнце и рѣшалъ, что осминникъ надо досадить именно къ этой порѣ.

На выгонѣ онъ встрѣтилъ возвращавшагося съ поля Глѣбочку. Глѣбочка, высокій, худощавый мужикъ съ веснушками на блѣдномъ лицѣ и съ опухшими красными вѣками, въ старомъ полушубкѣ, изъ лохматыхъ дыръ котораго виднѣлась бѣлая рубаха, меланхолично покачивался, сидя бокомъ на спинѣ лошади, между тѣмъ какъ перевернутая соха тащилась сзади, дребезжа палицей о подвои.

— Ай, сударушка, разохи-то пропиль?—пошутил Кастрюкъ.

— Пропиль, — съ блѣдной улыбкой отвѣтилъ Глѣбочка.

— А мои скоро?

— Должно, ѣдутъ.

— Гдѣ жъ дѣвки-то твои?

— Дѣвти вмѣстѣ придутъ.—отвѣтилъ Глѣбочка, не выговаривая буквы „к“.

— Вѣдь вотъ,—думалъ дѣдъ, выходя за деревню и отчасти завидуя даже Глѣбочкѣ, — на моихъ глазахъ человѣкомъ сталъ. Совсѣмъ прежде блажной малый былъ, свиныхъ полдѣнъ не зналъ!..

На валу, подъ молодыми лозинками, старикъ сѣлъ

и, шурясь отъ низкаго солнца, глядѣль въ даль, по дорогѣ:

Тишина кроткаго весенняго вечера стояла въ полѣ. На востокѣ чуть вырисовывалась гряда неподвижныхъ, нѣжно-розовыхъ облаковъ. Къ закату собирались длинныя перистыя ткани тучекъ... Когда же солнце слегка задернулось одной изъ нихъ, въ полѣ, надъ широкой равниной, влажно зеленѣющей всходами и пестрѣющей паромъ, стало еще безмятежнѣе и лучше. Безмятежнѣе и еще нѣжнѣе, чѣмъ днемъ, заливались жаворонки. Съ паровъ пахло весенней свѣжестью, зацвѣтающими травами, сладкимъ ароматомъ желтаго донника... Всѣ волненія старика убаюкивались этимъ ароматомъ, этимъ кроткимъ вечернимъ свѣтомъ. Онъ закрывалъ глаза, прислушивался къ жаворонкамъ...

— Эхъ, кабы теперь дождичка,—думалъ онъ,—то-то бы ржи-то поднялись! Да нѣтъ, опять солнышко чисто садится!

Вспоминая, что завтра ему предстоитъ стариковскій день, старикъ морщился, начиная придумывать, какъ бы ему избавиться отъ него. Но избавиться было невозможно. Онъ досадливо качалъ головою, скребъ рукою спину, облеченную въ длинную стариковскую рубаху... и, наконецъ, пришелъ къ счастливой мысли, нашелъ утѣшеніе.

— Ну, прикончилъ?—говорилъ онъ черезъ полчаса немного заискивающимъ тономъ, шагая рядомъ съ сыномъ и держась за оглоблю сохи.

— Кончить-то кончилъ,—отвѣчалъ Андрейласково,—а ты-то какъ? Небось соскучился?

— И-и, не приведи Богъ!—воскликнулъ старикъ отъ всего сердца.—Сослужилъ, братъ, службу... не хуже какого-нибудь солдата стараго на капустѣ!

И смѣясь, и желая не придавать своимъ словамъ просящаго выраженія, старикъ робко попросился въ ночное.

— Съ ребятами... а?—сказаль онъ, заглядывая сыну въ глаза: сегодня онъ не могъ отдѣлаться отъ чувства своей безпомощности и несамостоятельности.

— Что жъ, веди!—отвѣтилъ Андрей.—Только не забудь на поляхъ кобылу напоить.

Старикъ закашлялся, чтобы скрыть свою радость...

IV.

На закатѣ, послѣ ужина, онъ положилъ на спину кобылы зипунъ и полушубокъ, взвалился на нее животомъ, и рысцой поѣхаль за ребятами.

— Эй, погоди старика,—кричалъ онъ имъ въ догонку.

Ребята не слушали. Даже старостинъ сынишка обскакалъ его, растарачивъ босыя ножки на спинѣ кругленькаго и екающаго селезенкой мерина...

Легкая пыль стлалась по дорогѣ. Топотъ небольшого табуна сливался съ веселыми криками и смѣхомъ ребятъ.

— Дѣдъ,—кричали нѣкоторые тоненькими голосками,—давай на обгонки!

Дѣдъ только улыбался, легонько подталкивая лаптями подъ брюхо кобылы.

Въ лощинкѣ, за версту отъ деревни, онъ завернулъ на прудъ.

Отставивъ увязшую въ тину ногу и нервно вздрагивая всей кожей отъ тонко-поющихъ комаровъ, кобыла долго-долго, однообразно сосала воду, и видно было, какъ вода волнообразно шла по ея горлу. Передъ концомъ питья она оторвалась на время отъ воды, подняла голову и медленно и тупо оглядѣлась кругомъ. Дѣдъ ласково посвисталь ей... Теплая вода тихо капала съ губъ кобылы, а она не то задумалась, не то залюбовалась на тихую поверхность пруда. Залюбовался имъ и дѣдъ. Глубоко-глубоко отражались въ прудѣ и берегъ, и вечернее небо, и бѣлыя полосы облаковъ. Плавно качались части этой отраженной картины и сливались

въ одну отъ тихо раскатывающего все шире и шире круга по водѣ...

Потомъ кобыла сдѣлала еще нѣсколько глотковъ, глубоко вздохнула и, съ чмоканьемъ вытащивъ изъ тины одну за другою ноги, вскарабкалась на берегъ и словно проснулась и ожила.

Позвякивая полуоторванной подковой, бодрой иноходью пошла она по темнѣющей дорогѣ. Старикъ тоже оживился. Отъ долгаго дня у него осталось такое впечатлѣніе, словно онъ пролежалъ его въ болѣзни и теперь выздоравливалъ. Онъ весело покрикивалъ на кобылу, подталкивая ее лаптемъ, и вдыхая полной грудью свѣжѣющій вечерній воздухъ, снова чувствовалъ себя опредѣленно и бодро.

— Не забыть бы подкову-то оторвать,—думалъ онъ.

Въ полѣ ребята долго курили „донникъ“ и долго спорили, кому въ какой чередъ дежурить.

— Будя, ребята, спорить-то, — сказалъ, наконецъ, дѣдъ.—Караулъ пока ты, Васька,—вѣдь, правда, твой чередъ-то. А вы, ребята, ложитесь. Только смотри, не ложись головой на межу—домовой отдавить!..

А когда лошади спокойно вникли въ кормъ и прекратилась возня улегшихся рядышкомъ ребятъ, смѣхъ и остроты надъ коростелью, которая оттого такъ скрипитъ, что деретъ ногу объ ногу, дѣдъ постлалъ себѣ у межи полущубокъ и зипунъ и съ чистымъ сердцемъ, съ искреннимъ благоговѣніемъ сталъ на колѣни и долго молился на темное, звѣздное, прекрасное небо, на мерцающій млечный путь—святую дорогу ко граду Іерусалиму.

Наконецъ, и онъ легъ.

Темнота разлилась надъ безбрежной равниной. Въ свѣжести весенней степной ночи тонули поля. За ними, за ночнымъ мракомъ, слабо, какъ одинокая мачта, на слабомъ фонѣ заката маячилъ силуэтъ далекой-далекой мельницы...

ВЪ АВГУСТЪ.

Уѣхала дѣвушка, которую я любилъ, и такъ какъ мнѣ шелъ тогда двадцать второй годъ, то казалось, что я остался одинъ во всемъ свѣтѣ. Былъ конецъ августа; въ малорусскомъ губернскомъ городѣ, гдѣ я служилъ, стояло знойное затишье. И когда однажды въ субботу я вышелъ послѣ занятій изъ палаты, на улицахъ было такъ пусто, что, не заходя домой, я побрелъ куда глаза глядятъ за городъ. Машинально шелъ я по тротуарамъ мимо закрытыхъ еврейскихъ магазиновъ и старыхъ торговыхъ рядовъ; въ соборѣ звонили къ вечернѣ и отъ домовъ ложились длинныя тѣни, но было еще такъ жарко, какъ бываетъ въ южныхъ городахъ въ концѣ августа, когда даже въ садахъ, жарившихся на солнцѣ цѣлое лѣто, все покрыто сухой, густой пылью.

Въ такое время хорошо спать послѣ обѣда или пить что-нибудь холодное, сидя въ тѣни у открытыхъ оконъ, и полъ-города, состоявшаго изъ торговцевъ и чиновниковъ, именно такъ и дѣлало... Но, странное дѣло,—этотъ сонный, послѣобѣденный часъ южнаго августа всегда имѣлъ для меня какую-то непонятную прелесть, всегда томилъ меня неопредѣленными, сладостными желаніями. Мнѣ было тоскливо, но тоскливо такъ, какъ бываетъ въ молодости, и только потому, что вокругъ меня все замирало отъ полноты счастья,—что въ садахъ, въ степи, на баштанахъ и даже въ самомъ воздухѣ и густомъ

солнечномъ блескѣ—все было роскошно, все полно красоты счастливой женщины, между тѣмъ какъ у меня не было ни одной близкой души во всемъ городѣ!

Мнѣ пришло это въ голову, когда я вышелъ на пыльную площадь на окраинѣ города. Тамъ у водопровода наливала воду красивая большая хохлушка въ расшитой бѣлой сорочкѣ и черной плахтѣ, плотно обтягивавшей ей бедра, въ башмакахъ съ подковками на босую ногу и съ бѣлыми, крѣпкими икрами. Было въ ней что-то общее съ Венерой Милосской, если только можно вообразить себѣ Венеру загорѣлой нѣжнымъ южнымъ румянцемъ, съ карими веселыми глазами и съ такой ясностью чела, которая бываетъ, кажется, только у хохлушекъ и полекъ. Наполнивъ ведра, она положила коромысло на плечо и пошла прямо навстрѣчу мнѣ,—стройная, несмотря на тяжесть плескавшейся воды, слегка покачивая станомъ и постукивая коваными башмаками по деревянному тротуару... И помню, какъ почтительно я посторонился, давая ей дорогу, и какъ долго смотрѣлъ за нею! А въ улицу, которая шла съ площади подъ гору, на Подоль, видна была огромная, мягко-синѣющая долина рѣки, ея луга, лѣса, загорѣлые, золотистые пески за ними и даль,—нѣжная южная даль...

Кажется, никогда не любилъ я такъ Малороссію, какъ въ ту пору, никогда не хотѣлъ такъ жить, какъ въ ту осень, а между тѣмъ я толковалъ тогда о воздержаніи въ жизни, бывалъ у молоканъ и духоборовъ, и даже подумывалъ навсегда уйти въ деревню,—пахать,—а пока что—учился бондарному ремеслу. И теперь, постоявъ на площади, я рѣшилъ отправиться въ гости къ толстовцамъ за городъ: все-таки это были единственные близкіе мнѣ люди. Спускаясь подъ гору на Подоль, я встрѣчалъ много экипажей и парныхъ извозчиковъ, которые шибко везли пассажировъ съ пятичасового поѣзда изъ Харькова. Огромныя ломовыя лошади медленно тащили въ гору гремящія телѣги съ ящи-

ками и тюками, и запахъ москательныхъ товаровъ, ванили и рогожи, извозчики, пыль и люди, которые ѣхали откуда-то, гдѣ насъ нѣтъ и гдѣ поэтому должно быть хорошо,—все опять заставило мое сердце сжаться отъ какихъ-то тоскливыхъ и сладкихъ стремленій. Я свернулъ въ тѣсный переулочекъ между садами и долго шелъ по мѣщанскому предмѣстью, названія котораго теперь не помню: помню только, что „паньчи“ этого предмѣстья, молодые мастеровые и мѣщане, дико „гукали“ въ лѣтнія ночи по долинѣ, да пѣли хорами на церковный ладъ красивыя и печальныя казацкія пѣсни. Теперь „паньчи“ молотили. На окраинѣ предмѣстья, тамъ, гдѣ голубыя и бѣлыя мазанки стояли уже на левадѣ, при началѣ долины, мелькали на токахъ цѣпы. Но въ затишьи долины было жарко такъ же, какъ въ городѣ, и я поспѣшилъ взобраться на гору, въ открытую, ровную степь...

Тихо, покойно и просторно было тамъ! Почти вся степь, насколько хваталъ глазъ, была золотая отъ густого и высокаго жнивья. На широкомъ, безконечномъ шляхѣ лежала густая, глубокая пыль: казалось, что идешь въ бархатныхъ башмакахъ. И все вокругъ,—и жнивья, и дорога, и воздухъ,—сіяло отъ низкаго вечерняго солнца. Прошелъ, черный отъ загара, пожилой хохолъ въ тяжелыхъ сапогахъ, въ бараньей шапкѣ и толстой свиткѣ цвѣта ржаного хлѣба, и палка, которой онъ попирался, блестѣла на солнцѣ, какъ стеклянная. Крылья грачей, перелетавшихъ надъ жнивьями, тоже блестѣли и лоснились, и нужно было закрываться полями жаркой шляпы отъ этого блеска и зноя. А вдали не было ни души. Только на дорогѣ, почти на горизонтѣ, можно было различить телѣгу и пару воловъ, которые медленно влекли ее, да шалашъ сторожа на бахчахъ. Славно ему теперь среди этой тишины и простора! Но еще лучше было къ югу и за долиной къ юго-востоку, гдѣ въ легкомъ просторѣ неба едва видѣлялось розо-

ватое, нѣжно начерченное облачко. Тамъ была такая мирная, ясная грусть, такая спокойная разлука съ уходящимъ счастьемъ!.. Ближе ко мнѣ, въ полуверстѣ отъ дороги, надъ долиной красѣла черепичная кровля маленькаго хутора,—помѣстье толстовцевъ, братьевъ Павла и Виктора Тимченковъ. Поглядѣвъ на степь, я быстро пошелъ туда по сухому, колкому жнивью.

Но, должно быть, я былъ обреченъ въ этотъ день на одиночество. На хуторѣ было пусто. Я заглянулъ въ окошечко флигеля—тамъ гудѣли однѣ мухи, гудѣли цѣлыми роями: на стеклахъ, подъ потолкомъ, въ горшкахъ, стоявшихъ на лавкахъ. Къ хатѣ былъ пристроенъ скотникъ, но и тамъ не оказалось никого. Ворота были открыты и солнце сушило дворъ, заваленный навозомъ...

— Вы куда?—внезапно окликнулъ меня женскій голосъ, когда я съ тоскою зашагалъ по краю горы надъ долиной куда попало.

Я обернулся: на межѣ арбузныхъ баштановъ сидѣла жена старшаго Тимченки, Ольга Семеновна. Не вставая съ межи, она подала мнѣ руку, и я сѣлъ съ ней рядомъ.

— Неужели вамъ не скучно?—спросилъ я, помолчавъ и глядя ей прямо въ глаза.

Она опустила глаза на свои босыя ноги. Маленькая, загорѣлая, въ грязной рубахѣ и старенькой плахтѣ, она была похожа на дѣвочку, которую послали стеречь баштаны и которая грустно проводила долгій солнечный день. И лицомъ она была похожа на дѣвочку-подростка изъ русскаго села. Однако, я никакъ не могъ привыкнуть къ ея одеждѣ, къ тому, что она босыми ногами ходитъ по навозу и колкому жнивью и даже стыдился смотрѣть на эти ноги. Можно смѣло глядѣть на ноги бабы, но когда я вспоминалъ, что она жена бывшаго чиновника, мнѣ дѣлалось неловко. Да она и сама все поджимала ихъ и часто искося поглядывала на свои испорченные ногти. А ноги были маленькія и красивыя.

— Мужъ ушелъ на леваду молотить,—сказала она,—

а Викторъ Николаичъ уѣхалъ... Павловскаго опять арестовали за отказъ отъ солдатчины. Вы помните Павловскаго?

— Помню,—сказалъ я машинально.—Но посмотрите, какъ хорошо!

Я указалъ ей на стѣнь, залитую солнечнымъ блескомъ, на городъ вдали и обернулся къ долину. Обернулась и она и долго смотрѣла на ея синеву, на лѣса, чesки и меланхолично-зовущую даль. Солнце еще грѣло насъ; круглые, тяжелые арбузы лежали среди длинныхъ пожелтѣвшихъ плетей, перепутанныхъ, какъ змѣи, и тоже грѣлись. И вся эта южная картина все больше и больше томила меня своей красотой.

— Отчего вы такъ неоткровенны со мной?—началъ я, и мнѣ показалось, что я уже давно жалѣю ее.—Зачѣмъ вы насилуете себя?

Она съежилась, подобрала ноги и прикрыла глаза; потомъ сдунула волосъ, упавшій на щеку, и съ рѣшительной улыбкой сказала:

— Дайте мнѣ папироску!

Но больше у нея ничего не вышло. Затянувшись раза два, она закашлялась, далеко бросила папиросу и задумалась.

— Я съ самаго утра такъ сижу,—сказала она.—Куры приходятъ съ самой левады расклеивать арбузы... И не знаю, почему вамъ кажется здѣсь скучно! Мнѣ вотъ очень нравится здѣсь.

— А любите вы августъ?—перебилъ я ее.

Она удивленно подняла брови.

— Почему августъ?—спросила она смущенно.

Я только грустно и загадочно улыбнулся.

Надъ долиной, верстахъ въ двухъ отъ хутора, куда я пришелъ на закатѣ, я сѣлъ, снялъ картузъ и мнѣ захотѣлось заплакать. Я радъ былъ, когда двѣ-три крупныхъ, теплыхъ слезы скатились у меня по щекамъ пзъ-подъ закрытыхъ рѣсницъ. Сквозь слезы я смотрѣлъ въ

даль, и гдѣ-то далеко мнѣ грезились южные, знойные города, синій степной вечеръ и образъ какой-то женщины, который сливался съ дѣвушкой, которую я любилъ, но дополнялъ ее своею таинственностью и той безнадежной, дѣтской печалью, которая была въ глазахъ маленькой женщины на баштанахъ. Въ одной мечтѣ объ этомъ несуществующемъ женскомъ образѣ уже было счастье. Но онъ обѣщалъ мнѣ больше,—свою близость, свою любовь, пониманіе самыхъ сокровенныхъ моихъ помысловъ,—все, чего я никакъ не могъ выразить не только словами, но даже думами и что никогда не сбылось и не сбудется!

БЕЗЪ РОДУ-ПЛЕМЕНИ.

I.

Съ вечера я спалъ крѣпко, потому что слишкомъ измучился за день, но потомъ мнѣ стало сниться, что я иду по какимъ-то станціоннымъ дворамъ и запаснымъ путямъ, среди паровозовъ и вагоновъ, ищу мужа Зины и хочу непременно убѣдить его, что я вовсе не врагъ ему. Я любилъ Зину, но теперь не думаю о себѣ, желаю только ея счастья и питаю къ ней только дружбу. Казалось даже, что я говорилъ ему это, но онъ все уходилъ отъ меня и я плохо его видѣлъ, а моя нѣжность къ Зинѣ ~~въ~~ растала, все кругомъ темнѣло, странно вытягиваясь корридоромъ, и вотъ этотъ корридоръ—слабо-освѣщенный, насквозь видный рядъ вагоновъ—уже бѣжитъ, дрожа подо-мною, и какая-то стройная и красивая дѣвушка, перебивая мои слова веселымъ шопотомъ, зоветъ и уводитъ меня за руку все дальше по узкому корридору поѣзда.

— Зина!—умоляюще и робко говорю я, замирая отъ жуткой радости.

Она на ходу оборачивается съ странной и веселой улыбкой, отъ которой у меня сжимается сердце, что-то таинственно говоритъ мнѣ и идетъ дальше. Но я уже едва поспѣваю за нею, въ поѣздѣ темнѣетъ, вагоны разрастаются и бѣгутъ, увлекая меня за собою,—падаютъ все ниже и ниже, точно сама земля падаетъ подъ

ними по наклону, и радость, страсть и отчаяніе достигаютъ во мнѣ такого напряженія, что я дѣлаю послѣднее усиліе крикнуть—и просыпаюсь!

Такъ начался этотъ день. Очнувшись, я долго глядѣлъ неподвижнымъ взоромъ, точно изумленный спокойнымъ видомъ комнаты. Давно день, ставни открыты и на часахъ—половина десятаго... Волненіе сна таетъ и уступаетъ мѣсто трезвому сознанію дѣйствительности. Боже, какой тяжелый вздоръ снился мнѣ! И что это напоминаетъ онъ непріятное и какъ будто неестественное? Ахъ, да! Зина повѣнчалась вчера съ Богаутомъ... Значить, несомнѣнно, что моему роману—форменный конецъ!..

Вотъ теперь я ужъ твердо вѣрю въ это. Правда, я давно все зналъ, но тѣмъ не менѣе аккуратно продолжалъ ходить къ Соймоновымъ. Сегодня четвергъ,—значить, это было въ воскресенье... Я думалъ мирно провести вечеръ въ семьѣ, къ которой уже привыкъ. И вдругъ—темнота и тишина во всемъ домѣ; старикъ Соймоновъ одинъ сидитъ въ темномъ кабинетѣ, усиленно курить, задыхаясь болѣе обыкновеннаго, и говоритъ мнѣ, какъ только я появляюсь на порогѣ, естественно равнодушно:

— А Катерина Семеновна съ Зиной по лавкамъ поѣхали.

И, попыхтѣвъ, продолжаетъ иронически:

— Великое переселеніе народовъ, что называется... Къ семейному торжеству готовимся... Нынче, знаете весьма скоропалительно выходятъ эти исторіи!

Онъ хочетъ смягчить свои слова ироніей, но я понимаю его и стараюсь только объ одномъ—лучше попадать ему въ тонъ, чтобы поскорѣе и поприличнѣе уйти.

И я ушелъ, пришибленный, точно выгнанный изъ дому. Чтобы заглушить чувство боли, я усиленно развивалъ въ себѣ злобу и презрѣніе къ этимъ свадебнымъ

приготовленіямъ. Я бродилъ по городу, и когда однажды встрѣтилъ жепиха, проѣхавшаго съ какими-то картонками въ коляскѣ, остановился и расхохотался. Катается, дуракъ, на чужихъ лошадяхъ и доволепъ! Какъ домой, является въ чужую семью, гдѣ портнихи и бѣлошвейки завалили всѣ комнаты матеріями и выкройками!.. Какое ему дѣло до моихъ каверзныхъ улыбокъ и моего страдапія?.. А потомъ—сумерки, освѣщенная церковь, суэта около паперти. Подкатываютъ кареты, и щеголь-приставъ горячится, чтобы сохранить порядокъ въ этой церемоніи... И церемонія совершается въ образцовомъ порядкѣ!

Но даже попытки злиться не удавались мнѣ. Я, какъ во снѣ, ходилъ на службу, и однѣ и тѣ же мысли о Зинѣ, о свадьбѣ дурманили мнѣ голову. А тутъ еще Елена! Чѣмъ я виновать, что она равнодушна ко мнѣ? Я зналъ, что она одинока, измучена бѣганьемъ по урокамъ, что она бросила семью и живетъ впроголодь, но зато у нея есть цѣли и надежды, мечты о курсахъ, о наукѣ и какой-то хорошей жизни. У меня нѣтъ пока никакихъ цѣлей, и вольно же ей было мечтать увлечь и меня за собою! Всегда такая бодрая и веселая, она странно измѣнилась за послѣднее время. То грустно-ласкова со мной, то хмурится, точно ей больно. А когда я рѣзко заявилъ ей третьяго дня о своемъ отъѣздѣ, она вспыхнула, взглянула на меня изумленными глазами, потомъ неловко и кротно улыбнулась и, едва выговоривъ: до свиданья,—ушла... Я разсѣянно посмотрѣлъ ей вслѣдъ.

Но вотъ эти сумерки наступили, и я очнулся. Я минута за минутой пережилъ въ воображеніи все, что должно происходить въ церкви, и жгучая злоба и ревность разрывали мнѣ сердце. Я плакалъ и кого-то умолялъ сжалиться надо мною. Если бы вошла она въ эту минуту! Я обезумѣлъ бы отъ счастья, цѣловалъ бы ея поги!.. Иногда я порывался бѣжать къ ней и у нея

искать спасенія отъ моей скорби. Но она-то и мучила меня. Выхода не было, и я метался по своей комнатѣ... Потомъ острая боль стала замирать. Совсѣмъ стемнѣло; затихающій гулъ соборнаго колокола медленно и ровно раскачивался надъ городомъ. Я зналъ, что все уже кончилось тамъ, въ церкви. Острую боль замѣнила тупая, скучная, и я крѣпко заснулъ.

Вотъ опять день, но мнѣ теперь легче. То, что снилось, такъ странно слилось со всѣмъ пережитымъ за послѣднее время. Но это—послѣдній отголосокъ его. Надо вставать, собираться и куда-нибудь уѣхать...

• II.

— Панычу!—раздался голосъ Одарки за дверью,—уже можно нести самоваръ?

— Черезъ пять минутъ!—крикнулъ я лѣниво. Собственно говоря, хорошо не то, что я проснулся, а что кончились эти сновидѣнія. Заснуть спокойно и глубоко было бы такъ отрадно! Но сонъ не приходитъ...

Я долго мылся холодной водою, потомъ, не спѣша, сталъ одѣваться, что-то обдумывая, въ чемъ и самому себѣ не могъ бы дать отчета. За стѣной малороссійской скороговоркой ругала кухарку хозяйка. Мимо окна мягко прокатилъ по немощенной мостовой извозчикъ, стуча сапогами по деревянному тротуару, прошли два семинариста. Мнѣ бы тоже давно пора идти—на службу, но я уже давно бросилъ думать о службѣ и, конечно, не пойду и сегодня.

— Вы жъ, панычу, справди уѣдете сѣгодня?—спросила Одарка, входя въ комнату съ кипящимъ самоваромъ въ рукахъ.

— Что?—машинально проговорилъ я и, помню, долго глядѣлъ на нее безъ отвѣта. Да,—думалъ я,—Зина уѣдетъ сегодня съ мужемъ въ Крымъ. Значить, мнѣ тоже надо уѣхать отсюда. Что мнѣ дѣлать теперь въ

этомъ скучномъ и постыломъ городишкѣ? Пора, наконецъ, начать болѣе спокойную жизнь!

— Непремѣнно уѣду,—отвѣтилъ я твердо.—Непремѣнно!

И какъ только Одарка скрылась, заварилъ чаю, привелъ въ настоящий порядокъ свой туалетъ и нѣсколько разъ прошелся изъ угла въ уголъ, оглядывая, съ чего начать сборы въ дорогу. Но вдругъ дверь снова распахнулась: почтальонъ!

Я быстро схватилъ письмо—и мгновенно разочаровался. „Пожалуйста, не уходи никуда завтра. Миѣ нужно серьезно поговорить съ тобой. Елена“. „Какое бабье письмо!“—подумалъ я почти со злобой. Не уходи, серьезно поговорить! Что же я могу сказать ей? Изволнованный, я кинулъ письмо на столъ и опять опустился въ кресло.

День облачный, вѣтреный—стоитъ уже конецъ сентября—и вѣтеръ проноситъ по улицѣ пыль и листья. Въ открытую форточку долетаетъ тревожный шумъ тополей. Улица, гдѣ я такъ однообразно провелъ почти два года,—безлюдная, тихая и вся въ деревьяхъ. Деревья на бульварѣ и около тротуаровъ—старыя и развѣсистыя. Теперь они шумятъ сухой листвою; вѣтеръ гонитъ облака пыли и качаетъ ихъ изъ стороны въ сторону... А пять мѣсяцевъ тому назадъ, въ теплые апрѣльскіе дни, они кудрявились нѣжной, мелкой зеленью, голубое небо сіяло между ихъ вершинами, и я бродилъ подъ ними по мягкой, влажной землѣ, чему-то радуясь и улыбаясь!

Пять мѣсяцевъ... И миѣ хочется твердо и определенно сказать себѣ, что я очень глупо провелъ эти пять мѣсяцевъ. Убѣдить себя въ этомъ миѣ тѣмъ легче, что я не только не люблю Зины теперь, но даже со стыдомъ вспоминаю все, что говорилъ ей.

Знакомство наше состоялось въ мартѣ. Незадолго передъ тѣмъ у насъ образовался „музыкально-драмати-

ческий кружок“, и я самъ написалъ объ этомъ событіи корреспонденцію въ „Лѣтопись Юга“. Корреспонденціи увеличиваютъ мое жалованье въ земской управѣ рублей на восемь, на десять въ мѣсяцъ, и я аккуратно сообщаю въ „Лѣтопись“ обо всѣхъ выдающихся городскихъ событіяхъ. Съ кривой улыбкой я пишу газетнымъ жаргономъ о положеніи народной столовой и чайной, о полковыхъ праздникахъ и дамскомъ благотворительномъ кружкѣ, о домѣ трудолюбія, гдѣ бѣдные старики и старухи, измученные и обездоленные жизнью, обречены подъ конецъ этой жизни выполнять идиотскую работу—трепать, напимѣръ, мочало... Пишу о томъ, что сельскохозяйственное общество „заслушало“ и „передало въ комиссію“ чрезвычайно любопытный докладъ подъ заглавіемъ: „Къ вопросу объ урегулированіи свиноводства“, и тутъ же добавляю, что „нельзя не отмѣтить и другого отраднаго факта: въ средѣ мѣстнаго интеллигентнаго общества, по инициативѣ супруги начальника губерніи, возникла благая мысль организовать въ нашемъ богоспасаемомъ городкѣ кружокъ съ цѣлью проведенія въ жизнь и доставленія публикѣ здоровыхъ и разумныхъ развлеченій“... Съ той же улыбкой я отправился и въ дворянскій клубъ, на одинъ изъ вечеровъ „кружка“, въ качествѣ скрипача, участвующаго въ концертѣ.

Люди, къ которымъ я принадлежу и которые называются у насъ интеллигенціей въ отличіе отъ „обывателей“, совсѣмъ не умѣютъ „держаться“. Не умѣю и я. Заставъ меня разговаривать съ купцомъ, съ военнымъ, чиновникомъ я окажусь въ непріятномъ положеніи. Миѣ чужды ихъ интересы, я не сумѣю провести съ нимъ, какъ слѣдуетъ, даже часа. Такъ было и со мною на вечерахъ „кружка“.

Утомленный однообразной зимней жизнью—службой, обѣдами въ кухмистерской и скучными вечерами въ своей студенческой комнаткѣ, гдѣ всегда пахнетъ де-

шевымъ глицериновымъ мыломъ и гдѣ вся мебель состоитъ изъ стола, кровати, двухъ-трехъ стульевъ и плетеной корзины,—я былъ возбужденъ атмосферой клуба. Я былъ доволенъ, что меня знакомятъ съ семьями вице-губернатора и предсѣдателя суда, съ чиновниками особыхъ порученій и съ богатымъ молодымъ помѣщикомъ Вечесловымъ, который такъ хорошо играетъ въ любительскихъ спектакляхъ... Всѣ они такіе свѣжіе, бодрые и всѣ хотятъ незамѣтно обласкать тебя... Въ клубъ—свѣтло, просторно, зеркала, бархатная мебель, пахнетъ дорогимъ табакомъ и оживленно идетъ говоръ. А главное, я не чувствую себя лишнимъ на этотъ разъ: я сыгралъ, какъ настоящій скрипачъ, одну вещь грустную, нѣжную, похожую на колыбельную пѣсенку, а другую—бойкую, въ темпѣ мазурки, съ рѣзкими ударами смычка и *pizzicato*, т. е. исполнилъ все, что полагается сыграть скрипачу на концертѣ, и былъ одобренъ.

Словомъ, первые вечера въ клубѣ прошли недурно. Но на слѣдующихъ я уже безпріютно ходилъ изъ комнаты въ комнату, чѣмъ-то возбужденный и не находя исхода своему волненію. Вотъ тутъ-то и состоялось мое знакомство съ Соймоновыми.

Всѣ они мнѣ понравились: и самъ докторъ, пожилой человѣкъ, похожій на помѣщика, съ одышкой и съ такимъ видомъ, словно онъ объѣлся, и его жена, болтливая, молодящаяся дама и ея падчерица, Зина, высокая красивая дѣвушка съ темносиними глазами и длинными рѣсницами.

— Зиночка, матушка! Что это ты сидишь такая сонная?—сказалъ Александръ Данилычъ, подводя меня къ дочери.—Я вотъ тебѣ еще жениха привелъ. Сергѣй Николаевичъ Вѣтвицкій.

— Ну, садитесь и рассказывайте,—проговорила Зина. Она улыбнулась и красиво подняла рѣсницы, но только на мгновеніе перевела глаза на меня, а потомъ снова

стала равнодушно глядѣть въ сторону, сидя прямо и машинально играя вѣеромъ.

Я не обратилъ на это вниманія и спросилъ весело:

— Съ чего же начать прикажете?

— Въ качествѣ жениха—съ того, кто вы такой, откуда? „Имя, родина, родные“?

— Зовусь Магометомъ я,—сказалъ я, съ шутливой грустью опуская глаза.

— Полюбивъ, мы умираемъ?—добавила Зина. Потомъ пристально и задумчиво посмотрѣла на меня.

— Вы не декадентъ?—спросила она.

— Почему?—отвѣтилъ я, невольно смущаясь отъ ея взгляда.

— Да такъ... про васъ ходятъ слухи, что вы нелюдимъ, гордецъ... потомъ у васъ такое лицо...

— Какое?—спросилъ я живо.

— Больное,—отвѣтила Зина, подумавъ.—Вы больны?

Я посмотрѣлъ на ея глаза и губы, на все ея красивое тѣло высокой и уже вполне развившейся дѣвушки, услыхалъ запахъ ея духовъ и невольно прикрылъ глаза.

— Боленъ, — отвѣтилъ я шутливо, съ болью чувствуя все обаяніе ея женственности.

— Чѣмъ?

— Жаждой того, чего у меня нѣтъ,—сказалъ я.—А я хочу многого... Любви, здоровья, крѣпости духа, денегъ, дѣятельности... Однимъ словомъ, весьма многого,—прибавилъ я, опять прикрываясь шутливой улыбкой.

Къ удивленію моему она, помолчавъ, быстро и серьезно отвѣтила:

— Я очень понимаю васъ. У меня тоже ничего нѣтъ. Только не нужно говорить объ этомъ.

Я хотѣлъ что-то возразить, но удержался и только съ радостью почувствовалъ, что между нами уже установилась тонкая связь пониманія другъ друга.

— Ну, а почему же вы думаете, что я гордецъ и недружимъ?—спросилъ я оживленно.

— Потому что у васъ очень надменный и грустный взглядъ,—сказала Зина.—Мнѣ кажется, что вы никогда никого не любили и что вы большой эгоистъ.

Я былъ задѣтъ за живое, но опять сдержалъ себя и сталъ говорить полусутоливымъ тономъ:

— Можетъ быть... Вы, пожалуй, сказали горькую правду. Кого любить? За что?

— Какъ кого и за что?—перебила Зина.

— Да такъ,—отвѣтилъ я уклончиво.—Настоящихъ людей еще слишкомъ мало на свѣтѣ...

— Виновата,—вдругъ сказала Зина.—Мнѣ нужно подойти къ тетущкѣ.

И она съ привѣтливой и радостной улыбкой пошла навстрѣчу старухѣ, сопровождаемой бѣлокуромъ и женственнымъ молодымъ человѣкомъ,—старухѣ съ лошадинымъ лицомъ и совиными глазами, которые посмотрѣли на меня очень удивленно. Я, какъ истый пролетарій, опять почувствовалъ себя лишнимъ и надулся. А когда Зина вернулась ко мнѣ, началъ притворно-лѣпиво и очень некстати глумиться надъ жандармскимъ полковникомъ, надъ любительницей-пѣвицей, пожилой, некрасивой и сильно декольтированной дѣвушкой, надъ віолончелистомъ...

— Посмотрите,—говорилъ я,—какой онъ маленькій, молоденькій и головастый. Типичный музыкантикъ. Лицо—конфетное, но зато волосы совсѣмъ какъ у Рубинштейна...

— А это кто, не знаете?—продолжалъ я, все болѣе раздражаясь и въ то же время все болѣе ощущая женственное обаяніе Зины и все болѣе желая вовлечь ее въ разговоръ.—Вотъ тотъ пожилой господинъ съ артистической наружностью и лицомъ алкоголика? Посмотрите, какъ у него запухли глаза и какъ онъ смотритъ всегда—точно сонный, съ холоднымъ презрѣніемъ. Это

настоящій клубный посѣтитель, и про него непремѣнно говорятъ, что онъ—умница, золотая голова, только спился, опустился и долженъ всѣмъ...

— Это Алексѣй Алексѣевичъ Бахтинъ, мой дядя,—отвѣтила Зина съ неловкой улыбкой...

III.

Таковъ былъ первый вечеръ. Однако, я часто началъ бывать у Соймоновыхъ, и Зина сперва радовалась мнѣ. Мы даже говорили другъ другу, что мы—большіе друзья, но что-то мѣшало нашей дружбѣ: общее у насъ было одно—жажда жизни,—въ остальномъ мы были чужды другъ другу. Это я чувствовалъ больше всего, когда у Соймоновыхъ собирались гости. Да и вообще наши разговоры,—даже наединѣ,—не удовлетворяли меня. Наступили свѣтлые апрѣльскіе дни, мнѣ хотѣлось куда-нибудь за городъ, въ степь... Мнѣ казалось, что я все скажу ей тамъ... Но она неизмѣнно отвѣчала:

— Я вовсе не хочу, чтобы мы сдѣлались басней города. Вотъ соберемся какъ-нибудь компаніей. Вы вѣдь, все равно, знаете, что я только для васъ поѣду.

И я ограничивался тѣмъ, что провожалъ ее въ лавки или въ народную чайную, гдѣ она, въ числѣ другихъ дамъ-благотворительницъ, дежурила по пятницамъ. А вечеромъ я одинъ уходилъ за городъ, къ вокзалу за рѣчку, или въ городской садъ, гдѣ еще не началась лѣтняя ресторанная жизнь.

По вечерамъ въ саду совсѣмъ никого не было. Чистый весенній воздухъ холодѣлъ на закатѣ, и въ пустынномъ еще черномъ саду казалось, что стоитъ ясный октябрьскій вечеръ. Только первыя алмазныя звѣздочки по весеннему ласково теплились надъ вершинами деревьевъ и соловьи въ чащахъ пробовали свои голоса. Рѣзко пахло пробивавшейся изъ земли травой и самой землею—холодной и влажной. И я до полной

усталости ходилъ въ пустынныхъ аллеяхъ и по дорожкамъ, засыпаннымъ прошлогодней слежавшейся листвою... Дома же я до поздней ночи игралъ у раскрытаго окна на скрипкѣ, и скрипка звонко и жалобно пѣла въ чистомъ ночномъ воздухѣ, въ лады съ моимъ сердцемъ.

Потомъ было одно время, когда Зина рѣзко измѣнилась ко мнѣ. Въ срединѣ мая подготовительныя управскія работы къ экстренному собранію около двухъ недѣль не позволяли мнѣ ходить къ Соймоновымъ. И вотъ какъ-то въ воскресенье я сидѣлъ въ своей комнатѣ и спѣшилъ окончить кое-какія статистическія выкладки. Съ самаго утра перепадаль теплый, золотой дождикъ, и обмытая имъ майская зелень и самый воздухъ, казалось, молодѣли отъ него. Громъ рокоталъ то въ той, то въ другой сторонѣ, но поминутно, между клубами дымчатыхъ и бѣлыхъ облаковъ, вздымавшихся по небу, сіяла яркая, чистая лазурь и выглядывало жаркое солнце... Я засмотрѣлся въ окно, на голубыя лужи подъ деревьями, какъ вдругъ мимо окна быстро прошла Зина. Съ минуту я сидѣлъ неподвижно, изумленный ея появленіемъ, потомъ схватилъ шляпу и кинулся на улицу... Ахъ, какой это былъ славный и веселый день!

— Мнѣ было грустно безъ васъ, — говорила Зина, смущенно улыбаясь, — я сама, наконецъ, рѣшилась идти къ вамъ.

И я въ упоеніи цѣловалъ ея красивыя, дупистыя руки съ колючими перстнями и не зналъ, что сказать ей отъ счастья...

А потомъ я не зналъ, что сказать отъ сомнѣній. Я по цѣлымъ почамъ обдумывалъ на тысячи ладовъ, что можетъ выйти изъ моего брака съ Зиной, и приходилъ къ неутѣшительнымъ заключеніямъ. „Мы разные люди, — думалъ я, — она даже мало интеллигентна. Наконецъ, у нея ничего нѣтъ, и куда я возьму ее? Въ эту комнату?“

И потянулись томительные вечера, которые я неизменно проводилъ у Соймоновыхъ. Я потерялъ, выражаясь вульгарно, удобный моментъ... Да и любилъ ли я ее?

Помню, въ одинъ холодный и дождливый вечеръ мнѣ было особенно скучно. Зина что-то шила, я перелистывалъ журналъ. Стихотвореніе Леконта де-Лиля, которое я нашелъ въ немъ, чрезвычайно совпало съ моимъ настроеніемъ, и я сталъ читать, едва сдерживая слезы:

Ужоръ ли намъ неся, прощальный ли привѣтъ,
Какъ дальнихъ волнъ прибой, осенній вѣтеръ стонетъ
И вдоль пустыхъ аллей деревья грустно клонить,
О, солнце,—а на нихъ твой свѣтъ, кровавый свѣтъ...

— Не правда ли, какъ хорошо?—спросилъ я.

— Да. красиво,—отвѣтила Зина машинально.

— А по моему,—сказалъ Александръ Данилычъ,— все это „собачья старость“ и больше ничего.

Зина звонко и весело расхохоталась...

А тутъ у Соймоновыхъ почти каждый день началъ бывать помощникъ присяжнаго повѣреннаго Богаутъ, молодой человѣкъ, здоровый и жизнерадостный, какъ нѣмецъ, всегда и со всѣми любезный и ласковый. Я же сталъ проводить вечера въ обществѣ Елены, милой и простой дѣвушки изъ духовнаго званія. Мы ѣли съ ней колбасу, пили чай, слушали у окна музыку военнаго оркестра, доносившуюся изъ сада, и говорили о марксистахъ и народникахъ. Но о чемъ иномъ мы могли говорить съ ней? Что-то милое, молодое было въ ея простомъ, русскомъ лицѣ, что-то трогательное было въ ея открытомъ взглядѣ и въ томъ, какъ она, доставая изъ кармана юбки роговую гребеночку, причесывала свои остриженные волосы на косой рядъ. Все это влекло меня къ ней, но я уже замѣчалъ, что она мою товарищескую нѣжность и нашу выдумку говорить на „ты“ начинаетъ

принимать за любовь. Я открыто смѣялся и надъ марксистами, и надъ народниками, говорилъ, что я могъ бы стать общественнымъ человѣкомъ только при исключительныхъ условіяхъ,—напримѣръ, если бы настали дни настоящаго общественнаго подъема,—или если бы я самъ хоть немного былъ счастливъ лично... Она смотрѣла на меня въ такія минуты пристально, жадно и, увлекаясь страстностью моихъ словъ о личномъ счастьи, о тоскѣ существованія среди поголовнаго мѣщанства, говорила задумчиво и убѣжденно:

— Ты не понимаешь самого себя...

И такимъ образомъ и съ Еленой я былъ лишень того, чего мнѣ такъ страстно хотѣлось—возможности быть понятымъ въ ничетѣ моего существованія...

IV.

Въ надеждѣ, что она придетъ какъ разъ въ мое отсутствіе, я отправляюсь въ кухмистерскую обѣдать.

Въ самомъ дѣлѣ, какой скучный день! Прохожихъ мало, бѣлые каменные дома въ пыли. Вѣтеръ несетъ по мостовой эту бѣлесую пыль и шуршитъ на бульварахъ тощими и почернѣвшими акаціями... Вотъ присутственные мѣста на площади, вотъ главная улица. Тутъ больше прохожихъ и проѣзжихъ, около магазиновъ тѣснятся экипажи... Мнѣ же все кажется, что въ городѣ—праздникъ, потому что Зина вчера повѣнчалась и сегодня дѣлаетъ съ мужемъ визиты... Шибко прокатилъ на парѣ сѣрыхъ, бойкихъ и злыхъ лошадей полиціимейстеръ. Пристяжная круто отвернула отъ коренника голову, кучеръ—въ струну, а самъ полиціимейстеръ весело оглядывается, по-офицерски заложивъ руки въ карманы. Это онъ къ Соймоновымъ, должно быть... И я безсознательно прибавляю шагу: сердце забилося сильнѣе, и тянетъ хоть еще разъ взглянуть на ихъ домъ...

Но зачѣмъ?

И продолжавъ себя, я повертываю на тихую Старо-Замковую улицу, гдѣ уже второй годъ обѣдаю въ польской „кондитерской“.

Я быстро подошелъ къ дверямъ—и внезапно струсилъ. А если тутъ Елена? Вѣдь часто случалось, что мы обѣдали вмѣстѣ. Можетъ случиться и сегодня...

Въ нерѣшимости я прошелъ мимо оконъ, заглянулъ въ столовую. Въ столовой пусто, значить, можно идти смѣло...

Съ облегченнымъ сердцемъ я взялся за ручки двери.

Но невеселыя мысли и тутъ преслѣдовали меня. Знаете вы этихъ забытыхъ трудомъ и бѣдностью старушекъ, которыя встрѣчаются иногда на улицахъ, въ кухмистерскихъ и присутственныхъ мѣстахъ въ дни выдачи пенсій? Почему-то всѣ онѣ маленькаго роста, ходятъ въ старенькихъ бурнусахъ и убогихъ шляпкахъ, смотрятъ на все робкими, недоумѣвающими глазами и возбуждаютъ мучительную жалость своимъ покорнымъ видомъ... Какъ нарочно, и сегодня одна изъ нихъ тутъ.

Я старался глядѣть только въ тарелку, но не могъ забыть о своей сосѣдкѣ. „Вѣрно, думалось мнѣ, она даетъ уроки языковъ или музыки, живетъ одна въ маленькой, чистой комнаткѣ, гдѣ горитъ лампадка въ часы ея недолгаго отдыха, когда темнѣетъ субботній вечеръ и тихо рѣбеть надъ городомъ звонъ ко всенощной... Но чувствуетъ ли она, какъ горько на старости лѣтъ, безъ семьи, безъ близкихъ, отдыхать только въ субботній вечеръ? Знаетъ ли она, какъ тяжело глядѣть на нее, когда плетется она въ своемъ старомъ бурнусѣ съ урока въ кухмистерскую или вечеромъ въ лавочку за осьмушкой чаю? А главное не приходитъ ли ей въ голову, что между нами есть что-то общее?“

Эта мысль злитъ меня, думы и воспоминанія вереницей проходятъ въ моей головѣ. Я прихожу домой и усердно принимаюсь за уборку вещей въ дорогу. Но какія же у меня вещи?

Я открылъ корзину, въ которой въ безпорядкѣ навалено бѣлье, выдвинулъ изъ-подъ кровати чемоданъ съ письмами, бумагами и нотами—и опустилъ руки.

Тутъ всѣ мои воспоминанія. Этотъ чемоданъ—мой старый товарищъ. Въ первый разъ онъ отправился со мной въ путешествіе еще тогда, когда я только-что „вступалъ въ жизнь“, т. е. ѣхалъ на югъ въ университетскій городъ.

Удивительно живо я помню эти дни въ пути! Помню даже, какъ смотрѣлся въ зеркало на вокзалѣ въ Курскѣ и думалъ, что я похожъ на Шопена; помню, какъ по вагону ходили полосы свѣта и тѣни—отъ яркаго мартовскаго солнца и клубовъ дыма, плывущихъ мимо оконъ. Снѣжныя поля блестѣли золотой слюдой, сіяющая даль манила къ югу, къ чему-то молодому и веселому... А потомъ—большой, шумный городъ, весна, во всемъ что-то нѣжное, легкое, южное... Сѣверный уѣздный городокъ, гдѣ осталась моя семья, разорившаяся помѣщичья семья, была отъ меня далеко, я не понималъ тогда, что потерялъ послѣднюю связь съ родиной. Развѣ есть у меня теперь родина? Если нѣтъ работы для родины, нѣтъ и связи съ нею.

И для меня потянулись одинокіе дни, безъ дѣла, безъ цѣли въ будущемъ и почти въ нищетѣ. Вѣдь у меня нѣтъ даже и этой связи съ родиной—своего угла, своего пристанища. И я быстро постарѣлъ, вывѣтрился нравственно и физически, сталъ бродягой въ поискахъ работы для куска хлѣба, а свободное время посвятилъ меланхолическимъ размышленіямъ о жизни и смерти, жадно мечтая о какомъ-то неопредѣленномъ счастьи... Такъ сложился мой характеръ и такъ просто прошла моя молодость.

Собственно говоря, и вспоминать-то нечего. А все-таки при взглядѣ на этотъ истрепанный чемоданъ я опускаю руки, подавленный воспоминаніями. Каждый разъ, какъ мнѣ приходится укладывать въ него мой

скарбъ, я говорю себѣ: вотъ еще невозвратно прошло столько-то лѣтъ; еще часть моей жизни оторвана... И мнѣ больно говорить это себѣ. Вспоминаются одинъ за другимъ дни, проведенные въ этой комнатѣ,—дни, полные моихъ неопредѣленныхъ надеждъ и мечтаній, и кажется, что было въ нихъ что-то молодое и хорошее. Вспоминаются и далекіе дни, тѣ, что рисуются мнѣ словно въ туманѣ. О нихъ говорятъ связки писемъ. Вотъ письма родныхъ, которые гдѣ-то тамъ, на сѣверѣ, все еще ждутъ меня къ праздникамъ и грустятъ обо мнѣ съ нѣжною любовью, какъ о мальчикѣ... Вотъ письма первой любви, первыхъ товарищей... И при взглядѣ на каждое изъ нихъ у меня сжимается сердце.

Рѣзкій звонокъ заставилъ меня быстро вскочить съ кресла и кинуться къ шляпѣ. Елена! И я заметался по комнатѣ, готовый даже прыгнуть въ окошко. А между тѣмъ уже слышенъ ея голосъ:

— Дома Вѣтвицкій?

Я распахнулъ дверь, пробѣжалъ черезъ кухню, оттуда—по двору къ калиткѣ и, пока Елена была въ домѣ, успѣлъ повернуть за уголъ...

V.

До поздняго вечера я бродилъ за городомъ.

Кругомъ было поле, безжизненное, унылое. Наплывали угрюмыя тучи, вѣтеръ усиливался и сухой бурьянъ летѣлъ по пашнямъ въ непривѣтную, темную даль. И на душѣ у меня становилось тоже все темнѣе и темнѣе.

Въ смутномъ, волнующемся сумракѣ городского сада я сидѣлъ подъ старыми деревьями на забытой скамейкѣ. Вотъ гдѣ, думалось мнѣ, уныніе-то теперь—на кладбищѣ! Развѣ въ смерти есть что-нибудь ужасное, сильное? Смерть—ничто, пустота. И только однимъ

этимъ и пугаетъ насъ смерть. И на кладбищѣ также: сумерки, ни души кругомъ; могилы и могилы, заросшія травой; трава теперь высохла, пожелтѣла и тихо шелеститъ отъ вѣтра...

— А гдѣ Елена?—приходило мнѣ иногда въ голову внезапно.—Вѣдь она совсѣмъ одна и въ безнадежной тоскѣ ждетъ ночи... Можетъ быть, она тутъ гдѣ-нибудь,—въ саду?

Я вдругъ вспоминаю чью-то легенду о вѣтреныхъ дняхъ и душахъ повѣсившихся людей и въ испугѣ поднимаюсь со скамьи. Зачѣмъ я такъ скверно спрятался отъ нея? Зачѣмъ не поговорилъ съ ней? Но, съ другой стороны, что же я могъ сказать ей? Это все равно, что мнѣ отправиться сейчасъ къ Зинѣ... Да и нельзя отправиться... Пять часовъ, она уѣхала...

Я опять сажусь и пристально гляжу въ одну точку, стараясь охватить то, что творится въ моей душѣ.

Звѣзды въ мутномъ небѣ свѣтятъ блѣдно и сумрачно. Вѣтеръ поднимаетъ пыль на дорожкахъ почти темнаго сада, и съ деревьевъ сыплются листья. Точно напряженный шопотъ, не смолкаетъ надо мною порывисто усиливающийся шумъ и шелестъ деревьевъ. А когда вѣтеръ, какъ духъ, какъ живой, убѣгаетъ, кружась, въ дальнія аллеи, старые тополи гудятъ тамъ такъ угрюмо, что становится жутко. Гулъ ихъ вершинъ грустно сливается съ моимъ настроеніемъ, и старыя грустныя сравненія приходятъ въ голову... Какъ вѣтеръ листьями, играетъ жизнь моею судьбою, и я ли виноватъ, что не могу открытой грудью встрѣтить бурю жизни!

Когда я, наконецъ, рѣшилъ вернуться домой, была уже ночь. Подавленный тоской, подгоняемый вѣтромъ, я бессильно брелъ по улицамъ. Вотъ и нашъ домишко ярко свѣтитъ окнами въ черномъ мракѣ подъ деревьями. Кругомъ шумъ вѣтра и листьевъ, а тамъ тихо, и сухія вѣтки плюща, какъ во снѣ, качаются

надъ окномъ моей комнаты. Въ ней, за стеклами, спокойнымъ, ровнымъ свѣтомъ горитъ лампа... Куда же я ѣду? Кто гонитъ меня въ эту даль, гдѣ полутемный поѣздъ, одинокая ночь и долгій, замирающій, точно прощальный, стонъ паровоза?

Въ страхѣ я остановился.

— Елена!—хотѣлось крикнуть мнѣ.

И точно угадавъ мое желаніе, она неслышно вышла изъ темноты подъ деревьями.

— Можно къ тебѣ?—спросила она деревяннымъ голосомъ.

Я растерялся и смущенно пробормоталъ:

— Конечно... Конечно, можно... Сдѣлай одолженіе...

Въ темнотѣ я долго не могъ попасть ключемъ въ замочную скважину, наконецъ, отворилъ дверь и естественно-шутливо проговорилъ:

— Прошу!

— Я только на минутку,—отвѣтила она сухо, входя въ комнату и не глядя на меня.

Я подвинулъ ей кресло, сѣлъ противъ нея и взялъ ее за руку.

— Снимай,—сказалъ я ласково, указывая глазами на перчатку,—посиди у меня.

Она взглянула на меня, улыбнулась, но вдругъ губы ея дрогнули и на глазахъ показались слезы.

— Елена!—сказалъ я ласково и укоризненно.

Она не отвѣтила. Я повторилъ свои слова, но уже безъ нѣжности и пожалъ плечами.

— Елена! — снова началъ я съ раздраженіемъ. — Надо же взять себя въ руки,—прибавилъ я, чувствуя, что говорю глупости.

Она упорно молчала. Зубы ея были стиснуты, въ голубыхъ глазахъ, пристально устремленныхъ на огонь, стояли слезы.

Я съ шумомъ отодвинулъ кресло, быстро застегнулъ на всѣ пуговицы пиджакъ и, заложивъ руки въ

его карманы, заходить по комнатам. Но повернувшись два или три, снова бросился въ кресло и, прикрывъ глаза, спросилъ съ холодной насмѣшливостью:

— Что же тебѣ угодно отъ меня?

Она быстро и удивленно взглянула на меня, хотѣла что-то сказать, но вдругъ закрыла лицо руками и разразилась громкими, судорожными рыданіями. И рыдая, комкая къ глазамъ платокъ, заговорила отрывистымъ, рѣзкимъ голосомъ:

— Ты не смѣешь такъ говорить!.. Какъ ты... смѣ-ешь... когда я... такъ... относилась къ тебѣ!.. Ты обманывалъ меня...

— Зачѣмъ ты врешь?—перебилъ я ее,—ты отлично знаешь, что я относился къ тебѣ по-дружески. Но чѣмъ я былъ обязанъ на большее? Чѣмъ? Я не хочу вашей мѣщанской любви... Оставьте меня въ покоѣ!

— А я не хочу твоей декадентской дружбы!—крикнула Елена и отняла платокъ отъ глазъ.—Зачѣмъ ты ломался? — заговорила она твердо, сдерживая рыданія и глядя на меня въ упоръ съ ненавистью. — Почему ты вообразилъ, что мной можно было играть?

Я опять рѣзко перебилъ ее:

— Ты съ ума сошла! Когда я игралъ тобою? Мы оба были одиноки, оба искали поддержки другъ въ другѣ,—и, конечно, не нашли,—и больше между нами ничего не было.

— А, ничего,—снова крикнула Елена злобно и радостно.—Какой же такой любви вамъ угодно? Почему ты даже мысли не допускаешь равнять меня съ собою? Я одна, меня ждетъ ужасная жизнь гдѣ-нибудь въ сельскомъ училищѣ, я мелкая общественная единица, но я лучше тебя. А ты? Ты даже вообразить себѣ не можешь, какъ я васъ ненавижу всѣхъ, — неврастениковъ, эгоистовъ, „предтечъ будущаго“, какъ вы себя величаете! Все для себя! Все ждете, что ваша ничтожная жизнь обратится въ нѣчто необыкновенное.

— Да,— сказалъ я со злобою, подымаясь.—Я люблю жизнь, безнадежно люблю и, конечно, дорожу ею. Мнѣ дана только одна жизнь и та па какія-нибудь пятьдесятъ лѣтъ, изъ которыхъ пятнадцать ушло на дѣтство и четверть уйдетъ на сонъ. И при этомъ я никогда не зналъ счастья! Смѣшно, не правда ли?

Но Елена опять прижала платокъ къ глазамъ и зарыдала съ новой силой.

— И поэтому ты...—заговорила она гадливо.—И поэтому ты сегодня такъ низко и спрятался отъ меня? Ты опять лжешь, чтобы закрыться пышными фразами...

Я съ неимовѣрной быстротой схватилъ прессъ-папье и со всего размаху ударилъ имъ по столу.

— Уйди!—крикнулъ я бѣшено.

И мгновенно похолодѣлъ отъ ужаса за сдѣланное. Я увидалъ, какъ Елена вскочила, сразу оборвавъ рыданія, и лицо ея рѣзко измѣнилось отъ дѣтскаго страха.

— Уйди! — закричалъ я опять, но уже другимъ — жалкимъ голосомъ, до глубины души пораженный жалостью.

Она распахнула дверь, и вѣтеръ, какъ шалый, со стукомъ рванулъ къ себѣ раму, съ шелестомъ и шумомъ деревьевъ ворвался въ комнату и мгновенно уничтожилъ свѣтъ лампы. Я упалъ на постель, уткнулся лицомъ въ подушку и заскрежеталъ зубами, упиваясь своею скорбью и своимъ отчаяньемъ. Тополи гудѣли и бушевали во мракѣ... Но я былъ радъ всему этому. Все равно, все равно!—повторялъ я съ мучительнымъ наслажденіемъ,—пусть бушуетъ вѣтеръ, пусть шумъ деревьевъ, стукъ ставень, чьи-то крики вдали сливаются въ одинъ дикій хаосъ! Жизнь, какъ вѣтеръ, подхватила меня, отняла волю, сбила съ толку и несетъ куда-то въ даль, гдѣ смерть, мракъ, отчаянье!..

ПОЗДНЕЙ НОЧЬЮ.

Быль ли это сонъ или часъ ночной таинственной жизни, которая такъ похожа на сновидѣніе, я не умѣю сказать. Казалось мнѣ, что осенній грустный мѣсяцъ уже давнымъ-давно плыветъ надъ землею, что на землѣ все точно вымерло въ глубокой тишинѣ и что наступилъ часъ отдыха отъ всей лжи и суеты дня. Казалось, что уже весь, до послѣдняго нищенскаго угла, заснулъ Парижъ и спалъ долго... Долго спалъ и я, и наконецъ, медленно отошелъ отъ меня сонъ, какъ заботливый и неторопливый врачъ, сдѣлавшій до конца свое дѣло и оставившій больного уже тогда, когда онъ вздохнулъ полной грудью и, открывъ глаза, улыбнулся застѣнчивой и радостной улыбкой возвращенія къ жизни. А когда сонъ сдѣлалъ свое дѣло, когда я, очнувшись, открылъ глаза, — я увидалъ себя въ тихомъ и свѣтломъ царствѣ ночи, наединѣ съ ея глубокимъ молчаніемъ, — наединѣ съ тѣмъ, что я переживалъ лишь въ дѣтствѣ.

Я неслышно ходилъ по ковру въ своей комнатѣ на пятомъ этажѣ и подошелъ къ одному изъ оконъ. Я смотрѣлъ то въ комнату, большую и полную легкаго сумрака, то въ верхнее стекло окна на мѣсяцъ, для чего мнѣ нужно было наклоняться въ оконную нишу. Мѣсяцъ тогда обливалъ меня свѣтомъ, и поднимая глаза кверху, я Долго смотрѣлъ въ его лицо. Потомъ опять

отклонялся въ сумракъ. И когда я смотрѣлъ и прислушивался, я опять чувствовалъ, что стоять мертвая тишина поздней ночи и что все, что было, пережито днемъ, стало такъ далеко и такъ чуждо для меня!

Мѣсячный свѣтъ, проходя сквозь бѣлесыя кружева гардинъ, смягчалъ сумракъ въ глубинѣ комнаты. Отсюда мѣсяца не было видно. Но всѣ четыре окна были озарены ярко, какъ и то, что было возлѣ нихъ. Мѣсячный свѣтъ падалъ изъ оконъ четырьмя блѣдно-голубыми, блѣдно серебристыми арками, и внутри каждой изъ нихъ былъ дымчатый тѣневой крестъ, мягко ломавшійся по озареннымъ кресламъ и стульямъ. И въ креслѣ у крайняго окна сидѣла та, которую я любилъ,—вся въ бѣломъ и похожая на дѣвочку или ангела, блѣдная и красивая въ своей задумчивости, грустная ото всего, что мы пережили и что такъ часто дѣлало насъ злыми и безпощадными врагами.

О чемъ она думала? И отчего она тоже не спала въ эту ночь?

Избѣгая глядѣть на нее, я сѣлъ на окно рядомъ съ ней... Да, поздно,—вся пятиэтажная стѣна противоположныхъ домовъ темна,—ни одного живого окошка. Всѣ чернѣютъ, какъ слѣпые глаза. Я заглянулъ внизъ,—узкій и глубокий корридоръ улицы тоже теменъ и пустъ. И такъ во всемъ городѣ. Только блѣдный сіяющій мѣсяцъ, слегка наклоненный на правый бокъ, катится и въ то же время остается недвижимымъ среди дымчатыхъ бѣгущихъ облаковъ, одиноко бодрствуя надъ городомъ. Какъ давно мы не видались съ нимъ! Теперь онъ глядѣлъ мнѣ прямо въ глаза, свѣтлый, но немного на ущербѣ и оттого—печальный. Облака дымомъ плыли мимо него. Около мѣсяца они были свѣтлы и таяли, дальше отъ него сгущались, а за гребнемъ крышъ проходили уже совсѣмъ угрюмой и тяжелой грядой...

— Давно не видалъ я мѣсячной ночи! — опять подумалъ я съ грустью, и мысли мои опять возвратились

къ далекимъ, почти забытымъ осеннимъ ночамъ, которыя съ такими же чувствами, только безъ боли за прошлое, видѣлъ я когда-то въ дѣтствѣ, среди холмистой и скудной степи средней Россіи. Тамъ мѣсяцъ глядѣлъ въ окошечко подъ мою родную кровлю и тамъ впервые узналъ и полюбилъ я его кроткое и блѣдное лицо. Незамѣтно для самого себя, я мысленно покинулъ Парижъ и на мгновенье померещилась мнѣ вся Россія, точно съ возвышенности я взглянулъ на огромную низменность. Вотъ золотисто-блестящая пустынная ширина Балтійскаго моря. Вотъ—хмурья страны сосенъ, возрастающихъ и уходящихъ въ сумракъ къ востоку, а вотъ—рѣдкіе лѣса, болота и перелѣски, ниже которыхъ, къ югу, начинаются безконечныя поля и равнины. На сотни верстъ скользятъ по лѣсамъ рельсы желѣзныхъ дорогъ, тускло поблескивая при мѣсяцѣ. Сонные разноцвѣтные огоньки мерцаютъ вдоль путей и одинъ за другимъ убѣгаютъ на мою родину. И вотъ передо мною пустыя, слегка холмистыя, поля, а среди нихъ—старый, сѣрый помѣщичій домъ, ветхій и кроткій при мѣсячномъ свѣтѣ... Неужели это тотъ же самый мѣсяцъ, который глядѣлъ когда-то въ мою дѣтскую комнату, который видѣлъ меня потомъ юношей и который груститъ теперь вмѣстѣ со мной о моей неудавшейся молодости? Неужели это онъ успокоилъ меня въ свѣтломъ царствѣ ночи, возвративъ мнѣ все, что, казалось, уже навсегда угасло въ моемъ измученномъ сердцѣ?

И я ходилъ и думалъ, а ночь неслышно неслась на своихъ беззвучныхъ крыльяхъ...

— Отчего ты не спишь? — услыхалъ я, наконецъ, робкій голосъ.

И то, что она первая обратилась ко мнѣ послѣ долгаго и упорнаго молчанія, больно и сладко кольнуло мнѣ въ сердце. Чтѣ то дрогнуло у меня внутри, но, подавивъ волненіе, я тихо отвѣтилъ:

— Не знаю... А ты?

И опять мы долго молчали. Мѣсяцъ замѣтно опустился къ крышамъ и уже глубоко заглядывалъ въ нашу комнату. Ни одной души, казалось, не было во всемъ огромномъ домѣ, и мнѣ хорошо было чувствовать, что мы совершенно наединѣ съ нею.

— Инна,—сказалъ я, подходя къ ней,—прости меня.

Она не отвѣтила и закрыла глаза руками.

— Инна... — повторилъ я несмѣло и отвелъ руки отъ глазъ.

Она опять не отвѣтила и наклонила голову. Но, взглянувъ, я увидалъ, что по щекамъ ея тихо катились слезы, а брови были подняты и дрожали, какъ у ребенка. И увидавъ это, я опустился у ея ногъ на колѣни, крѣпко обнялъ ее и прижался къ ней лицомъ, не сдерживая ни своихъ, ни ея слезъ и цѣлуя ея руки.

Она растерялась и старалась поднять мою голову съ своихъ колѣнъ.

— Но развѣ ты виноватъ? — говорила она смущенно. — Развѣ не я во всемъ виновата?

И улыбалась сквозь слезы радостной и горькой улыбкой.

Она хотѣла взять всѣ вины на себя одну, старалась во всемъ оправдать меня, а я говорилъ ей, что мы оба виноваты, потому что оба нарушали заповѣдь радости, для которой мы должны жить на землѣ. И, на мгновеніе возвратившись къ искренности и нѣжности дѣтства, мы вмѣстѣ провели остатокъ этой ночи. Мы опять любили другъ друга, какъ могутъ любить только тѣ, которые вмѣстѣ страдали, вмѣстѣ заблуждались, но зато вмѣстѣ встрѣчали и рѣдкія мгновенія правды. И только блѣдный грустный мѣсяцъ видѣлъ наше счастье и говорилъ намъ о правдѣ Вѣчной Ночи, передъ лицомъ которой, можетъ быть, простятся всѣ наши прегрѣшенія,—вольныя и невольныя...

НА ДОНЦѢ.

О, Донче! Не мало ти величїя, лелѣявшу князя на влѣнахъ, стлавшу ему зелену траву на свои сребренныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мѣглами!..

Сл. о Пл. Из.

I.

Шляхъ отъ Путивля къ Донцу, къ древнему монастырю на Святыхъ Горахъ пролегаетъ на юго-востокъ, на Азовскія степи...

Раннимъ утромъ великой субботы я былъ уже подъ Славянскомъ. Но до Святыхъ Горъ оставалось еще верстъ двадцать, и нужно было идти поспѣшно. Этотъ день мнѣ хотѣлось провести въ обители.

Подъ Славянскомъ я свернулъ къ востоку, и предомной развернулось пустынное сѣрое поле. Одинъ сторожевой курганъ стоялъ вдалекѣ и, казалось, зорко глядѣлъ на равнины. Къ тому же, съ утра въ степи было по весеннему пусто, холодно и вѣтрено; вѣтеръ просушивалъ колеи грязной дороги и уныло шуршалъ прошлогоднимъ бурьяномъ. Но за мною, на западѣ, картинно рисовалась въ необозримой дали гряда мѣловыхъ плоскогорій. Темнѣя пятнами лѣсовъ, какъ старинное, тусклое серебро чернью, она заворачивала къ югу и тонула въ голубомъ утреннемъ туманѣ. И,

вдохнувъ полной грудью, я опять ускорялъ шаги. Вѣтеръ дулъ навстрѣчу, холодилъ лицо и забирался въ рукава одежды, но даже вѣтеръ и сѣрый колоритъ полей прибавляли силы и крѣпости. Степь увлекала и завладѣвала настроеніемъ... Одиночество, жажда новыхъ впечатлѣній — все наполняло душу чувствомъ молодости и свѣжести. А когда я подошелъ къ кургану и поднявшійся орелъ вдругъ взмахнулъ надъ ними своими большими крыльями, я чуть не вскрикнулъ отъ радостнаго испуга!..

Точно свѣтлый, стальной щитъ, блеснула за курганомъ круглая ложбинка, налитая весенней водою. Я тотчасъ свернулъ къ ней на отдыхъ. Есть что-то чистое и веселое въ этихъ полевыхъ апрѣльскихъ болотцахъ; надъ ними вьются звонкоголосые чибицы, сѣренькія трясогозочки щеголевато и легко перебѣгаютъ по ихъ бережкамъ и оставляютъ на илѣ свои тонкіе, звѣздообразные слѣды, а въ мелкой, прозрачной водѣ ихъ отражается ясная лазурь и бѣлыя облака весенняго неба. Курганъ же былъ настоящій степной — дикій, еще ни разу не тронутый плугомъ. Онъ расплывался на два холма и, словно поблекшей скатертью изъ мутно-зеленаго бархата, былъ покрытъ прошлогодней травой. Сѣдой ковыль тихо покачивался на его склонахъ. Это были жалкіе остатки прежняго величія, и грустно было смотрѣть на нихъ, на этотъ случайно уцѣлѣвшій ковыль! Время его, думалъ я, навсегда проходитъ: въ вѣковомъ забытіи онъ только смутно вспоминаетъ теперь далекое былое, прежнія степи и прежнихъ людей, души которыхъ были роднѣе и ближе ему, лучше насъ умѣли понимать его шопотъ, полный отъ вѣка важной задумчивости пустыни, такъ много говорящей безъ словъ о ничтожествѣ земного существованія. Пѣсни Востока звучатъ вѣчной скорбью, потому что онѣ родились въ тишинѣ необъятныхъ песчаныхъ равнинъ, гдѣ человѣкъ на каждомъ шагу убѣ-

ждается въ суетности и слабости своихъ земныхъ порывовъ; пѣсни степей заунывны и тихи, потому что онѣ родились въ душѣ одинокаго кочевника, когда лежалъ онъ на старомъ могильномъ курганѣ, видѣлъ глубокое, молчаливое небо, слушалъ дремотный шорохъ ковыля и тосковалъ невыразимой тоскою, чуялъ невнятный голосъ природы, говорящій намъ, что не на землѣ наша родина. А этотъ голосъ слышится всюду, гдѣ природа царить въ полномъ величіи...

Отдыхая, я долго лежалъ на курганѣ. Съ полей, между тѣмъ, потянуло тепломъ. Солнце согрѣвало облака и они свѣтлѣли и таяли. Жаворонки, невидимые въ воздухѣ, напоенномъ парами и свѣтомъ, ужъ заливались надъ степью безотчетно-радостными трелями. Вѣтеръ сталъ ласковый, мягкій. Холодкомъ земли и рѣзкой свѣжестью молодой зелени вѣяло отъ кургана. Солнце пригрѣвало мнѣ щеку и подъ легкой ласковой вѣтерка и солнца хотѣлось прикрыть глаза и помечтать... помечтать хотя бы о томъ, что вотъ я свободенъ теперь, какъ птица, что для того, чтобы быть счастливымъ, надо очень немного...

Въ южныхъ степяхъ меня всегда почему-то особенно сильно охватываетъ вѣяніе глубокой старины. Каждый курганъ кажется мнѣ молчаливымъ памятникомъ какой-нибудь поэтической были. А побывать на Донцѣ, на Маломъ Танаисѣ, воспѣтомъ „Словомъ“ — это была моя давнишняя мечта. Донецъ видѣлъ Игоря, — можетъ быть, видѣлъ Игоря и Святогорскій монастырь. И если такъ, что пережилъ онъ за свою долгую жизнь? Сколько разъ разрушался онъ до основанія и пустѣли его разломанныя стѣны! Сколько перетерпѣлъ онъ потомъ, стоя на татарскихъ путяхъ, въ дикихъ степныхъ равнинахъ, когда иноки его были еще воинами, когда они переживали долгія, тяжелыя осады отъ полчищъ дикихъ ордъ и воровскихъ людей, когда на его богослуженія въ рѣдкіе дни отдыха стекались со степей

сторожевые люди съ суровыми лицами и простыми сердцами.

Скрипъ телѣги, на которой сидѣлъ старикъ малороссъ, свѣсивъ съ грядки ноги въ допотопныхъ сапогахъ, и сопѣніе воловъ, которые, покачиваясь и вытягивая шеи, придавленные тяжелымъ ярмомъ, медленно, какъ во снѣ, тащились по дорогѣ, разогнали мои думы. Я запагалъ еще поспѣшнѣе.

Помню лѣсъ, который мнѣ пришлось проходить. Полоса его долго чернѣла вдали, словно набросанная сепіей. Мѣстность возвышалась, и по мѣрѣ того, какъ я подходилъ, лѣсъ все выросталъ изъ-за горизонта. Я не сводилъ съ него глазъ, думая, что за лѣсомъ-то и откроется долина Донца и Горы. Къ тому же, лѣсъ казался очень старымъ, заглохшимъ „заказомъ“. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявыя, изсохшія дебри. Замедляя шаги, я съ трудомъ пробирался по хворосту и бурелому, который гнилъ въ грязи глубокихъ рытвинъ дороги. Ни одной птицы не слышно было въ чащахъ. Иногда на полянахъ дорогу затопляло цѣлое болото весенней воды. Сухія деревья сквозили кругомъ; они сѣрѣли мшистой корою, а кривыя ихъ сучья бросали такія слабыя, блѣдныя тѣни; даже цвѣты росли тутъ чахлые, блѣдно-желтые, болотные...

Скоро, однако, въ перспективѣ лѣсной дороги снова проглянула просторная и вольная даль. Сухой степной вѣтеръ все усиливался, разгоняя въ яркомъ весеннемъ небѣ бѣлыя облака, но и день, солнечный, веселый день, разыгрывался вмѣстѣ съ нимъ... Монастыря же все не было.

Хохоль, къ которому я подходилъ съ разспросами о дорогѣ, рослый мужикъ съ маленькою головою, одѣтый въ короткую, словно изъ осиновой коры спитую, свитку, не спѣша, шелъ за плугомъ. Плугъ тащили четыре вола, а воловъ вела дѣвочка.

— Тату!—сказала она мужику, обращая его вниманіе на меня.

Онъ приостановился.

— Это дорога на Святѣя Горы?—спросилъ я.

— А куды вамъ треба?

— Въ монастырь.

— Якій монастырь?

— Да что же вы, развѣ никогда не были на Святыхъ Горахъ?

— Въ экономіи?

— Да не въ экономіи, а въ самомъ монастырѣ, въ церкви?

— У церкви? Та у насъ своя церква на селі.

— А въ монастырѣ?

— Та бувъ, ще хлопцемъ. Тоді чума на скотъ була, такъ казали, що тамъ пробувавъ такій монахъ, що знавъ замовляти. Отъ і ходили усі, у кого скотина боліла; звісно, молебствіе служили і въ село привозили того инокa. Ну, походивъ вінъ по дворахъ, покропивъ водою, а про те ничего не помоглось...

— А много въ монастырѣ народу бываетъ?

— Та богато. Кацапа найбільше.

— А ваши-то развѣ не ходять?

— Та й наши ходять...

— Такъ,—протянуль я невольню совсѣмъ по-кацапски.

Хохоль, вѣроятно, замѣтилъ это. Онъ съ добродушнымъ вниманіемъ поглядѣлъ на меня и вдругъ спросилъ:

— А дозвольте спитать, відкиля ви? Изъ-підъ Москви, мабуть?

— А что?

— Та такъ, видно, що чужесторонній.

Помолчали.

— Что же,—спросилъ я,—не боитесь грѣха работать въ великую субботу?

— А тожъ якъ? Треба поспішати.

— Такъ... Значить, это дорога?

— Эге.

— Ну, прощайте!

— Бувайте здорові!

И хохолъ, даже не взглянувъ на меня, снова спокойно пошелъ за плугомъ. А я долго съ невольной улыбкой размышлялъ о нашей бесѣдѣ, хотя для меня уже было не ново то, что на югѣ люди гораздо меньше думаютъ о монастыряхъ, чѣмъ въ глубинѣ Россіи...

Между тѣмъ чувствовалась усталость. Ноги ныли въ пыльных горячихъ сапогахъ. Бодрое настроеніе ослабѣвало; чтобы забыть про усталость, нужно было развлекать себя. И я принялся считать шаги, и занятіе это такъ увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влѣво, подъ гору, и вдругъ ослѣпила рѣзкой бѣлизной мѣла. Вдалекѣ, налѣво, на самомъ горизонтѣ, надъ чащею лѣса сверкалъ золотой звѣздой куполъ церкви. Но я едва взглянулъ туда. Донецъ былъ направо, въ ста шагахъ отъ меня, въ огромной, глубокой долинѣ!

Долго простоялъ я неподвижно, глядя на мутную синеву этой широкой картины, этихъ привольныхъ луговъ. Донецъ былъ въ разливѣ, и вся долина была затоплена водою. Стальные полосы рѣки тамъ и сямъ сверкали въ чащахъ коричневыхъ тростниковъ и залитыхъ половодьемъ прибрежныхъ лѣсовъ, а къ югу разливались все шире, совсѣмъ уже смутныя у подножія далекихъ мѣловыхъ горъ. И горы бѣлѣли смутно-смутно, и чайки кричали такъ слабо и странно, и вся меланхолія этого пейзажа такъ поэтично гармонировала со всѣмъ тѣмъ, что, казалось, еще незримо вѣетъ здѣсь изъ глубины вѣковъ...

Тихо спустился я съ горы и пошелъ подъ ея скатомъ, по дорогѣ надъ самой рѣкой. Я обгонялъ идущій на богомолье народъ—женщинъ, подростковъ, дряхлыхъ калѣкъ съ выцвѣтшими отъ времени и степныхъ вѣтровъ глазами, и все думалъ о старинѣ, о той чуд-

ной власти, которая дана прошлому. Откуда она и что она значить? Не въ ней ли заключается одна изъ величайшихъ тайнъ жизни? И почему она управляетъ человѣкомъ съ такою дивною силой?

И когда я начиналъ вдумываться въ свое настроеніе; вглядываться въ лица идущихъ и ѣдущихъ, мнѣ думалось: да, и они во власти этой старины; правду говоритъ Достоевскій, что „сущность религіознаго чувства ни подъ какія разсужденія не подходитъ—тутъ что-то не то и вѣчно будетъ не то“... но вѣрно и то, что въ этомъ „что-то“ наше, часто не сознаваемое, преклоненіе предъ прошлымъ, наше таинственное родство съ мыслями и дѣлами всѣхъ отжившихъ, играетъ великую роль... Мое настроеніе, по крайней мѣрѣ, оправдывало то, что я думалъ...

Между тѣмъ, монастырь все еще не показывался. Послѣ полудня небо потускнѣло, вѣтеръ началъ пылить по дорогѣ и въ степи стало скучно. Донецъ скрылся за холмами... Я попросилъ проѣзжаго хлопца подвезти меня, и онъ посадилъ меня въ свою телѣжку на двухъ колесахъ. Мы разговорились и я почти не замѣтилъ, какъ мы вѣхали въ лѣсъ и стали спускаться подъ гору.

Но чувство, охватившее меня, такъ было ново и неожиданно! Все круче, отвѣснѣе становилась горная дорога, каменистая, узкая, живописная дорога. Мы точно въ люлькѣ подъемной машины спускались все ниже и ниже въ долину, а столѣтніе красноватые стволы мачтовыхъ сосенъ, гордо выдѣляясь среди разнообразной лѣсной заросли, мощно вцѣпившись корнями въ каменистые берега дороги, плавно подымались все выше и выше, возносились зелеными кронами къ голубому небу. Небо надъ ними казалось еще глубже и невиннѣе, и чистая, свѣтлая, какъ это небо, радость наполняла душу. А внизу, сквозь зеленую чащу лѣса, между соснами, вдругъ проглянула глубокая, и какъ

показалось, тѣсная, веселая долина, золотые кресты, куполы и бѣлыя стѣны домовъ у подошвы лѣсистой горы—все скученное, картинно-сокращенное отдаленіемъ,—и свѣтлая полоса узкаго Донца, и густая синева воздуха надъ сплошными луговыми лѣсами за рѣкою! И это былъ не просто красивый пейзажъ,—это былъ удивительно своеобразный, дышащій жизнью видъ. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ показался мнѣ съ горной узкой дороги въ свѣтломъ затишьи долины, и, право, тотъ моментъ, когда она только-что открылась подо мною во всей своей красотѣ, когда сосны уплывали въ небеса зелеными вершинами, навсегда останется однимъ изъ лучшихъ моихъ воспоминаній!

II.

Сквозь сонъ я долго слышалъ, какъ казалось, надъ самую голову страннѣйшій перезвонъ колоколовъ. Я заснулъ на какихъ-то бревнахъ около пристани парома, и тѣло сразу оцѣпенѣло отъ переутомленія; но чувствовалъ я себя въ какой-то сказочной обстановкѣ, у подошвы горъ, уходящихъ въ небо, среди несмѣтной толпы народа, говоръ котораго гуломъ стоялъ надъ рѣкою; чувствовалъ, что прозябъ отъ весенней рѣчной свѣжести, и никакъ не могъ очнуться. И только проснувшись, отдохнуль какъ слѣдуетъ.

Новый монастырь, тотъ, что находится у подошвы горы, далеко не такъ красивъ, какъ это кажется издалека. Хозяйственныя его постройки, особенно громадное зданіе гостиницы, походятъ на казармы... Къ тому же, вездѣ было тѣсно отъ наѣхавшаго народа. Пожилой монахъ, дремавшій на крыльцѣ гостиницы, на мой вопросъ о помѣщеніи для ночлега, только посмотрѣлъ на мою блузу, и затанулся долгимъ, лѣнивымъ зѣвкомъ. Послушникъ, котораго я встрѣтилъ въ воротахъ, такъ спѣшилъ куда-то, что я не успѣлъ остановить его. Онъ

только обернулся и запагалъ еще шире и неуклюжѣе, махаясь и подаваясь впередъ всѣмъ тѣломъ, отчего по плечамъ его болтались блѣдножелтые волосы. Другой какими-то тайными путями—темнымъ, узкимъ корридоромъ, гдѣ стоялъ тяжелый духъ склепа, воска, ладона и угаръ отъ самоваровъ,—провелъ меня въ номеръ, уже занятый постояльцемъ.

Постоялецъ лежалъ на жесткомъ диванѣ, выставивъ кверху колѣни худыхъ ногъ, и лицо его было желто и постно, какъ у мертвеца. На немъ былъ сѣрый пиджакъ, слишкомъ широкой для его худощаваго тѣла, и узкіе штаны желтоватаго цвѣта; на шеѣ—шарфъ, на ногахъ,—кромѣ сапогъ, рыжія голенища которыхъ виднѣлись подъ короткими штанами,—резиновыя глубокія калоши. Козлиная бородака его изобличала „кацапа“, человѣка русскаго, благочестиваго, подозрительнаго и очень любопытнаго. Очень зорко осмотрѣвъ меня, онъ прикрылъ глаза, полежалъ минуту молча и спросилъ:

— Изъ дальнихъ, позвольте спросить?

Я сказалъ.

— Та-акъ. По торговой части или, можетъ, въ услуженіи у кого?

— Нѣтъ.

— Значить, капиталъ свой имѣете?

— А что?

Сожитель мой поднялъ брови, искоса глянулъ на меня и закашлялся.

— О-охъ...—простоналъ онъ, тяжело повертываясь на бокъ.

— Вы нездоровы?

— Болѣзни въ себѣ не замѣчаю, а слабость большая во мнѣ, особливо теперь.

— Почему „теперь“?

— Надо полагать, безъ пищи ослабѣлъ я.

— Какъ безъ пищи?

Собесѣдникъ мой тускло улыбнулся.

— А вы что же, развѣ Бога-то ни за что почитаете? Святые отцы, къ примѣру, прямо на то указываютъ, чтобъ не вкушать за эти дни пищи, особливо съ четверга...

И онъ опять прикрылъ глаза. Я, въ свою очередь, полюбопытствовалъ:

— А вы—торгуете?

— Косники были.

— То-есть, косы продавали?

— Правильно-съ. Ну, а потомъ, хоть товаръ этотъ, прямо надо сказать, темный и прибыльный и не сразу тутъ дойдешь до пониманія, восемь гривенъ коса аль два съ полтиной,—пришлось оставить.

— Отчего же?

— Результату нѣту настоящаго.

Онъ помолчалъ и злорадно добавилъ:

— Теперича господа коммерцію полюбили; господину земскому предсѣдателю тоже желается барышокъ себѣ имѣть.

— Да вѣдь это не въ пользу предсѣдателя идетъ торговля.

— Понимаемъ тоже...

— Такъ вы и бросили торговлю?

— Ну, нѣтъ, безъ дѣла нельзя-съ. Винную лавку содержимъ, черную...

— А въ монастырѣ-то вы часто бываете?

— Да, какъ теперича я недалеко живу. А вы къ чему же это? Про усердіе-то?

Я смутился. Лавочникъ же сдвинулъ брови и заговорилъ строго:

— Всякому это подобаетъ. И при дѣлѣ всякій долженъ состоять и храмы Божіи не оставлять безъ вниманія. Хочешь, не хочешь, а исполняй. У меня теперича, къ примѣру сказать, самое горячее дѣло, а я дѣло на жену бросилъ. И будетъ вотъ убыточку монеть на сто.

Онъ опять закашлялся слабымъ, внутреннимъ кашлемъ и замолкъ.

— Вамъ нуженъ покой,—сказалъ я, вставая,—лучше я еще глѣ-нибудь переночую.

— Теперь не до покоя.

— Да нѣтъ, все-таки...

Лавочникъ покосился на меня.

— Что жъ такъ?

— Вамъ будетъ покойнѣй.

— Ну, съ Богомъ!—сказалъ лавочникъ уже совсѣмъ непріязненно. Но тотчасъ же, морщась, сталъ съ трудомъ переворачиваться на спину.

Весь берегъ рѣки передъ монастыремъ былъ занятъ, какъ на ярмаркѣ, телѣгами и народомъ. Тутъ были и смоленскіе мужики въ бараньихъ шлыкахъ, и туляки, и полтавцы, и даже волжане. Многіе спали подъ телѣгами, другіе закусывали, умывались; говоръ стоялъ сдержанный и сливался въ однообразный гулъ. Подъ этотъ говоръ я и заснулъ. Когда же проснулся, берегъ уже опустѣлъ: всѣ были въ церкви.

III.

Донецъ подъ Святыми Горами быстръ и узокъ. Берега его заросли лѣсомъ. Правый горный берегъ возвышается почти отвѣсною стѣною и щетинится лѣсной чащей. Подъ нимъ-то и пріютилась бѣлокаменная обитель съ величавымъ, но грубо раскрашеннымъ соборомъ посреди двора. Выше, на полугорѣ, бѣлѣя въ зелени лѣса, висятъ два мѣловыхъ конуса, два утеса, сѣрыхъ отъ времени и непогодъ, за которыми держится старинная церковка. А еще выше, уже на самомъ горномъ перевалѣ, рисуется на фонѣ неба другая. Горы какъ будто уносятъ ее въ свѣтлое царство лазури...

Съ юга надвигалась туча, но весенній вечеръ былъ еще ясенъ и тепелъ и солнце медленно уходило за горы; широкая тѣнь стлалась по Довцу отъ нихъ. И странная тишина царила всюду: какъ одинъ человѣкъ,

стояли тамъ, въ церкви, сотни молящихся въ благоговѣйномъ молчаніи.

По мощеному церковному двору, мимо собора, я пошелъ къ крытымъ галлереямъ, что ведутъ въ гору. Въ этотъ часъ пусто и тихо было въ ихъ безконечныхъ переходахъ. И чѣмъ выше подымался я, тѣмъ все болѣе вѣяло на меня суровой монастырской жизнью — отъ этихъ картинокъ, изображающихъ скиты и кельи отшельниковъ съ гробами вмѣсто ночныхъ ложъ, отъ этихъ старопечатныхъ поученій, развѣшенныхъ на стѣнахъ, даже отъ каждой стертой ступеньки въ ветхой галлерей. Въ полусумракѣ этихъ переходовъ чудились тѣни далеко отошедшихъ отъ міра сего иноковъ, строгихъ и молчаливыхъ схимниковъ.

Но меня тянуло туда, къ мѣловымъ сѣрымъ конусамъ, къ мѣсту той пещеры, гдѣ въ трудахъ и молитвѣ, простой и возвышенный духомъ, проводилъ свои дни первый человѣкъ этихъ горъ, та великая душа, которая полюбила горный обрывъ надъ Малымъ Танаисомъ... Дико и глухо было тогда въ первобытныхъ лѣсахъ, куда пришелъ святой человѣкъ. Лѣса безконечно синѣли подъ нимъ, смутная даль вѣяла великой меланхоліей природы. Лѣсъ заглушалъ берега рѣки, и только рѣка, одиокая и свободная, плескала и плескала своими холодными волнами подъ его навѣсомъ. И какая тишина царила кругомъ! Рѣзкій крикъ дрозда на полянѣ, озаренной солнцемъ, трескъ сучьевъ подъ ногами дикой козы, хриплый хохотъ кукушки и сумеречное уханье филина—все гулко отдавалось въ лѣсахъ. Ночью величавый мракъ и мертвое молчаніе замирали надъ ними. По шороху и плеску воды угадывалъ инокъ, что вплавь переходятъ Донецъ люди. Молчаливо, какъ рать дьяволовъ, перебирались они черезъ рѣку, шуршали по кустамъ и исчезали во мракѣ ночи. Жутко тогда было въ горной норѣ одинокому человѣку, но до разсвѣта мерцала его свѣчечка и до разсвѣта звучали его молитвы.

А утромъ, изнуренный ночными ужасами и бдѣніемъ, но съ свѣтлымъ лицомъ выходилъ онъ на Божій день, на дневную работу и опять кротко и тихо было въ его сердцѣ, и синѣли лѣса вдали, и важно и ровно шумѣли столѣтнія сосны по горнымъ обрывамъ...

Глубоко внизу подо мною все уже тонуло въ теплыхъ сумеркахъ, мелькали огни, раздавался неясный говоръ. Тамъ уже начиналась сдержанно-радостная тревога приготовленій къ свѣтлой заутренѣ. А здѣсь, за мѣловыми утесами, было тихо и еще брезжилъ свѣтъ зари. Птицы, живущія въ трещинахъ скалъ, подъ карнизами церковки, рѣяли вокругъ, визжа, какъ старый флюгеръ, и всплывали снизу и неслышно тонули внизъ, въ сумракъ, на своихъ мягкихъ крыльяхъ. Туча съ юга заволокла все небо, вѣя теплотою дождя, весенней душистой грозы, и уже содрогалась отъ вспышекъ молній. На хмуромъ фонѣ ея вырисовывались тогда бѣлыя барскія хоромы, стоящія на южной оконечности горъ. Слѣва сосны горнаго обрыва уже слились въ темную опушку и чернѣли, какъ горбъ спящаго звѣря.

— О, Господи, Господи!—прошепталъ въ это время кто-то сзади меня и глубоко вздохнулъ.

Почти испуганный, я обернулся и увидалъ большую темную фигуру. Широкоплечій старикъ въ монашеской скуфьѣ, но одѣтый по мірскому—въ толстой курткѣ рабочаго и въ высокихъ сапогахъ—стоялъ за мною и пристально глядѣлъ въ даль. Лицо у него было широкое, съ крупными чертами, а брови сурово сдвинуты. Въ глазахъ, маленькихъ и зоркихъ, свѣтилась глубокая, затаенная грусть.

— И сколько тугъ, милый, народу померло,—продолжалъ онъ, не глядя на меня,—не сосчитать никому!

— Гдѣ?—спросилъ я.

— Да тутъ-то, на этомъ мѣстѣ. Былъ я сейчасъ и на кладбищѣ монастырскомъ,—жутко тамъ, а хорошо! Мертвые, милый, видно, правда, лучше живыхъ...

Онъ помолчалъ, не обративъ вниманія на мой удивленный взглядъ, и продолжалъ медленно и съ тихой грустью:

— Я, милый, издалека, астраханскій... Тамъ у меня сынъ живетъ въ подвальныхъ, пятнадцать рублей на всемъ готовомъ получаетъ, дочь въ горничныхъ у станціи начальника... Жена-то померла ужъ годовъ девять тому назадъ... А я все хожу. Гдѣ-гдѣ я ни былъ! Все нѣту мнѣ покоя! Службы я церковной не люблю, а вотъ тянетъ меня въ эту тоску... Не люблю и народа, на народѣ мнѣ хуже... И голоса эти...

— Какіе голоса?—тихо выговорилъ я.

— Ужъ не знаю, милый... Бѣсы превращенные, должно... Все, что ни есть въ мысляхъ, все наговариваютъ...

— Да ты бы полѣчился.

— Лѣчился я. Только нѣту съ того толку. Видно, родился я такой. Да и пилъ я. Дюже пилъ, какъ жена померла. И все, бывало, на кладбище ходилъ, на еврейское.

— Отчего жъ на еврейское?

— Унылѣй тамъ!

Онъ опять помолчалъ, вздохнулъ и сказалъ твердо:

— Да, въ этомъ вся причина. Камни стоятъ старые, старые; и написано непонятно на нихъ, какъ узоры какіе... И одни только камни сѣрые... Ни рѣшетокъ этихъ, ни кустиковъ.

— Ну, и что же?—спросилъ я, пораженный смутнымъ поэтическимъ смысломъ этихъ словъ.

— Ну, и лучше мнѣ,—задумчиво отвѣтилъ старикъ.— Вотъ и здѣсь лучше... Богъ-то, Господь Саваоѣ, Онъ, Батюшка,—вонъ гдѣ!

И онъ таинственно указалъ въ полутемную галлерею.

— Онъ совсѣмъ боленъ,—подумалъ я. И какъ бы угадавъ мою мысль, старикъ улыбнулся и сказалъ:

— Такъ-то всѣ мнѣ говорятъ: что, молъ, ты бредишь? А развѣ не правда? Какая моя жистъ теперъ?

А все лучше других... Все лучше, ежели раздумье есть... А то какъ жить? Обуваются да разуваются...

И разговоръ въ такомъ духѣ продолжался у насъ около часа. Старикъ закурилъ трубку и все говорилъ, словно про себя, свои меланхолическія рѣчи. Я многого не понималъ въ нихъ. Но настроеніе ихъ было ясно и трогательно. Долго потомъ вспоминалъ я этого большого унылаго человѣка, ищущаго жизни духа, ищущаго тѣхъ мѣстъ, гдѣ беретъ „раздумье“.

Онъ такъ и остался тамъ, все смотря въ одну точку, въ темную даль передъ собою. А я еще успѣлъ сходить на вершину горы, въ верхнюю церковку. И мнѣ даже жутко стало, когда я нарушилъ шагами ея гробовую тишину. Монахъ, какъ привидѣніе, стоялъ за ящикомъ съ свѣчами. Два-три огонька тихо потрескивали въ храмѣ. А въ верхнее окошечко его еще лился слабый свѣтъ заката. Помню, поставилъ и я свою свѣчку и помолился за того, кто, слабый и преклонный лѣтами, въ мертвой тишинѣ этого маленькаго храма падалъ ницъ въ тѣ грозныя ночи, когда костры осады пылали подъ стѣнами обители; помолился и за всѣхъ тѣхъ, кто ищетъ въ этой жизни „раздумья“...

До глубокой ночи кипѣла суматоха въ монастырѣ.

Потомъ всѣ храмы запылали огнями, и черный мракъ ночи дрожалъ отъ дымнаго пламени смоляныхъ бочекъ на берегу рѣки. И все запылало еще болѣе, все словно ожило, когда раздались слова о воскресеніи Христа и въ отвѣтъ имъ ударила сотня звонкихъ колоколовъ со всѣхъ монастырскихъ колоколенъ!

Уходя на ночлегъ въ деревню, за Донецъ, по его низменному берегу, я не разъ останавливался, пораженный красотою иллюминаціи: все тонуло въ глубокой темнотѣ, не маячили даже очертанія горъ на фонѣ неба, и только огни около верхнихъ храмовъ діадемами золотыхъ созвѣздій четко вырѣзывались въ этомъ мракѣ...

IV.

Утро засверкало солнцемъ, утро было совсѣмъ праздничное, теплое, свѣтлое, и еще радостиѣ, на перебой, звенѣли надъ Донцомъ, надъ зелеными горами колокола; ихъ диссонансы такъ чудно сливались въ одну звонкую, веселую пѣснь о Воскресеніи и улосились туда, гдѣ въ ясномъ воздухѣ стремилась къ небу бѣлая церковка на горномъ перевалѣ. Говоръ гуломъ снова стоялъ надъ рѣкою, а на баркасѣ по ней прибывало въ монастырь все болѣе и болѣе народу. Все жило, двигалось, ярко пестрѣли праздничные малороссійскіе наряды. Подъ веселый перезвонъ колоколовъ я нанялъ лодку, и молоденькая хохлушка легко и быстро погнала ее противъ теченія по прозрачной водѣ Донца, въ тѣни береговой зелени. И нѣжное, красивое личико рыбачки, и солнце, и тѣни, и быстрая рѣчка—все было такъ хорошо и радостно въ это милое утро!

Я побывалъ въ скиту—тамъ, несмотря на толпы народа, было тихо, и блѣдная зелень березокъ слабо шепталась, какъ на кладбищѣ—и сталъ взбираться на гору, чтобы по ея вершинѣ вернуться въ монастырь.

Взбираться безъ тропинки было очень трудно. Нога глубоко тонула во мху, буреломѣ и мягкой прѣлой листьѣ, гадюки то и дѣло быстро и упруго выскальзывали изъ-подъ ногъ, и я почти бѣжалъ, рискуя сорваться внизъ. Горячій зной, полный тяжелого смолистаго аромата, неподвижно стоялъ подъ навѣсами сосенъ. Зато какая даль открылась подо мною, какъ хороша была издали долина съ темнымъ бархатомъ лѣсовъ въ ней, какъ сверкали разливы Донца въ яркомъ солнечномъ блескѣ, какою горячею жизнью юга дышало все кругомъ! То-то, должно быть, дико-радостно билось сердце какого-нибудь воина полковъ Игоровыхъ,

когда любовался онъ этимъ видомъ, выскочивъ на хрипящемъ конѣ на эту высь и повиснувъ надъ обрывомъ, среди могучей чащи сосенъ, убѣгающихъ внизъ!..

А въ сумеркахъ я уже опять шагаль въ степи. Тихій вѣтеръ ласково вѣялъ въ лицо съ молчаливыхъ кургановъ. И отдыхая на нихъ, одинъ-одинешенекъ среди ровныхъ безконечныхъ полей, подъ мирнымъ украинскимъ небомъ, я опять думаль о старинѣ, о людяхъ, почивающихъ въ одинокихъ степныхъ могилахъ подъ смутный шелестъ сѣдого ковыля... Хороши эти мѣста, гдѣ находить „раздумье“!

ФАНТАЗЕРЪ.

Долго-долго погорала заря блѣднымъ румянцемъ. Неуловимый свѣтъ и неуловимый сумракъ мѣшались надъ равнинами хлѣбовъ. Темнѣло и въ деревнѣ,—одни оконца избъ на выгонѣ еще отсвѣчивали мѣднымъ блескомъ... Вечеръ былъ особенно молчаливъ и спокоенъ. Загнали скотину, пришли съ работы, поужинали на камняхъ передъ избами и затихли... Не играли пѣсень, не кричали ребятишки...

Все задумалось вечернею думою,—задумался и Капитонъ Иванычъ и сидѣлъ у поднятаго окна.

Усадьба его стояла на горѣ; мелкорослый садъ, состоявшій изъ акацій и сирени и заглохшій въ лопухахъ и чернобыльникѣ, шелъ внизъ, къ лощинѣ. Изъ окна, черезъ кусты, было далеко видно.

Поле загадочно молчало. Оно уходило на востокъ и лежало въ блѣдной темнотѣ. Воздухъ былъ сухой и теплый. Звѣзды въ небѣ трепетали скромно и таинственно. И одни только кузнечики неутомимо стрекотали подъ окнами въ чернобыльникѣ да въ степи иногда отчетливо выкрикивалъ „пять—пальвать“ перепелъ.

Капитонъ Иванычъ былъ одинъ. Одинъ—по обыкновенію...

Ему словно на роду было написано всю жизнь прожить одиноко. Мать и отецъ его, очень бѣдные, мелкопомѣстные дворяне, проживавшіе у князей Ногайскихъ,

умерли, когда ему было меньше году отъ рожденія. Дѣтство и отрочество онъ провелъ въ домѣ сумасшедшей тетки, старой дѣвы, и въ школѣ кантокистовъ. Въ юности онъ писалъ пѣсни, подражая Дельвигу и Кольцову, называлъ ее въ своихъ стансахъ Валентиной—на самомъ дѣлѣ „ее“ звали Анютой и она была дочь чиновника, служившаго въ комиссаріатѣ,—но взаимности не имѣлъ. Да и трудно было имѣть.

Имя у него было „какъ у дворецкаго“, наружность не обращающая на себя вниманія; смуглый, худощавый и высокій, онъ похожъ былъ, по отзывамъ пріятелей, на семинариста даже тогда, когда, по протекціи князя (недаромъ говорили, что князь — отецъ Капитона Ивановича), добился офицерскаго чина. Впрочемъ, въ офицерскомъ-то чинѣ онъ, можетъ быть, и имѣлъ бы успѣхъ, но тутъ ему досталось отъ тетки имѣньице со ста десятинами и пятнадцатью душами и онъ вышелъ въ отставку. Правда, онъ и тогда воображалъ себя порою то героемъ изъ какого-нибудь романа Марлинскаго, то даже Печоринымъ, стригся по новѣйшей модѣ—„а ля полька“... Но ничего не вышло изъ этого. „Валентина“ поѣхала гостить къ подругѣ и вдругъ вышла замужъ... а онъ „до гробовой доски“ заперъ стихи въ шифоньеркѣ.

Онъ сталъ хозяйствовать; думалъ служить въ только что открывшемся земствѣ, но и въ земствѣ ему не повезло: предводитель, закусывая однажды въ буфетѣ дворянскаго собранія, сказалъ, что Капитонъ Ивановичъ „добрякъ, но фантазеръ... старый фантазеръ... отживающій свое время типъ“... И этого было достаточно. Тогда Капитонъ Ивановичъ перезнакомился съ сосѣдями мелкопомѣстными и увлекся охотой, приобрѣтя себѣ незамѣнимаго друга въ лягавой „Джальмѣ“. Охота еще больше развила въ немъ любовь къ деревнѣ, уничтожила скуку. И дни пошли за днями и стали слагаться въ годы... Онъ сталъ настоящимъ мелкопомѣстнымъ, но-

силъ „тужурку“ и длинныя черныя усы; забылъ даже думать о своей наружности и, вѣроятно, не зналъ, что его смуглое, немного рябое лицо очень привлекательно своею спокойной добротою...

Но сегодня онъ чувствовалъ себя какъ-то особенно. Утромъ зашла богомолка Агафья, бывшая дворовая Капитона Иваныча, и, между прочимъ, сказала:

— А помните, сударь, Анну Григорьевну?

— Помню, — сказалъ Капитонъ Иванычъ машинально.

— Умерла-сь. Великимъ постомъ схоронили.

Цѣлый день потомъ Капитонъ Иванычъ неопредѣленно улыбался. А вечеромъ... Вечеръ насталъ такой тихій и грустный!

Смутное—и хорошее, и тоскливое—чувство волновало Капитона Ивановича. Онъ не хотѣлъ ужинать и не легъ спать рано, какъ ложился обыкновенно. Онъ свернулъ толстую папиросу изъ чернаго крѣпкаго табаку и все сидѣлъ у окна, поджавъ подъ себя одну ногу.

Ему хотѣлось куда-то пойти. Какъ человѣкъ, привыкшій все спокойно обдумывать, онъ спрашивалъ себя: „куда?“ Развѣ перепеловъ ловить? Но заря уже прошла, да и идти не съ кѣмъ. Семенъ нынче въ ночномъ... Да и не за перепелами хочется пойти... Куда же?

Онъ только вздыхалъ и почесывалъ свой давно не бритый подбородокъ...

Какъ, въ сущности, коротка и бѣдна человѣческая жизнь! Давно ли, напримѣръ, онъ былъ мальчикомъ, юношей? Школа кантонистовъ—хорошо, что теперь ихъ нѣтъ болѣе!—холодъ, голодъ, поѣздки къ теткѣ... Вотъ былъ человѣкъ! Онъ отлично помнилъ ее, старую худую дѣву съ растрепанными, сухими черными волосами, съ безумными глазами,—говорили, отъ несчастной любви сошла съ ума,—помнилъ, какъ она, по старой институтской привычкѣ, твердила иногда наизусть француз-

скія басни, закатывая глаза и дѣлая блаженную, важную фізіонсмію; помнилъ, какъ она заболѣла „тоскою“, какъ къ ней приводили знахаря, который твердилъ надъ нею: „Тоска, тоска, иди во темные лѣса—тамъ твои мѣста!“—какъ ее возили къ угоднику въ Задонскъ... Изъ Задонска она вернулась уже совсѣмъ „блаженной“, и, какъ ястребъ, начала слѣдить за нравственностью своихъ дѣвокъ, которыя цѣлый день гремѣли въ „дѣвичьей“ своими коклюшками, неизвѣстно для кого плетя кружево. По ночамъ она нараспѣвъ читала псалтирь, выкрикивала въ религіозномъ азартѣ молитвы собственнаго сочиненія, а иногда съ рыданіями падала ницъ передъ иконами. Ей казалось, что въ нее вселяется „Змій Едемскій и Іерусалимскій“... Потомъ вскакивала, блѣдная, съ распущенными волосами, въ ужасѣ кричала на весь домъ... Какъ сумасшедшія, вскакивали дѣвки; зажигалась трепещущая сальная свѣча и начинались успокаиванія „матушки-барышни“... Жуткое впечатлѣніе производилъ тогда старый помѣщичій домъ среди глубокой осенней ночи!

Впрочемъ, въ этомъ же домѣ когда-то звучалъ „Полонезъ Огинскаго“... Страстно и необычно звучалъ, потому что съ безумной страстью играла его старая дѣва... Ахъ, этотъ полонезъ! И *она* играла его...

Звѣзды въ небѣ свѣтятъ такъ скромно и загадочно; сухо трещать кузнечики, и убаюкиваетъ, и волнуетъ этотъ шопоть-трескъ и молчаливый вечеръ... Въ залѣ стоятъ старинныя клавикорды... Тамъ открыты окна... Если бы туда вошла теперь она, легкая, какъ привидѣніе, и заиграла, тронула старыя звонко-отзывчивыя клавиши! Въ открытыя окна лились бы пѣвучіе, грустные аккорды „Полонеза Огинскаго“... А потомъ они вышли бы изъ дома и пошли рядомъ полевой дорогою, между ржами, прямо туда, гдѣ далеко-далеко брезжить свѣтъ запада...

Капитонъ Ивановичъ поймалъ себя и усмѣхнулся.

— Расфа-нта-зировался...—протянулъ онъ вслухъ.

Вышло неестественно, но онъ старался быть равнодушнымъ—даже сталъ дуть себѣ въ усы и пощипывать ихъ кончики... Но трещали кузнечики въ тихомъ вечернемъ воздухѣ и изъ сада пахло росистыми лопухами, блѣдной, высокой „зарей“ и крапивою. И этотъ запахъ напоминалъ ему вечера, когда онъ прѣѣзжалъ домой, изъ города отъ Анюты и сладко было ему думать о ней, обманывать себя надеждами на счастье.

Былъ апрѣль... Ни одного огонька не свѣтилось на деревнѣ, когда онъ на дрожкахъ вѣѣзжалъ на гору. Все спало лѣтнимъ вольнымъ сномъ подъ открытымъ звѣзднымъ небомъ. Темны и теплы были апрѣльскія ночи; мягко благоухали сады черемухой, лягушки заводили въ прудахъ дремотную, чуть звенящую музыку, которая такъ идетъ къ ранней веснѣ... и долго не спалось ему тогда на соломѣ, въ садовомъ шалашѣ! По часамъ слѣдилъ онъ за каждымъ огонькомъ, что мерцалъ и пропадалъ въ мутно-молочномъ туманѣ дальнихъ лощинъ; если оттуда съ забытаго пруда долеталъ иногда крикъ цапли—таинственнымъ казался этотъ крикъ и таинственно стояла темнота въ аллеяхъ... Но затихало все и особенно значительной казалась тишина степной ночи... А когда передъ зарею, охваченный сочной свѣжестью сада, онъ открывалъ глаза—сквозь полураскрытую крышу шалаша на него глядѣли цѣломудренныя предъутреннія звѣзды...

Капитонъ Иванычъ всталъ и пошелъ по дому. Шаги его одиноко отдавались по комнатамъ, и полы кое-гдѣ гнулись и скрипѣли.

— Восемьдесятъ лѣтъ домику!—думалъ Капитонъ Иванычъ.—Вотъ осенью надо звать плотниковъ, а то холодъ зимою будетъ ужасный!

Но, шагая по залу, онъ чувствовалъ себя какъ-то неловко. Высокій, худой, немного сгорбленный, въ длинныхъ старыхъ сапогахъ и растянутой тужуркѣ, изъ-

подъ которой виднѣлась ситцевая косоворотка, онъ бродилъ по залу и, поднимая брови, покачивая головою, напѣвалъ „Полонезъ“. Онъ чувствовалъ, что онъ самъ слѣдитъ за своею походкою и фигурою, представляетъ себя какъ другого человѣка, шагающаго въ полусвѣтѣ стариннаго зала, человѣка, который бродитъ одинъ-одинешенекъ, которому грустно и котораго ему до боли жаль подъ безнадежно-маланхолическіе напѣвы „Полонеза“...

Чтобъ какъ-нибудь разсѣяться, онъ взялъ картузь и вышелъ изъ дому.

На дворѣ было свѣтлѣе. Свѣтъ зари, погасающей за деревней, еще слабо разливался по двору.

— Михайло!—тихонько позвалъ Капитонъ Иванычъ стараго пастуха. Никто не откликнулся. Михайло ушелъ „ко двору, рубаху смѣнить“.

— И эта Мелитриса Кербитьевна пропала,—пробормоталъ Капитонъ Иванычъ, подразумѣвая стряпуху.

Стараясь придумать себѣ дѣло онъ сдѣлалъ строгое лицо и направился по двору къ варку: накопилъ ли Митька травы коровамъ? Вѣроятно, опять забылъ... Но, думая совсѣмъ о другомъ, Капитонъ Иванычъ только постоялъ у варка.

— Митька!—позвалъ онъ недовольно.

Опять никто не отозвался. Только за воротами тяжело-тяжело вздохнула корова и завопили и затрепыхали крыльями на насѣстѣ куры.

Никого.

— Да и на что они мнѣ нужны?—подумалъ Капитонъ Иванычъ и не спѣша пошелъ по двору, за каретный сарай, туда, гдѣ начинались на косогорѣ ржи. Шурша, пробрался онъ по глухой кранивѣ на бугоръ, закурилъ и сѣлъ.

Низкая, широкая равнина по ту сторону луга, по прежнему, лежала въ блѣдной темнотѣ. Съ косогора была далеко видна молчаливо утонувшая въ сумракѣ окрестность.

— Сижу, какъ сычъ на бугрѣ,—подумалъ Капитонъ Иванычъ.—Вотъ, скажетъ народъ, дѣлать нечего старику!

— А вѣдь правда—старикъ я,—продолжалъ онъ размышлять.—Умирать скоро... Вотъ и Анна Григорьевна померла... Какъ будто и не было!.. Гдѣ же это все дѣвалось, все прежнее? Похоронять—и всему конецъ!

Онъ долго смотрѣлъ въ далекое поле, долго прислушивался къ обаятельной вечерней тишинѣ...

-- Какъ же это такъ?—сказалъ онъ почти вслухъ,—не можетъ быть! Будетъ все попрежнему, будетъ садиться солнце, будутъ мужики съ перевернутыми сохами ѣхать съ поля... будутъ зори въ рабочую пору, а я ничего этого не увижу, да не только не увижу—меня совсѣмъ не будетъ! И хотъ тысяча лѣтъ пройдетъ—я никогда не появлюсь на свѣтѣ, никогда не приду и не сяду на этомъ бугрѣ! Гдѣ же я буду?

Сгорбившись, закрывши глаза и потягивая лѣвою рукой черный, сѣдѣющій усъ, онъ сидѣлъ и покачивался и старался вдуматься въ свой вопросъ.

Сколько лѣтъ представлялось, что вотъ тамъ-то, впереди, будетъ что-то значительное, главное... Былъ когда-то мальчикомъ, былъ молодъ... потомъ... въ жаркій день на выборы на дрожкахъ ѣхалъ по большой дорогѣ!

Капитонъ Иванычъ самъ усмѣхнулся на такой скачокъ своихъ мыслей, но на самомъ дѣлѣ—средняя пора его жизни какъ-то врѣзалась въ память этимъ фактомъ!

Но и это уже давно было. И вотъ доходишь до такой поры, въ которой, говорятъ, все кончается; семьдесятъ—восемьдесятъ лѣтъ... а дальше уже и считать не принято! Что же, наконецъ, долга или коротка жизнь?

— Долга!—подумалъ Капитонъ Иванычъ,—да, все-таки долга!

Въ темномъ небѣ вспыхнула и прокатилась звѣзда. Онъ поднялъ кверху старческіе грустные глаза и долго смотрѣлъ въ небо. И отъ этой глубины и мягкой темноты звѣздной безконечности ему стало легче. Хотя что-то волновало его, поднимались тревожныя мысли о смерти, о прожитомъ,—въ сущности, на нихъ былъ отвѣтъ. Онъ ощущалъ въ себѣ другое настроеніе, другой голосъ, который говорилъ: „Ну, такъ что же? Все это было вовѣки вѣковъ и всегда будетъ! Тихо прожилъ,—тихо и умру, какъ въ своё время высохнутъ и свалится листъ вотъ съ этого кустика... Фантазеръ, отживающій свое время типъ!..“

А кругомъ уже совсѣмъ стемнѣло. Очертанія полей едва-едва обозначались въ ночномъ сумракѣ. Сумракъ сталъ гуще и звѣзды, казалось, сіяли теперь еще выше. Отчетливѣе слышался рѣдкій крикъ перепеловъ. Свѣжѣе пахло травой. Но та же теплота разливалась кругомъ, такъ же все баекало и задремывало...

И когда онъ поднялъ голову, онъ чувствовалъ только одно — благодатное вѣяніе лѣтней степной ночи, родной ему съ дѣтства. Она разсѣяла несвойственныя ему тревожныя мысли. Онъ всталъ и легко и свободно вздохнулъ полной грудью. Одно онъ ясно сознавалъ теперь — свое кровное родство съ этой безмолвной природой, одно сожалѣлъ всей душой — далекую молодость...

С О С И СЫ.

I.

Вечеръ, тишина занесеннаго снѣгомъ дома, шумная лѣсная вьюга паружи...

Утромъ у насъ въ Платоновкѣ умеръ сотскій Митрофанъ, а въ сумеркахъ у меня сидѣлъ священникъ изъ Роставицы, о. Василій, опоздавшій причастить Митрофана, пилъ чай и долго рассказывалъ о томъ, какъ много народу померзло въ нынѣшнемъ году. Поэтому и вечеръ, и тишина, и вьюга производять теперь необыкновенно скучное впечатлѣніе.

— Чѣмъ не сказочный боръ?—думаю я, прислушиваясь къ шуму лѣса за окнами и къ высокимъ жалобнымъ нотамъ вѣтра, налетающаго вмѣстѣ съ снѣжными вихрями на крышу. И мнѣ представляется путникъ, который кружится въ нашихъ дебряхъ и чувствуетъ, что не найти ему теперь выхода вовѣки.

— Есть ли живъ-человѣкъ въ этихъ хижинахъ?—говоритъ онъ, съ трудомъ различая въ бѣлой, крутящейся мглѣ Платоновку.

Но морозный вѣтеръ захватываетъ ему дыханіе, ослѣпляетъ снѣгомъ, и мгновенно пропадаетъ огонекъ, который, казалось, мелькнулъ сквозь вьюгу. Да и человѣчьи ли это хижины? Не въ такой ли же черной сторожкѣ

жила Баба-Яга? „Избушка, избушка, стань къ лѣсу за-
домъ, а ко мнѣ передомъ! Пріюти странника на ночь!..“

Лежа весь вечеръ на диванѣ, я очень хорошо чув-
ствую всю безпомощность такого путника и ясно пред-
ставляю себѣ, какъ пугливо и зыбко мерцають два освѣ-
щенные окошечка въ моемъ флигелѣ,—совсѣмъ одино-
кія среди бушующаго лѣса, съ головы до ногъ посѣ-
дѣвшаго отъ вьюги. Домъ стоитъ у широкой просѣки,—
по сравненію съ прогалиной направо, гдѣ находится де-
ревня, въ затишьи,—но когда ураганъ гигантскимъ
призракомъ на снѣжныхъ крыльяхъ проносится надъ
лѣсомъ, сосны, которыя высоко царятъ надъ всѣмъ
окружающимъ, отвѣчаютъ урагану настолько угрюмой и
грозной октавой, что въ просѣкѣ дѣлается страшно.
Снѣгъ при этомъ бѣшено и беспорядочно мчится по
лѣсу, непритворенная дверь въ сѣнцахъ съ необыкновен-
ной силой бьетъ въ стѣну, а собаки, которыя лежатъ въ
нихъ, утопая въ снѣгу, какъ въ пуховыхъ постеляхъ,
жалобно взвизгиваютъ сквозь сонъ, дрожа крупной
дрожью... И мнѣ опять вспоминается Митрофанъ, ко-
торый ждетъ могилы въ такую мрачную ночь.

Въ комнатѣ тепло и тихо. Окна въ ней такъ замер-
зли, что стекла кажутся ледяшками, которыя холодно
играють разноцвѣтными огоньками, точно мелкими дра-
гоценными камнями. Лежанка натоплена жарко, а къ
шуму и стуку я такъ привыкъ, что могу не замѣчать
ихъ. Лампа на столѣ у дивана горитъ ровнымъ, сон-
нымъ свѣтомъ. Ровно и таинственно звенитъ въ ней
выгорающій керосинъ, монотонно и неясно, точно подъ
землей, баюкаетъ кто-то ребенка за стѣною въ кухнѣ,—
не то сама Федосья, не то ея Анютка, которая съ мало-
лѣтства во всемъ подражаетъ своимъ вѣчно вздыхаю-
щимъ теткамъ и бабамъ. И прислушиваясь къ этому
знакомому съ дѣтства напѣву, къ этимъ шумамъ и
стукамъ, тихо и незамѣтно отдаешься во власть дол-
гаго вечера.

Ходить сонъ по снѣмъ,
А дрема по дверямъ—

поетъ внутри меня жалобная пѣсня, а вечеръ рѣетъ надъ головою неслышной тѣнью, заворачиваетъ соннымъ звономъ въ лампѣ, похожимъ на замирающее нытье комара, и таинственно дрожить и убѣгаетъ на одномъ мѣстѣ темнымъ волнистымъ кругомъ, кинутымъ на потолокъ лампой. Одни часики въ будильникѣ живутъ своею торопливою жизнью,—все куда-то спѣшать и что-то приговариваютъ...

Но вотъ въ снѣдахъ слышенъ пѣвучій визгъ шаговъ по сухому бархатистому снѣгу. Хлопаютъ двери въ прихожей и кто-то топаетъ въ полъ валенками. Слышу, какъ чья-то рука шарить по двери, ища скобки, а затѣмъ чувствую холодъ и свѣжіі запахъ январской метели, сильный, какъ запахъ разрѣзаннаго арбуза.

— Николай Палычъ, спите?—спрашиваетъ Федосья осторожнымъ шопотомъ.

— Нѣтъ, — съ трудомъ откликаюсь я. — А что? Это ты, Федосья?

— Я-съ, — отвѣчаетъ Федосья, мѣняя голосъ на громкій и естественный. — Ай я васъ разбудила?

— Нѣтъ... ты что?

Вмѣсто отвѣта, Федосья оборачивается къ двери, — хорошо ли притворила? — и, улыбнувшись, становится къ печкѣ. Очевидно, ей просто хотѣлось провѣдать меня. Это небольшая, но плотно сбитая баба въ короткомъ полушубкѣ; голова у нея закутана шалью и похожа на сычиную, на полушубкѣ и на шали таетъ снѣгъ.

— Тамъ пыль!—говоритъ она съ удовольствіемъ и, ежась, прижимается къ печкѣ. — Что, давно вечеръ-то по часамъ?

— Половина десятого, — отвѣчаю я.

Федосья киваетъ головою и задумывается. За день

она передѣлала сотни мелкихъ дѣлъ и до тѣхъ поръ бѣгала на деревню, пока твердо не убѣдилась, что Митрофанъ умеръ. Теперь она въ туманѣ отдыха. Она устремляетъ взглядъ на лампу, и это ее мгновенно гипнотизируетъ. Глядя на свѣтъ совершенно безмысленными, но удивленными глазами, она съ наслажденіемъ затягивается долгимъ и глубокимъ зѣвкомъ и, зѣвая, бормочетъ:

— Ахъ, Господи, что жъ это зѣвается, куда это дѣвается!.. Вотъ жалко Митрофана-то, Николай Палычъ. Цѣлый день съ ума не идетъ, а тутъ еще наши: выѣхали, нѣтъ ли? Поѣдутъ—замерзнутъ!

И вдругъ быстро прибавляетъ:

— Постойте,—въ какомъ ухѣ звенить?

— Въ правомъ, — отвѣчаю я. — Нынче они не поѣдутъ...

— Вотъ и не угадали,—перебиваетъ Федосья.—А я было про мужика своего загадала. Боюсь, обморозится...

И, увлеченная думами о метели, Федосья начинаетъ:

— Такъ-то, Николай Палычъ, на Сѣроки было, на Сорокъ Мучениковъ. Вотъ, расскажу вамъ, страсть-то была! Вы-то, извѣстное дѣло, не помните, вамъ тогда, небось, пяти годочковъ не было, а я-то явственно помню. Сколько тогда народу померзло, сколько обморозилось—конца-края не было!..

Я не слушаю, такъ какъ наизусть знаю рассказы о всѣхъ метеляхъ, которыя помнить Федосья. Она говоритъ долго, много разъ дѣлая отступленія въ сторону покойника Митрофана. А я только машинально ловлю ея слова, которыя страннымъ образомъ переплетаются съ тѣмъ, что я слышу внутри себя. „Не въ нашемъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ,—пѣвуче и глухо говорить внутри меня голосъ старика-пастуха, который часто рассказываетъ мнѣ сказки,—не въ нашемъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, а у самомъ у томъ,

у какомъ мы живемъ, — жилъ, стало быть, молодой вьюноша“...

Лѣсъ гудить надо мной, точно вѣтеръ дуетъ въ тысячу эоловыхъ арфъ, заглушенныхъ стѣнами и вьюгою. „Ходить сонъ по сѣнямъ, а дрема по дверямъ“, — думаю я, — „и намаявшись за день, поѣвши „сосноваго“ хлѣбушка съ болотной водицей, спать теперь по Платоновкамъ наши былинные люди, смыслъ жизни и смерти которыхъ Ты, Господи, вѣси!“ Вьюга рисуетъ мнѣ безконечныя картины снѣжныхъ полей и лѣсовъ, и чувство глубочайшей тоски медленно начинается подыматься въ душѣ...

Вдругъ вѣтеръ со всего размаху хлопаетъ дверью въ стѣну и, какъ огромное стадо птицъ, съ шумомъ и свистомъ проносится по крышѣ.

— Охъ, Господи!—говоритъ Ѳедосья, вздрагивая и хмурясь. — Хоть бы ужъ спать поскорѣй въ страсть такую!

— Ужинать-то будете? — прибавляетъ она, дѣлая надъ собой усиліе, чтобы взяться за скобку.

— Рано еще,—отвѣчаю я нерѣшительно.

— А мой сгадъ—нечего третьихъ пѣтуховъ ждать! Поужинали бы и спали бы, спали себѣ... Ну, видно, пойтить прилечь пока. Назяблась я, грѣшная... И какъ это завтра опять въ погребъ лѣзть, какъ его откапывать—самъ домовый не знаетъ!

Дверь медленно отворяется и затворяется, и я опять остаюсь одинъ... Я уже собираюсь лечь въ постель, но вдругъ раздается торопливый стукъ въ окно. Потомъ одна за другою быстро хлопаютъ двери въ прихожей.

— Николай Палычъ!—говоритъ Ѳедосья, появляясь на порогѣ.—Хотите послушать? Тамъ голоса бабы, такъ голоса!..

По головѣ у меня пробѣгаетъ нервный холодъ, какъ отъ ледяной щетки, но я тотчасъ же накидываю пледъ

и спѣшу за Ѳедосеей на крыльцо. Вѣтеръ широко распахиваетъ передъ нами дверь въ сѣнцахъ, съ торжествомъ бьетъ ею въ стѣну и встрѣчаетъ насъ цѣлымъ ураганомъ морознаго снѣга. Гулъ лѣса вырывается при этомъ изъ шума вьюги, какъ звуки органа изъ церкви.

— Стойте!—говорить Ѳедосья.—Слушайте.

И въ то же мгновеніе до слуха долетаетъ несказанно-тоскливый и пронзительный женскій крикъ. Онъ съ такой силой отчаянія взывается вмѣстѣ съ вихрями снѣга, что у непривычнаго человѣка могутъ волосы стать дыбомъ: это бабы выскочили изъ избы, какъ полагается по обряду, „въ первую полночь“ послѣ смерти родственника и съ криками падаютъ въ сугробы на всѣ четыре стороны. Вѣтеръ рветъ распущенные волосы этихъ древнихъ плакальщицъ и далеко раскидываетъ ихъ крики.

— Охъ, Божья Матушка! — шепчетъ сквозь слезы Ѳедосья.—Какъ хорошо причитають-то! Вотъ жалость-то, Николай Палычъ!..

II.

Кто живалъ въ деревнѣ, тотъ знаетъ, что значить смерть въ деревнѣ. Въ городѣ некогда думать о покойникахъ, равно какъ и вообще о суетѣ суетъ. Заботъ много, а времени мало, и среди заботъ и многолюдства даже смерть близкаго знакомаго забывается быстро.

Совсѣмъ иное въ деревнѣ. Зимы наши темны и долги, лѣса пустынно и велики, а деревушки такъ малы подъ ними! Тайное сознаніе этого всѣхъ роднитъ и сближаетъ, и поэтому смерть въ деревнѣ—событіе. Она прошла по лѣсамъ чѣмъ-то большимъ и темнымъ, и посѣщеніе ея долго будетъ чувствоваться во всемъ. Лежитъ покойникъ въ избушкѣ подъ стѣною бора, и поневолѣ кажется, что даже сосны стоятъ съ другимъ выраженіемъ надъ нею...

Нѣчто въ родѣ этого чувствую и я. Возвратясь въ комнату, я долго хожу изъ угла въ уголь и мнѣ кажется, что даже метель шумить какъ-то иначе, чѣмъ обыкновенно. „Въ этотъ день, въ эту метель умеръ Митрофанъ,—думаю я.—Умеръ... что же это значить? Исчезъ куда-то и уже больше никогда не вернется тотъ самый Митрофанъ, который чуть невчера стоялъ вотъ на этомъ порогѣ, а теперь лежитъ „подъ святыми“ и называется покойникомъ, существомъ совершенно изъ другого міра, чѣмъ нашъ! Какъ все это странно и непонятно!..“ Мгновеніе я гляжу на лампу, на узоры изъ кирпичей на печкѣ... Мнѣ начинаетъ казаться, что Митрофанъ вотъ-вотъ войдетъ ко мнѣ и безмолвно притворить за собою двери...

Это былъ высокій и худой, но хорошо сложенный мужикъ, легкій на ходу и стройный, съ небольшой, откинутой назадъ головой и съ бирюзово-сѣрыми, живыми глазами. Зимѣ и лѣтѣ его длинныя ноги были аккуратно обернуты сѣрыми онучами и обуты въ лапти, зимѣ и лѣтѣ онъ носилъ коротенькій, изорванный полушубокъ. На головѣ у него всегда была самодѣльная заячья шапка шерстью внутрь... И какъ привѣтливо и весело глядѣло изъ-подъ этой шапки его обвѣтренное лицо съ облупившимся носомъ и съ рѣдкой бородкой! Это былъ Слѣдопытъ въ своемъ родѣ, настоящій лѣсной крестьянинъ-охотникъ, въ которомъ все производило цѣльное впечатлѣніе: и фигура, и шапка, и заплатанныя на колѣняхъ портки, и запахъ курной избы, и одностволка. Появляясь на порогѣ моей комнаты и вытирая полою полушубка мокрое отъ метели коричневое лицо, оживленное бирюзовыми глазами, онъ тотчасъ же наполнялъ комнату свѣжестью лѣсного воздуха и принимался рассказывать... И сколько было этихъ разговоровъ въ нашихъ скитаніяхъ подъ монотонный напѣвъ сосенъ!

— А хорошо у насъ, Миколай Палычъ!--говорилъ

онъ мнѣ часто.—Главное дѣло — лѣсу много. Правда, хлѣбушка, случается, не хватаетъ, али чего прочаго, да, вѣдь, па Бога жаловаться некуда: есть лѣсъ — въ лѣсу зарабатывай. Мнѣ, можетъ, еще труднѣй другого, у меня однихъ дѣтей шесть человѣкъ, а я все-таки иду да иду! Волка ноги кормятъ. Сколько годовъ я тутъ прожилъ и все не нажился. Я и не помню ничего, что было. Былъ будто одинъ-два дня лѣтомъ, али, скажемъ, весной — и больше ничего. Зимнихъ дѣнь больше вспоминается, а все тоже похожи другъ на дружку. И ничего не скучно, а хорошо. Идешь по лѣсу — лѣсъ изъ-за лѣсу выходитъ, синѣтъ, а тамъ прогалина, крестъ изъ села виденъ... Придешь — заснешь—глядь, уже опять утро и опять пошелъ на работу... была бы шея—хомутъ найдется! Говорятъ—живете вы, молъ, въ лѣсу, пнямъ молитесь, а спроси его, какъ надо жить — не знаетъ. Видно, живи, какъ батракъ: исполняй, что приказано—и шабашъ.

И Митрофанъ, дѣйствительно, прожилъ всю свою жизньъ такъ, какъ будто былъ въ батракахъ у жизни. Нужно было пройти всю ея тяжелую лѣсную дорогу—Митрофанъ шелъ непрекословно... И разладила его путь только болѣзнь, когда пришлось пролежать больше мѣсяца въ темнотѣ избы, а затѣмъ отправляться въ страну, „идѣ же нѣсть ни печали, ни воздыханія“.

— За траву не удержишься! — говорилъ онъ мнѣ, снисходительно улыбаясь, когда я совѣтовалъ ему съѣздить въ больницу.

И кто знаетъ,—можетъ быть, онъ былъ совершенно правъ? Что за радость проводить эти безконечныя зимнія ночи, лежа больнымъ и безпомощнымъ въ темной избѣ, занесенной снѣгомъ!

— Умеръ, погибъ, не выдержалъ борьбы въ этой лѣсной жизни, — значить, такъ надо! — думаю я. И рѣшительно надѣвъ шубу и шапку, подхожу къ лампѣ.

На мгновеніе шумъ метели за окномъ смущаетъ меня, но затѣмъ я говорю себѣ: „вздоръ!“ и дую на свѣтъ.

Въ темныхъ, пустыхъ комнатахъ, черезъ которыя я прохожу, мутно сѣрѣютъ окна. Отъ налетающихъ вихрей они то свѣтлѣютъ, то темнѣютъ,—совсѣмъ, какъ люки корабельной каюты въ качку. Въ прихожей холодно, какъ въ сѣнцахъ, и пахнетъ сырой, промерзлой корой дровъ, заготовленныхъ на топку. Огромная старинная икона Божіей Матери съ мертвымъ Іисусомъ на колѣняхъ чернѣетъ въ углу. И, глянувъ на нее, я робко крещусь и спѣшу выйти въ сѣни.

Тамъ повторяется прежнее: вѣтеръ рветъ съ меня шапку и съ головы до ногъ осыпаетъ меня морознымъ снѣгомъ. Но это даже пріятно. Охъ, какъ хорошо поглубже вдохнуть холоднымъ воздухомъ и почувствовать, какъ легка и тонка стала шуба, пасквозь пронизанная вѣтромъ! На мгновеніе я останавливаюсь и дѣлаю усиліе взглянуть... Новый порывъ вѣтра прямо въ лицо перехватываетъ мнѣ дыханіе, и я успѣваю разглядѣть только два-три вихря, промчавшихся по просѣкѣ въ поле. Гулъ лѣса снова вырывается при этомъ изъ шума вьюги, какъ гулъ органа. Я крѣпко нагибаю голову противъ вѣтра, погружаюсь почти по поясъ въ сугробъ и долго иду, самъ не зная—куда..

Ни деревни, ни лѣса не видно. Но я знаю, что деревня направо и что въ концѣ ея, у плоскаго болотнаго озера, теперь запесеннаго снѣгомъ,—изба Митрофана. И я иду,—долго, упорно и мучительно,—и вдругъ въ двухъ шагахъ отъ меня вспыхиваетъ сквозь дымъ вьюги огонекъ. Кто-то бросается мнѣ на грудь и чуть не сбиваетъ меня съ ногъ... Наклоняюсь, — Султанъ, собака, которую я подарилъ Митрофану. Онъ отскакиваетъ при моемъ движеніи съ жалобно-радостнымъ визгомъ назадъ и бросается къ избѣ, точно хочетъ показать, что тамъ дѣлается. А у избы, около окошечка, свѣтлымъ облачкомъ кружится снѣжная пыль.

Огонекъ освѣщаетъ ее снизу, изъ сугроба. Утопая въ снѣгу, я добираюсь до окна и торопливо заглядываю въ него. Тамъ, внизу, въ слабо освѣщенной избѣ, лежить у окна что-то длинное, бѣлое и высокое. Племянникъ Митрофана, Тимошка, стоитъ наклонившись надъ столомъ и читаетъ огромный псалтирь. Въ глубинѣ избы, на нарахъ видны въ полусумракѣ фигуры спящихъ бабъ и дѣтей.. Жутко, должно быть, имъ проводить ночь съ покойникомъ!..

И поспѣшно, точно совершивъ что-то запретное, подгоняемый вѣтромъ въ спину и ничего не видя, я почти бѣгу домой. А дома я быстро раздѣваюсь, дую на лампу и тотчасъ же завертываюсь съ головой въ одѣяло, стараясь ни о чемъ не думать и не слушать глухихъ и шумныхъ голосовъ этой мрачной ночи...

III.

Утро. Оно настало какъ-то внезапно, потому что въ лѣсу спится крѣпко. Выглядываю въ кусочекъ окна, не зарисованный морозомъ, и не узнаю лѣса. Какое великолѣпіе и спокойствіе!

Надъ глубокими, свѣжими и пушистыми снѣгами, завалившими чащи елей, — синее, огромное и удивительно ясное небо. Такія яркія радостныя краски бываютъ у насъ только по утрамъ въ аанасьевскіе морозы. И особенно хороши онѣ сегодня, въ контрастѣ съ свѣжимъ снѣгомъ и зеленымъ боромъ. Солнце еще за лѣсомъ палѣво, но уже по всему видно, какой будетъ свѣтлый и морозный день. Просѣлка въ голубой тѣни. Въ колеяхъ свѣжаго саннаго слѣда, смѣлымъ и четкимъ полукругомъ прорѣзаннаго отъ дороги къ дому, тѣнь совершенно синяя. А на вершинахъ сосенъ, на ихъ пышныхъ зеленыхъ вѣткахъ уже играетъ золотистый солнечный свѣтъ. И сосны, какъ хоругви, замерли подъ глубокимъ небомъ.

Прошлая ночь кажется мнѣ темнымъ сномъ, но все-таки я радъ, что братья приѣхали изъ города. Они привезли съ собой много бодрости морознаго утра. Пока въ прихожей обметали вѣниками валенки, обивали отъ снѣга тяжелые воротники шубъ и вносили покупки въ рогожныхъ кулькахъ, пересыпанныхъ сухой снѣжной пылью, какъ мукою,—въ комнатахъ нахолодилось и металлически запахло морознымъ воздухомъ.

— Градусовъ сорокъ будетъ! — съ трудомъ выговариваетъ кучеръ, входя съ новымъ кулькомъ. Лицо у него багровое,—по голосу чувствуется, что оно задеревнѣло отъ морозу,—усы, борода и углы воротника на тулупѣ смерзались въ ледяныя сосульки...

— Митрофановъ братъ пришелъ,—докладываетъ Федосья, просовывая голову въ дверь.—Тесу на гробъ прислать.

Я выхожу къ Антону, и онъ спокойно рассказываетъ о смерти Митрофана и дѣловито переводить разговоръ на тесъ. Равнодушіе это или сила?.. Скрипя сапогами по замерзшему снѣгу на крыльцѣ, мы выходимъ изъ дому и, переговариваясь, идемъ къ сараю. Воздухъ крѣпко сжать утреннимъ морозомъ, голоса наши раздаются какъ-то странно, а паръ отъ дыханія вьется при каждомъ словѣ, точно мы куримъ. Тонкій ледяной иней садится на рѣсницы.

— Ну, и денекъ Господь послалъ!—говоритъ Антонъ, останавливаясь у сарая, гдѣ уже пригрѣвается, и, щурясь отъ солнца, глядитъ на густую зеленую стѣну хвой вдоль просѣки и глубокое ясное небо надъ нею.—Эхъ, кабы и завтра-то такъ же!

Потомъ мы отворяемъ скрипучія ворота насквозь промерзшаго сарая. Антонъ долго гремитъ досками и, наконецъ, взваливаетъ на плечо длинную сосновую тесину. Сильнымъ движеніемъ подкинувъ и поправивъ ее на плечѣ, онъ говоритъ: „Ну, покорнѣйше благодаримъ васъ!“—и осторожно выходитъ изъ сарая. Слѣды лаптей

похожи на медвѣжьи, а самъ Антонъ идетъ, присѣдая и припоравливаясь къ колебаніямъ доски, причемъ тяжелая зыбкая доска, перегнувшись черезъ его плечо, мѣрно покачивается въ ладъ съ его движеніями. Когда же онъ, утонувъ почти по поясъ въ сугробъ, скрывается за воротами, я слышу замирающій скрипъ его шаговъ. Вотъ такъ тишина! Двѣ галки звонко и радостно сказали что-то другъ другу относительно тишины и красоты утра. Одна изъ нихъ съ разлету опустилась на самую верхнюю вѣточку густо-зеленой, стройной, какъ кипарисъ, ели,—закачалась, едва не потерявъ равновѣсія, и съ пышныхъ лапъ ели густо посыпалась и стала медленно опускаться радужная снѣжная пыль. Галка засмѣялась отъ удовольствія, но тотчасъ же смолкла... И по мѣрѣ того, какъ поднимается солнце, все типе становится въ просѣкъ...

Послѣ обѣда всѣ поочередно ходятъ смотрѣть Митрофана. Иду и я. Деревня тонетъ въ снѣгу. Снѣжныя, бѣлыя избушки кольцомъ расположились вокругъ ровной бѣлой поляны, и на этой ярко сверкающей подъ солнцемъ полянѣ теперь очень уютно и пригрѣваетъ. Домовито пахнетъ дымкомъ, печенымъ хлѣбомъ. Мальчишки возятъ другъ друга на ледяшкахъ, собаки сидятъ на крышахъ избъ... Совсѣмъ дикарская деревушка! Вонъ молодая плечистая баба въ замашной рубахѣ любопытно выглянула изъ сѣнець... Вонъ худой, похожій на старичка-карлика, дурачекъ Пашка въ огромной шапкѣ идетъ за водовозкой. Въ обмерзлой кадушкѣ тяжело плескается дымящаяся, темная и вонючая вода, а полозья визжать, какъ поросенокъ... Но вотъ и грустная изба Митрофана.

Какая она маленькая, низенькая и какъ все буднично вокругъ нея! Лыжи стоятъ у дверей въ сѣнцы. Въ сѣнцахъ дремлетъ и жуетъ жвачку корова. Стѣна избы, выходящая въ сѣнцы, сильно подалась отъ нихъ, и поэтому дверь надо отворять съ большими усиліями. Она

отлипаешь, наконецъ, и въ лицо пахнуло теплымъ избя-
нымъ запахомъ. Въ полусумракъ стоятъ нѣсколько бабъ
у печки и, пристально глядя на покойника, шопотомъ
переговариваются. А покойникъ подъ коленкоромъ ле-
жить въ этой напряженной тишинѣ и слушаетъ, какъ
плаксиво и жалобно, женскимъ голосомъ читаетъ псал-
тирь Тимошка.

— Совсѣмъ талый!—съ жалостнымъ умиленіемъ го-
воритъ одна изъ бабъ и, приглашая меня посмотрѣть
покойника, осторожно приподнимаетъ коленкоръ.

О, какой важный и серьезный сталъ Митрофанъ! Го-
лова—маленькая, гордая и спокойно-печальная, закры-
тые глаза глубоко ввалились, мертвый большой носъ
обрѣзался; большая грудь, приподнятая послѣднимъ
вдохомъ, точно закаменѣла, а ниже ея, въ глубокой
впадинѣ живота, лежатъ большія восковыя руки. Чистая
рубаша красиво оттѣняетъ его худобу и желтизну. Баба
тихо взяла одну руку,—видно, какъ тяжела эта ледяная
рука,—подняла и опять положила. Митрофанъ остался
совершенно равнодушенъ къ этому и продолжалъ спо-
койно слушать, что читаетъ Тимошка. И мнѣ показа-
лось, что онъ знаетъ даже и то, какъ ясенъ и торже-
ствененъ сегодняшний день,—его послѣдній день въ
родной деревнѣ!..

День этотъ кажется очень долгодъ въ мертвой ти-
шинѣ: все точно созерцало его таинственное и беззвуч-
ное теченіе. Солнце медленно проходитъ свой небесный
путь, и вотъ красноватый, парчевый лучъ уже сколь-
знулъ въ полутемную избу и косо озарилъ желтый
лобъ покойника. Когда же я выхожу изъ избы на улицу,
солнце прячется между стволами сосенъ за частый ель-
никъ, теряя свой блескъ.

Опять я тихо бреду вдоль просѣки. Снѣга на полянѣ
и крыши избъ, которыя точно облиты сахаромъ, алѣютъ
отъ заката. Въ просѣкѣ, въ тѣни, ясно чувствуется,
какъ рѣзко морозить къ ночи. Еще чище и нѣжнѣе

стали краски зеленоватаго неба къ сѣверу, еще тоньше рисуется мачтовый сосновый лѣсъ на его фонѣ. А съ востока уже встала большая блѣдная луна. И по мѣрѣ того, какъ темнѣетъ закатъ, она подымается все выше... Собака, съ которой я хожу вдоль просѣки, забѣгаетъ иногда въ ельникъ и выскакивая, вся въ снѣгу, изъ его таинственно-свѣтлыхъ и темныхъ дебрей, замираетъ вмѣстѣ съ своей рѣзкой, черной тѣнью на ярко-озаренной дорогѣ. Мѣсяцъ уже высоко... Въ деревушкѣ—ни звука, робко краснѣетъ огонекъ изъ тихой избы Митрофана... И большая, остро содрагающаяся изумрудомъ звѣзда на сѣверо-востокѣ кажется звѣздой у Божьяго трона, съ высоты котораго Господь незримо присутствуетъ надъ снѣжной лѣсной страной...

IV.

А на слѣдующій день, въ воскресенье, нѣсколько человѣкъ идущихъ и ѣдущихъ съ воплями и причитаіями провожаютъ гробъ Митрофана по лѣсной дорогѣ къ селу.

Воздухъ попрежнему былъ рѣзокъ и морозенъ, и миллионы мельчайшихъ иглъ и крестиковъ тускло поблескивали на солнцѣ, кружась въ воздухѣ. Боръ и воздухъ слегка затуманивались,—только на горизонтѣ къ югу ясно и зелено было ледяное небо. Снѣгъ, какъ алебастръ, пѣлъ и визжалъ подъ санями, когда я бѣжалъ на лыжахъ въ Роставицу и мужики обгоняли меня. Все-таки я пришелъ раньше ихъ и долго мерзъ на паперти, пока, наконецъ, увидалъ среди бѣлой сельской улицы, бѣлые зипуны и бѣлый большой гробъ изъ новаго тесу. Отворили дверь въ церковь, откуда вмѣстѣ съ запахомъ воска тоже пахнуло холодомъ: бѣдная лѣсная церковка промерзла вся насквозь,—весь иконостасъ и всѣ иконы побѣлѣли отъ густого, матоваго инея. И когда она сразу наполнилась сдержаннымъ говоромъ, стукомъ ша-

говъ и паромъ отъ дыханія, когда съ трудомъ опустили тяжелый разлтый гробъ на полъ и, отворивъ царскія врата, священникъ торопливымъ, простуженнымъ голосомъ заговорилъ и запѣлъ въ наступившей тишинѣ, у меня сжалось сердце отъ холода и грусти. Жидкія синеватыя струйки дыма вились надъ гробомъ, изъ котораго страшно выглядывалъ острый, коричневый носъ и лобъ въ вѣнчикѣ. Кадило въ рукахъ священника было почти пусто, дешевый ладанъ, брошенный въ еловыя уголья, издавалъ запахъ лучины, а самъ священникъ, повязанный по ушамъ платкомъ, былъ въ большихъ валенкахъ и въ старомъ мужицкомъ полушубкѣ, поверхъ котораго торчала старая риза. Онъ, на перебой съ дьячкомъ, въ полчаса справилъ службу и только „со святыми упокой“ пропѣлъ не спѣша и стараясь придать своему голосу трогательные оттѣнки,—печаль о бренности всего земного и радость за брата, отошедшаго, послѣ земного подвига, въ лоно безконечной жизни, „идѣ же праведные упокоеваются“. Напутствуемый протяжнымъ пѣніемъ, гробъ съ мерзлымъ покойникомъ вынесли изъ церкви, пронесли по улицѣ и за селомъ, на пригоркѣ опустили въ неглубокую яму, которую и закидали мерзлой, глинистой землей и снѣгомъ. Затѣмъ въ снѣгъ воткнули елочку и, покряхтывая отъ мороза, торопливо разошлись и разѣхались.

Глубокая тишина царила теперь на лѣсной полянкѣ, по которой торчало изъ сугробовъ нѣсколько низкихъ деревянныхъ крестовъ. Беззвучно кружились въ воздухѣ безчисленные морозные остинки, и только гдѣ-то высоко надъ головой тянулъ сдержанный, глухой и глухой гулъ: такъ шумитъ подъ вечеръ въ отдаленіи море, когда оно скрыто за горами. Мачтовые сосны, высоко поднявшія на своихъ глинисто-красноватыхъ, гоныхъ стволахъ зеленыя кроны, тѣсной дружиной окружали съ трехъ сторонъ пригорокъ. Съ него широко открывалась синѣющая еловыми лѣсами низменность.

Длинный, земляной бугоръ могилы, пересыпанный снѣгомъ, молча лежалъ на скатѣ у моихъ ногъ. Опъ казался то совѣмъ обыкновенной кучей земли, то значительнымъ,—думающимъ и чувствующимъ. И глядя на него, я долго силился поймать то неуловимое, что знаетъ только одинъ Богъ,—тайну ненужности и въ то же время значительности всего земного.

— Митрофанъ!—сказалъ я громко, подходя къ могилѣ.

Могила молчала... Чтобы показать себѣ, какъ все это просто, я сталъ на нее ногой и опять задумался... Но мысли путались попрежнему, и попрежнему я не понималъ ни себя, ни окружающаго, ни жизни, ни смерти бѣднаго лѣсного Слѣдопыта.

— Такъ!—сказалъ я опять громко и, рѣшительно ставъ на лыжи, съ разбѣгу толкнулся подъ гору. Облако холодной снѣжной пыли взвилось мнѣ навстрѣчу, а по дѣвственно-бѣлому, пушистому косогору правильно и красиво прорѣзались два параллельные слѣда. Не удержавшись, я упалъ подъ горой въ густой и необыкновенно зелѣный, пышный ельникъ, набилъ въ рукава снѣгу и это окончательно отрезвило меня. Задѣвая за ельникъ лыжами, я быстро пошелъ зигзагами между его кустами. Траурныя сороки съ рѣзкимъ стрекотаніемъ, игриво качаясь въ воздухъ, перелетали надъ нимъ. Минуты текли за минутами—я все также равномерно и ловко совалъ ногами по снѣгу. И уже ни о чемъ не хотѣлось думать. Тонко пахло свѣжимъ снѣгомъ и хвоей, славно было чувствовать себя близкимъ этому снѣгу, лѣсу, зайцамъ, которые любятъ объѣдать молодые побѣги елочекъ... Небо мягко затуманивалось чѣмъ-то бѣлымъ и общало долгую тихую погоду... И только отдаленный, чуть слышный гулъ сосенъ сдержанно и неумолчно говорилъ и говорилъ о какой-то вѣчной, величавой жизни.

Т И Ш И Н А.

Мы пріѣхали въ Женеву подъ дождемъ, ночью, но къ разсвѣту отъ дождя осталась только свѣжесть въ воздухѣ. Отворивъ дверь на балконъ, мы почувствовали упоительную прохладу ранняго осенняго утра. Въ улицахъ таялъ молочный туманъ съ озера, солнце тускло, но уже бодро блистало въ туманѣ, а влажный вѣтеръ тихо покачивалъ кроваво-красные листья дикаго винограда. По обыкновенію, мы умылись и одѣлись быстро и вышли изъ отеля точно послѣ морской ванны: освѣженные крѣпкимъ сномъ, готовые на какія угодно скитанія и съ молодымъ предчувствіемъ чего-то хорошаго, что сулитъ намъ день.

— Славное утро опять послалъ намъ Богъ!—сказалъ мнѣ товарищъ.—Ты замѣтилъ, что первый день послѣ нашего пріѣзда куда-нибудь—непремѣнно погожій? А главное—какъ весело! Право, это совсѣмъ не такой пустякъ, какъ думаютъ,—не курить, ѣсть только молоко, зелень, жить на воздухѣ и просыпаться вмѣстѣ съ солнцемъ! Я говорю о томъ, какъ это облагораживаетъ духъ! Посмотри, что скоро объ этомъ будутъ говорить не доктора, а поэты...

Я молча, улыбкой, согласился съ нимъ. Дѣйствительно, мы все время нашего путешествія жили очень здоровой жизнью и почти не курили, что давало ощущение, давно неиспытанное,—ощущение чистоты и юно-

шеской свѣжести. На скорую руку мы выпили кофе и уже на цѣлый день пустились, куда глаза глядятъ.

Въ городѣ было тихо и безлюдно въ это утро. Было воскресенье, магазиновъ еще не открывали, а блестящіе вагончики электрическаго трамвая проносились по чистымъ и прохладнымъ улицамъ почти совсѣмъ пустые.

— Къ озеру! — въ одинъ голосъ сказали мы, выходя изъ кофейни.

Но гдѣ оно, въ какой сторонѣ? И на минуту мы остановились въ недоумѣніи. Вдалекѣ направо все было въ легкомъ свѣтломъ туманѣ, а мостовая въ концѣ улицы блестяла подъ солнцемъ, какъ золотая.

— Это озеро, — не колеблясь, сказалъ мнѣ товарищъ, и мы быстро пошли къ тому, что казалось мокрой и блестящей мостовой.

Солнце на пустой набережной уже сильно пригрѣвало сквозь туманъ и все сіяло передъ глазами. Но долины, озеро и дальнія Савойскія горы еще дышали туманной свѣжестью. Выйдя на набережную, мы невольно остановились въ томъ радостномъ изумленіи, которое испытываешь всегда, внезапно увидавъ красоту и просторъ моря, озера или долинъ съ высоты. Савойскія горы таяли въ свѣтломъ утреннемъ парѣ, и подъ солнцемъ едва можно было различить ихъ: приглядишься — и уже только тогда увидишь тонкую золотистую линію хребта, вырѣзывающуюся въ небѣ, а потомъ почувствуешь и самую массивность горныхъ громадъ. Вблизи же, въ огромномъ пространствѣ долины, въ прохладной и влажной свѣжести тумана, лежало голубое, прозрачное и глубокое озеро. Оно еще дремало, какъ дремали и косые паруса лодокъ, столпившихся у города. Точно сѣрыя поднятыя крылья, возвышались они въ воздухѣ, но были еще безпомощны въ тишинѣ утра. Двѣ-три чайки низко и плавно скользнули надъ водою и одна изъ нихъ вдругъ блеснула мимо насъ крыльями и метнулась въ улицу. Мы разомъ обернулись за ней

и видѣли, какъ она, испуганная непривычнымъ зрѣлищемъ, сдѣлала рѣзкій и быстрый поворотъ назадъ.

— Вотъ славно! — воскликнулъ мой спутникъ. — Подумай, — какъ счастливы люди, въ города которыхъ залетаютъ чайки въ солнечное утро и вдругъ напоминаютъ о чемъ-то радостномъ и вольномъ, что есть на свѣтѣ!

И насъ потянуло въ горы, на озеро, куда-то вдаль... Пока испарялся туманъ, мы сходили въ городъ, купили въ кабачкѣ вина и сыру, полюбовались чистотой и привѣтливостью улицъ, живописными тополями и платанами въ тихихъ и золотыхъ садахъ. Бирюзовое небо стало уже ярко и чисто надъ ними.

— Знаешь, — говорилъ мнѣ товарищъ, — мнѣ часто не вѣрится, что я дѣйствительно въ тѣхъ мѣстахъ, о которыхъ, бывало, только мечталъ, глядя на карту, и часто хочется напомнить себѣ объ этомъ какъ-нибудь посильнѣе. Чувствуешь ты, напримѣръ, что вотъ за этими горами, такъ близко отъ насъ — Италія? Чувствуешь ты югъ въ этой удивительной осени? А вотъ Савоя — родина тѣхъ самыхъ мальчиковъ-савояровъ съ обезьянками, о которыхъ читалъ въ дѣтствѣ такіа трогательныя исторіи!

И мечтая о томъ, какъ много еще у насъ впереди новаго, неизвѣданнаго и прекраснаго, мы почти до конца прошли набережную по направленію къ Лозаннѣ и наняли у пристани лодку. Ни о чемъ будничномъ не хотѣлось думать въ это праздничное утро, и оно приняло насъ такъ привѣтливо!

У мостковъ пристани мирно дремали на солнцѣ и лодки, и лодочники. Въ голубой прозрачной водѣ глубоко видны были песчаное дно, сваи и кили лодокъ. Было совсѣмъ лѣтнее утро, и только по тому спокойствію, которое царило въ прозрачномъ воздухѣ, чувствовалось, что это спокойствіе послѣднихъ дней осени. Отъ тумана не осталось и слѣда, голубое озеро было

необыкновенно далеко видно по долинѣ. И снявъ пиджаки, мы засучили рукава и взялись за весла. Пристань отошла и стала быстро отдаляться. Уходилъ и сіявшій подъ солнцемъ городъ, набережная, парки... Впереди вода блестѣла ослѣпительно, и около лодки становилась все глубже, тяжелѣй и прозрачнѣй. Весело было погружать въ нее весла, чувствовать ея упругость и смотрѣть, какъ взлетаютъ изъ-подъ веселъ брызги. А когда я оглядывался, я видѣлъ раскраснѣвшееся лицо моего спутника и голубую ширь озера, вольно и спокойно лежавшаго среди покатыхъ горъ, покрытыхъ желтѣющими лѣсами, виноградниками и виллами въ паркахъ.

— Не спѣши!—сказалъ мнѣ, наконецъ, товарищъ и опустилъ весла.

Опустилъ и я, и тотчасъ же наступила глубокая и давно уже неиспытанная нами тишина. Прикрывъ глаза, мы долго слышали только однообразное журчаніе воды, бѣгущей вдоль бортовъ лодки. И даже по звуку можно было угадать, какъ чиста и прозрачна она.

— Ъдемъ?—спросилъ я тихо.

— погоди,—слушай!—перебилъ меня товарищъ.

Я совсѣмъ поднялъ весла и журчаніе стало медленно замирать. Съ веселъ упала капля, другая... Солнце все жарче пригрѣвало намъ лица... И вотъ издалека-издалека долетѣлъ до насъ мѣрный и звонкій голосъ колокола, одиноко звонившаго гдѣ-то въ горахъ. Такъ далеко былъ онъ, что порою мы едва улавливали его.

— Помнишь колоколъ Кельнскаго собора?—вполголоса спросилъ меня товарищъ. — Я проснулся раньше тебя, еще утренняя заря чуть брезжила,—сталъ у раскрытаго окна и долго слушалъ, какъ онъ одиноко и звонко кричалъ надъ своимъ старымъ городомъ. Помнишь органъ въ соборѣ и всю средневѣковую красоту древнихъ костеловъ, которую пережили мы? А

потомъ Рейнъ, старые города, старыя картины, Парижъ... Но это не то, это лучше...

Звонъ колокола, чистый и нѣжный, доносился до насъ теперь явственнѣй, и необыкновенно пріятно было слушать его, сидѣть съ закрытыми глазами и чувствовать ласку солнца на лицѣ и мягкую прохладу отъ воды. Съ отдаленнымъ, глухимъ и сердитымъ ропотомъ колесъ прошелъ верстахъ въ двухъ отъ насъ весь бѣлый и сверкающій пароходъ изъ Лозанны. Плавные и стекловидные перекаты воды долго и широко бѣжали къ намъ и, наконецъ, ласково заколыхали лодку.

— Вотъ мы и у преддверія въ Альпы!—сказалъ мнѣ товарищъ, когда пароходъ сталъ, сокращаясь, удаляться.—Все теперь такъ далеко отъ насъ, жизнь всей Европы осталась гдѣ-то тамъ, за этими горами, а мы какъ будто вступаемъ въ благословенную страну вѣчной горной тишины, которой нѣтъ имени на нашемъ языкѣ.

Медленно работая веслами, онъ говорилъ и слушалъ, а озеро все шире обнимало насъ. Звонъ колокола временами казался то ближе, то дальше.

„Гдѣ-то въ горахъ, думалъ я, пріютилась маленькая колокольня и одна славить своимъ звонкимъ голосомъ миръ и тишину воскреснаго утра, призывая идти къ ней по горнымъ тропинкамъ, надъ голубымъ озеромъ“...

И ничто не омрачало праздничнаго дня южной осени. Далеко по горамъ пестрѣли нѣжными осенними красками лѣса и рощи, по обѣимъ сторонамъ озера одиноко проводили ясный осенній день живописныя виллы въ садахъ...

— Видна отсюда Лозанна? — спросилъ меня товарищъ.

— Что ты! — сказалъ я, и все-таки долго глядѣлъ въ даль озера. Потомъ, чтобы вымыть стаканъ, зачерпнулъ въ него воды и бросилъ ее въ воздухъ. Она

взвилась и блеснула въ воздухъ серебристыми рыбками. А товарищъ откупорилъ бутылку съ виномъ, поставилъ ее на скамейкѣ въ лодкѣ и опять улыбнулся, прикрывая глаза.

— Ну,—сказалъ онъ,—выпьемъ за горы! Помнишь ты „Манфреда“? Манфредъ въ Бернскихъ Альпахъ, у водопада. Полдень. Онъ произноситъ заклинанія, беретъ въ пригоршни воды и бросаетъ ее въ воздухъ. Въ радугѣ водопада появляется Дѣва Горъ. Какъ это прекрасно! Вотъ ты плеснулъ сейчасъ водой и я подумалъ, что влагѣ можно поклоняться, какъ поклонялись огню... Я, знаешь, съ ранней молодости чувствую, до чего, въ сущности, это понятно—обожествленіе природы. Подумай, какъ много на свѣтѣ красоты и радости и какое это великое счастье — жить, существовать въ мірѣ, дышать, видѣть небо, воду, солнце и поклоняться Богу красоты и радости! И все-таки мы несчастны! Въ чемъ дѣло? Въ кратковременности ли нашей, въ одиночествѣ ли или въ неправильности нашей жизни? Вотъ на этомъ озерѣ были когда-то великія души... Шелли, Байронъ... потомъ Мопассанъ, одинокій и носившій въ своемъ сердцѣ жажду счастья цѣлаго міра. И всѣ мечтатели, всѣ любившіе и молодые когда-то, женщины и мужчины временъ Данте и Мюссе, Вертера и Жанъ-Жака Руссо, всѣ, которые приходили сюда за счастьемъ, всѣ уже прошли и скрылись куда-то навсегда. Такъ пройдемъ и мы съ тобой... Хочешь вина?

Я подставилъ стаканъ, онъ налилъ и прибавилъ съ грустной улыбкой:

— Скоро, братъ, пройдемъ и также не скажемъ ни себѣ, ни людямъ, гдѣ счастье? Неужели не скажемъ?—спросилъ онъ, подымая на меня глаза.—Знаешь, такъ хорошо, что приходитъ въ голову — не здѣсь ли оно? Можетъ быть, оно только въ успокоеніи? Сейчасъ, на примѣръ, мнѣ кажется, что когда-нибудь я сольюсь

съ этой предвѣчной тишиной, у преддверія которой мы стоимъ, и что счастье въ ней. Пока мы еще среди людей. Но тамъ, вотъ за этими горами, заповѣдное царство иной жизни. Тамъ стоятъ Альпы, увѣчаные льдами, и отъ вѣка слушаютъ глубокую и неизреченную тишину своихъ долинъ. Помнишь, у Ибсена: „Ты слышишь, Майя, тишину?“ Слышишь ты *тишину горъ*, особенную, заповѣдную тишину?

Мы долго глядѣли на горы и на чистое нѣжное небо надъ ними, въ которомъ уже была безнадежная грусть осени. Какъ посторонніе, мы представили самихъ себя далеко въ сердцевинѣ горъ, гдѣ не бывала еще нога человѣка... Солнце стоитъ надъ глубокими и со всѣхъ сторонъ замкнутыми долинами, орелъ паритъ въ огромномъ пространствѣ между ними и небомъ... И вѣчная тишина надо всѣмъ! Только насъ двое и мы идемъ все дальше въ глубину горъ, какъ тѣ которые гибнутъ въ поискахъ за Эдельвейсомъ.

Не спѣша работая веслами и прислушиваясь къ далекому замирающему звону, мы заговорили о завтрашнемъ путешествіи въ Савойю, о томъ, сколько времени мы можемъ пробыть тамъ-то и тамъ-то, но мысли наши снова невольно возвращались къ прежнему, къ мечтамъ о счастьѣ. Мы снова перебрали въ памяти старые города Германіи, Парижъ, его парки, Сену, бульвары, музеи, старые храмы. Красота новой для насъ природы и красота искусства и религіи всюду волновали насъ юношеской жаждой возвысить до нихъ нашу жизнь, наполнить ее истинными радостями и раздѣлить эти радости съ людьми. Женщины, за которыми мы всюду слѣдили въ пути, какъ за химерой, вѣчно дразнили насъ жаждой любви, возвышенной, романтической, утонченно-чувственной, почти обожествляющей тотъ идеально-женственный образъ, который мелькалъ передъ нами въ отдаленія то въ томъ, то въ другомъ лицѣ и тѣлѣ. Но не сказочное ли это счастье, которое уходитъ за темные

лѣса и горы все дальше по мѣрѣ того, какъ идешь за нимъ? Издалека, въ общемъ, человѣческая жизнь казалась прекрасна, интересна, увлекательна... Вблизи — она была иная. Сколько узкихъ и низменныхъ чувствъ и мыслей, сколько мелочности, глупости и животности, сколько пошлыхъ и оскорбительно-некрасивыхъ лицъ!.. Теперь мы были у преддверія царства природы. Но и здѣсь, на этомъ голубомъ озерѣ, и въ горныхъ скитаніяхъ, которыхъ мы ждали, — всюду носился передъ нами все тотъ же уходящій, влекущій и измѣнчивый женскій образъ и попрежнему просыпалась тоска по человѣкѣ, снова и снова влекла къ себѣ человѣческая жизнь, жажда раздѣлить съ людьми все, что пробуждала въ сердцѣ красота вѣчнаго...

Товарищу, съ которымъ я пережилъ такъ много хорошихъ минутъ въ пути, одному изъ немногихъ, которые меня знаютъ и которыхъ я люблю, я посвящаю эти немногія строки. Посылаю также мой привѣтъ всѣмъ друзьямъ нашимъ по скитаніямъ, мечтамъ и чувствамъ.

„НАДЕЖДА“.

Помнишь ли ты, Леонидъ, одинъ изъ послѣднихъ дачныхъ дней, проведенныхъ нами въ прошломъ году подъ Одессой, у моря? Есть особая прелесть въ этихъ послѣднихъ осеннихъ дняхъ, сѣрыхъ и прохладныхъ, когда, возвращаясь изъ города на дачу, встрѣчаешь только однихъ ломовыхъ, нагруженныхъ мебелью запоздалыхъ дачниковъ. Уже прошли сентябрьскіе ливни, дороги и переулки между дачами стали грязны, сады желтѣютъ и рѣдѣютъ, виллы до весны остаются наединѣ съ моремъ... Какъ славно чувствуешь тогда себя среди этого наступающаго покоя, какъ поэтичны опустѣвшія дачи!

Вдоль всей линіи узкоколейной дороги, пробѣгающей пятнадцать верстъ среди садовыхъ оградъ и рѣшетокъ, только и видишь теперь, что закрытыя фруктовые лавочки, будки, гдѣ продавали лѣтомъ воды, да покинутые газетные кіоски. По всему пути, начиная съ дорогихъ виллъ въ итальянскомъ и греческомъ стилѣ и кончая выбѣленными известкой домишками на отдаленномъ, каменистомъ побережьи, то и дѣло встрѣчаешь раскрытые балконы, увитые длинными, сухими гирляндами дикаго винограда, опущенные жалюзи и ставни, наглухо забитыя двери, завернутыя въ рогожу нѣжныя южныя растенія. И чѣмъ дальше отъ города—тѣмъ все тише, безлюднѣе и живописнѣе. Дачный поѣздъ ходить

сами чувствовали эти дали. Мы какъ бы сами были на ней, и, стоя на прибрежьи, уже прозрѣвали то новое и манящее, что общаетъ всякая даль, какъ, можетъ быть, воочию увидать наши потомки все, что мы только предчувствуемъ, и что волнуетъ насъ несбыточными надеждами, чувствомъ красоты жизни и мечтами о томъ, какъ будутъ счастливы люди въ будущемъ...

Поздно ночью, когда набѣгающій вѣтеръ беспокойно и осторожно, точно ища чего-то, шелестѣлъ сухими вѣтвями дикаго винограда на нашемъ балконѣ и доносилъ полусонный шумъ волнъ, я мысленно провожалъ „Надежду“ на пути въ темномъ морѣ. Утромъ мы снова уѣхали въ городъ, и весь день прошелъ среди будничныхъ заботъ и дѣлъ, но весь день мнѣ казалось, что я видѣлъ ночью какой-то печальный и поэтичный сонъ. „Надежда“ была теперь уже далеко... Но какъ было отрадно хотя мысленно слѣдить за ней въ этой таинственной морской дали!

О г л а в л е н і е.

	стр.
1. Переваль	1
2. Руда	6
3. Новая дорога	12
4. Осенью	25
5. Туманъ	35
6. Байбаки	43
7. Новый годъ	64
8. Антоновскія яблоки.	74
9. Велга	97
10. Скитъ.	109
11. Тарантелла.	119
12. Костеръ	174
13. На край свѣта	178
14. Кастрюкъ	188
15. Въ Августѣ	202
16. Безъ роду-племени	208
17. Поздней ночью	228
18. На Донцѣ	232
19. Фантазеръ	249
20. Сосны.	257
21. Тишина	273
22. „Надежда“	281



B9
1904
Vol

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

JUN 25 1976

MAR 19 1991

